

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2018

№ 41

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Щербинин А.И.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор полит. наук, профессор. E-mail: shai52@mail.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сукушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Скочилова В.Г.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглезнев В.В.** (Томск, Россия) доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Щербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия), кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сизтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Вяткина Н.Б.** (Институт философии НАНУ, Киев, Украина); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Диев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопа Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief
Rykun A.U. (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology)
Shcherbinin A.I. (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science)
Agafonova E.V. (Tomsk, Russia) – Executive Editor
Sukhushina E.V. (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology)
Skochilova V.G. (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Political Science)
Borisov E.V. (Tomsk, Russia)
Ogleznev V.V. (Tomsk, Russia)
Syrov V.N. (Tomsk, Russia)
Chernikova I.V. (Tomsk, Russia)
Ladov V.A. (Tomsk, Russia)
Uzhaninov K.M. (Tomsk, Russia)
Shcherbinina N.G. (Tomsk, Russia)
Kashpur V.V. (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K. E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Viatkina N.B.** (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M. S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviov A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor Rafal** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Лобовиков В.О. Эволюционная эпистемология и ненормальная модальная логика знания.....	5
Небольсин Д.И. Дисциплинарные и теоретические особенности аналитической философии изображений.....	15
Никитин А.П. Аналитическая философия и институциональная экономика.....	24

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Sineokaya Yu.V. The Shift in the Value System in Russia at the Turn of the 20th and 21st Centuries.....	32
Думнова Э.М. Проблема формирования идентичности сквозь призму постмодернистской парадигмы.....	41
Желнин А.И. Биовласть как общесоциальный феномен и ее современные кризисные трансформации.....	49
Корсунский А.Г. Свобода как философский концепт и как политическая практика.....	57
Полянкина С.Ю. Семиотический подход к разрешению ключевых противоречий современной системы образования.....	64
Хитрук Е.Б. К вопросу об актуальности гендерных исследований в философии.....	72

СОЦИОЛОГИЯ

Абрамова М.О., Сухушина Е.В., Рыкун А.Ю. Воспроизводство маскулинности: семья как основной агент социализации.....	80
Атаманова И.В., Козлова Н.В., Богомаз С.А., Залевский В.Г., Неяскина Ю.Ю. Специфика личностно-средового взаимодействия на примере студенческой молодежи трех российских городов.....	90
Демичев И.В. Динамика сложной системы идентичностей.....	106
Зарубина Н.Н., Носкова А.В., Темницкий А.Л. Доверие к социальным наукам: взгляд университетской молодежи.....	114
Заякина Р.А. Генезис топологических воззрений в сетевом подходе.....	124
Маленков В.В. Темпоральный образ России в динамике представлений жителей Тюмени.....	131
Мельникова Е.А. Девиантность в обществе позднего модерна: от онтологической неуверенности к культуре контроля.....	142
Палитай И.С. Средства массовой коммуникации как фактор формирования образа страны.....	150
Петухов А.С., Пирогов С.В. Теории практик как методология изучения повседневности.....	159

ПОЛИТОЛОГИЯ

Аванесова Е.Г., Микаелян Н.А. Роль исламского фактора в региональных политических процессах.....	168
Прокудин Б.А. «Негативная» социализация как политическая проблема в романе А.И. Герцена «Кто виноват?».....	178
Цыганков П.А. Исследования проблем миропорядка: теоретические трудности, расхождения трактовок.....	194
Шестопал Е.Б. Сдвиги в массовом политическом сознании России перед президентскими выборами 2018.....	203

АРХИВ

Оглезнев В.В., Суровцев В.А. Альф Росс об определении в юридическом языке.....	221
---	-----

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	237
----------------------------------	-----

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Lobovikov V.O. Evolutionary epistemology and non-normal modal logic of knowledge.....	5
Nebolsin D.I. Analytic philosophy of depiction: disciplinary and theoretical specifics.....	15
Nikitin A.P. Analytical philosophy and institutional economics.....	24

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Sineokaya Yu.V. The shift in the value system in Russia at the turn of the 20th and 21st centuries.....	32
Dumnova E.M. The problem of identity formation through the prism of postmodern paradigm.....	41
Zhelnin A.I. Biopower as general social phenomenon and its modern crisis transformations.....	49
Korsunskiy A.G. Freedom as a philosophical concept and political practice.....	57
Polyankina S.Yu. Semiotic approach to dealing with the key contradictions of the modern system of education.....	64
Khitruk E.B. On the question of the topicality of gender studies in philosophy.....	72

SOCIOLOGY

Abramova M.O., Sukhushina E.V., Rykun A.Yu. Reproduction of masculinity: family as a pivotal agent of socialization.....	80
Atamanova I.V., Kozlova N.V., Bogomaz S.A., Zalevsky V.G., Neyaskina Yu.Yu. Specificity of personality-environment interaction on the example of students from three Russian cities.....	90
Demichev I.V. Dynamics of the complicated system of identities.....	106
Zarubina N.N., Noskova A.V., Temnitsky A.L. A trust to social sciences: the students' look.....	114
Zayakina R.A. Genesis of topological views through network approach.....	124
Malenkov V.V. Temporal representation of Russia in the dynamics of notion of Tyumen residents.....	131
Melnikova E.A. Deviance in late modern society: from ontological insecurity to culture of control.....	142
Palitay I.S. Means of mass communication as a factor for forming the image of the country in mass consciousness.....	150
Petukhov A.S., Pirogov S.V. Practice theories as a methodology for everyday life studies.....	159

POLITOLOGY

Avanesova E.G., Mikaelyan N.A. The role of the Islamic factor in the regional political processes.....	168
Prokudin B.A. “Negative” socialization as a political problem in the novel A. Herzen “Who is to blame?”.....	178
Tsygankov P.A. Studies of world order: theoretical problems and differences of interpretation.....	194
Shestopal E.B. Psychological swings in mass political mentality of Russian citizens before Presidential elections of 2018.....	203

ARCHIVE

Ogleznev V.V., Surovtsev V.A. Alf Ross on Definition in Legal Language.....	221
--	-----

INFORMATIONS ABOUT THE AUTHORS	237
---	-----

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

УДК 16

DOI: 10.17223/1998863X/41/1

В.О. Лобовиков

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И НЕНОРМАЛЬНАЯ МОДАЛЬНАЯ ЛОГИКА ЗНАНИЯ¹

С эволюционной точки зрения формула «Если агент знает, что q , то q » парадоксальна. Предлагается заменить ее доказуемость на выводимость из некоторого эпистемически значимого допущения. Это допущение точно определяется с помощью аксиоматической системы эпистемологии, в которой доказуема теорема «Если агент знает, что q , то, если агент а priori знает, что q , то q ».

Ключевые слова: эволюционная эпистемология, эпистемическая логика, ненормальная модальная логика.

Сегодня эволюционная эпистемология – интеллектуально уважаемое научное направление в философии знания, породившее к настоящему времени обширную литературу [1–21]. Модальная логика вообще и модальная логика знания (эпистемическая логика) в частности – интеллектуально уважаемое научное направление в (неклассической) логике [22–31]. Однако согласованность между эволюционной эпистемологией и эпистемической логикой оставляет желать лучшего. С точки зрения эволюционной эпистемологии подавляющее большинство исчислений логики знания, называемых в современной модальной логике *нормальными* (в некотором специальном формальном смысле), не выдерживают критики: являются *парадоксальными* в *содержательном* отношении. Такое странное положение существует уже давно. Например, в 1978 г. В.Н. Костюк, придав знаку \Box *не алетическое, а эпистемическое* истолкование, совершенно обоснованно писал по обсуждаемому поводу: « G – достигнутый сегодня уровень знания («исходное знание»), $\Box A$ означает «известно, что A ». Правило Гёделя соответствует в этом случае допущению, что все доказуемые утверждения известны, тогда как ненормальное исчисление (вполне разумно) считается с возможностью того, что какие-то доказуемые утверждения могут быть неизвестны субъекту знания. Таким образом, отмеченная Крипке «ненормальность» некоторых алетических исчислений может быть понята как указание на возможность неалетического (в частности, эпистемического) истолкования таких исчислений.

Эпистемические модальные логики могут сыграть значительную роль в изучении знания. Отмеченный при рассмотрении эпистемической логики «парадокс Сократа» показывает существование различных по своему харак-

¹ Статья представляет собой текст доклада автора на VI Сибирском философском семинаре (Томск, 22–23 сентября 2017), доработанный с учетом дискуссии.

теру видов знаний. Многообразие эпистемических исчислений – хорошее средство для построения типологии знания, вычленения различных видов знания и изучения их характерных особенностей.

В частности, интересен вопрос о том, должна ли быть общезначимой в эпистемических исчислениях формула $\Box A \supset A$. Обычно на этот вопрос отвечают утвердительно, что соответствует исторической традиции (если мы действительно что-то знаем, то оно истинно; если мы знаем ложное, то это не знание, а заблуждение).

Но хотя такое мнение привлекательно, оно идеализирует реальный характер знания. Знание всегда включает в себя некоторый элемент гипотетичности, относительности, неопределенности, неясности. Состав реального знания изменяется с течением времени, поэтому допустимы такие будущие состояния знания, которые обнаруживают ложность некоторых положений, входящих в G.

Тем не менее представляется желательным сохранить в какой-то степени принцип, согласно которому то, что мы знаем, истинно. Если полностью отказаться от этого принципа, то можно попасть в положение Кратила, жертвовашего самой возможностью знания во имя его относительности.

Можно сохранить общезначимость $\Box A \supset A$ в эпистемической логике для элементарных формул. Этим будет подчеркнута надежда на то, что по крайней мере элементарные предложения (например, эмпирические констатации результатов экспериментов) не будут подвергнуты пересмотру в ходе развития знания. Более общим, однако, является подход, согласно которому в эпистемические интерпретации вводится какой-то отрезок времени, в течение которого истинность исходного знания не подвергается пересмотру. Такой подход соответствует «нормальному» (по Т. Куну) развитию знания, он делает эпистемически общезначимой формулу $\Box A \supset A$. Для знания в период научных революций эта формула не общезначима¹ (нужны другие эпистемические исчисления) [22. С. 160–161].

Однако полностью ли исчезает проблема в случае ведения в эпистемические интерпретации какого-то конечного отрезка времени, в течение которого истинность исходного знания не подвергается пересмотру? Если A относится к парадигмальному аспекту системы знания, не изменяющемуся в течение конечного времени ее «нормального» (по Т. Куну) развития, то проблема снимается, но если A не относится к парадигмальному аспекту,

¹ Ссылка Костюка на концепцию Куна совершенно справедлива, так как в обсуждаемом отношении «Структура научных революций» [1] вполне репрезентативна. Но эволюционная эпистемология, доходящая в своей крайности даже до формулировки и обсуждения чрезвычайно смелой гипотезы о возможности эволюции законов природы, возникла задолго до Куна в конце XIX – начале XX в. Так, например, основательный анализ проблемы эволюции законов природы содержится в работе [32. С. 268–274, 407–420]. Концепция эволюции знания законов природы, развивавшаяся Пуанкаре, дает основание для отказа от логической общезначимости формулы $(\Box A \supset A)$ при эпистемической интерпретации знака \Box . При алетической интерпретации знака \Box философия науки Пуанкаре не дает оснований для отказа от логической общезначимости формулы $(\Box A \supset A)$. Тем не менее вопреки позиции Пуанкаре возможность отказа от логической общезначимости формулы $(\Box A \supset A)$, в ее алетической интерпретации, всерьез дебатруется в современной эволюционной космологии. общепризнанными эмпирическими подтверждениями гипотезы об эволюции законов природы современная наука не располагает, однако если все в этом мире изменяется, то насколько жизнеспособна и эвристически плодотворна упомянутая очень смелая гипотеза («сумасшедшая идея»), покажет будущее развитие науки.

то проблема остается. При этом обсуждение вопроса о принадлежности к *парадигмальному* аспекту системы знания выходит за пределы собственно-го предмета *формальной* логики в сферу *содержательных* рассуждений.

Поэтому В.Н. Костюк совершенно прав: «...необходимо создать какие-нибудь другие эпистемические исчисления» [22], а именно такие, в которых нет ни правила Гёделя, ни правила распределения \Box относительно импликации, а формула $\Box A \supset A$ не является теоремой. Нельзя не согласиться с Костюком также и в том, что нужно, чтобы формула $\Box A \supset A$ была выводима в создаваемых исчислениях из некоторого эпистемически значимого допущения.

Одной из возможных форм движения в указанном направлении было построение некоей аксиоматической системы философской эпистемологии, синтезирующей рационалистический априоризм и радикальный эмпиризм [33–38]. К настоящему времени эта аксиоматическая система претерпела существенное изменение (дополнение, уточнение и трансформацию). В данной статье точно формулируется и обсуждается один важный *фрагмент* (подсистема) упомянутой формальной аксиоматической теории знания. Обозначим этот *фрагмент* символом \aleph и приступим к его формулировке.

Система \aleph аксиоматической эпистемологии содержит в себе все формулы, аксиомы и правила вывода классической пропозициональной логики. Строчные латинские буквы q, p, \dots (принадлежащие языку-объекту) обозначают элементарные формулы. Символы $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ обозначают логические операции: «отрицание», «конъюнкция», «слабая дизъюнкция», «материальная импликация», «эквивалентность» соответственно. Строчные греческие буквы $\alpha, \beta, \lambda, \dots$ (принадлежащие метаязыку) обозначают любые (произвольно взятые) формулы системы \aleph . Понятие «формула системы \aleph » определяется так: 1) все элементарные формулы q, p, \dots суть формулы; 2) если α и β – какие-то (любые) формулы, то все выражения, имеющие вид $\neg\alpha, (\alpha \wedge \beta), (\alpha \vee \beta), (\alpha \rightarrow \beta), (\alpha \leftrightarrow \beta)$ суть формулы; 3) если α – какая-то (любая) формула, то любое выражение, имеющее вид $\Psi\alpha$, есть формула; 4) никаких других формул, кроме тех, которые могут быть построены по пунктам 1–3 данного определения, в системе \aleph нет. Исползованный в этом определении символ Ψ (принадлежащий метаязыку) обозначает некий (любой) элемент из множества модальностей $\{\Box, \Diamond, K, A, E, F, T, P, Z, S\}$.

Символы \Box, \Diamond соответственно обозначают алетические модальности «необходимо», «возможно», символы K, A, E, F, T, P, Z, S – эпистемические модальности: Kp – «*субъект знает, что p*»; Ap – «*субъект a priori знает, что p*»; Ep – «*субъект из опыта (a posteriori) знает, что p*»; Fp – «*субъект верит, что p*»; Tp – «*истинно, что p*»; Pp – «*доказуемо, что p*»; Zp – «*существует алгоритм (может быть построена машина) для установления, что p*»; Sp – «*при некоторых условиях в некоем пространстве-времени некий субъект (непосредственно или посредством каких-либо приборов и инструментов) чувственно воспринимает (ощущает), что p*». В системе \aleph аксиоматической эпистемологии значения символов K, A, E, F, T, P, Z, S точно определяются представленными ниже схемами аксиом. Схемы аксиом и правила вывода классической пропозициональной логики применимы ко всем формулам системы \aleph без исключения. В дополнение к общеизвестным схемам аксиом

классической пропозициональной логики система \mathfrak{N} включает следующие схемы аксиом.

Схема аксиом AX-1: $A\alpha \leftrightarrow (K\alpha \wedge \Box\alpha \wedge \neg\Diamond S\alpha \wedge \Box(\alpha \leftrightarrow \Box\alpha) \wedge \Box(\alpha \leftrightarrow K\alpha) \wedge \Box(\alpha \leftrightarrow F\alpha) \wedge \Box(\alpha \leftrightarrow T\alpha) \wedge \Box(\alpha \leftrightarrow P\alpha) \wedge \Box(\alpha \leftrightarrow Z\alpha))$.

Схема аксиом AX-2: $E\alpha \leftrightarrow (K\alpha \wedge (\neg\Box\alpha \vee \Diamond S\alpha \vee \neg\Box(\alpha \leftrightarrow \Box\alpha) \vee \neg\Box(\alpha \leftrightarrow K\alpha) \vee \neg\Box(\alpha \leftrightarrow F\alpha) \vee \neg\Box(\alpha \leftrightarrow T\alpha) \vee \neg\Box(\alpha \leftrightarrow P\alpha) \vee \neg\Box(\alpha \leftrightarrow Z\alpha))$.

Схема аксиом AX-3: $A\alpha \rightarrow (\Box\beta \rightarrow \beta)$.

Схема аксиом AX-4: $\Diamond\alpha \leftrightarrow \neg\Box\neg\alpha$.

Схема аксиом AX-5: $\Box(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\Box\alpha \rightarrow \Box\beta)$.

Схема аксиом AX-6: $\Box(\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\Box\alpha \wedge \Box\beta)$.

В схеме аксиом AX-2: дизъюнкт $\Diamond S\alpha$ представляет собой общеизвестный принцип *верифицируемости* научного *опытного* знания; дизъюнкт $\neg\Box\alpha$ – общеизвестный принцип *фальсифицируемости* научного *опытного* знания; дизъюнкты $\neg\Box(\alpha \leftrightarrow T\alpha)$ и $\neg\Box(\alpha \leftrightarrow P\alpha)$ экзemplифицируются знаменитыми *ограничительными* метатеоремами А. Тарского и К. Гёделя; дизъюнкт $\neg\Box(\alpha \leftrightarrow Z\alpha)$ экзemplифицируется знаменитой метатеоремой А. Чёрча о *неразрешимости*. Эпистемологический аспект рационалистического оптимизма Г.В. Лейбница, Д. Гильберта и К. Гёделя моделируется конъюнктом $\Box(\alpha \leftrightarrow T\alpha) \wedge \Box(\alpha \leftrightarrow P\alpha) \wedge \Box(\alpha \leftrightarrow Z\alpha)$ аксиомной схемы AX-1 [35].

Согласно представленным выше схемам аксиом система логических взаимоотношений между модальностями $K\alpha$, $A\alpha$, $E\alpha$, $\neg A\alpha$, $\neg E\alpha$, $\neg K\alpha$ моделируется логическим квадратом и включающим его гексагоном [36, 39–42]. Эта интерпретация логического квадрата и гексагона, синтезирующая рационализм и эмпиризм в одной концептуальной схеме, была разработана мною под впечатлением от уважаемых работ [43, 44] и [45, 46].

В связи с темой настоящей статьи целесообразно особо отметить, что $(\Box\alpha \rightarrow \alpha)$ и $(K\alpha \rightarrow \alpha)$ не являются схемами теорем в \mathfrak{N} . Вместо них схемами теорем в \mathfrak{N} являются соответственно $A\alpha \rightarrow (\Box\alpha \rightarrow \alpha)$ и $A\alpha \rightarrow (K\alpha \rightarrow \alpha)$. Более того, «правило Гёделя (the necessitation rule)» не принадлежит множеству правил вывода системы \mathfrak{N} . Следовательно, модальная логика, лежащая в основе системы \mathfrak{N} , является *ненормальной* [23, 24, 26, 30, 31].

Вообще говоря, правило удаления знака \Box (если $\vdash \Box\alpha$, то $\vdash \alpha$) отсутствует в \mathfrak{N} . Однако *ограниченный* вариант правила удаления знака \Box может быть обоснован в \mathfrak{N} при допущении, что $A\alpha$, применением правила *modus ponens* к схеме аксиом AX-3: $A\alpha \rightarrow (\Box\beta \rightarrow \beta)$. Таким образом, в системе \mathfrak{N} существует следующее *ограниченное* производное правило вывода: если $A\alpha \mid \vdash \Box\beta$, то $A\alpha \mid \vdash \beta$. В моих публикациях это *ограниченное* (условное) правило вывода часто называется правилом удаления \Box , но при этом *неявно подразумевается*, что оно применимо, только если $A\alpha$. Иметь в виду это неявно подразумеваемое *необходимое условие* очень важно, ибо в случае $E\alpha$ применение правила удаления \Box не является обоснованным, поэтому удалять \Box в этом частном случае нельзя.

Система \mathfrak{N} может быть использована для формулировки нового варианта решения проблемы, известной под названием «эпистемический парадокс Мура». Предлагаю разделить эту проблему на две части и проанализировать их по отдельности.

Первая часть проблемы – пресловутое предложение Мура при условии, что **Aa**. При этом особом условии в системе **ℵ** может быть построен следующий формальный дедуктивный вывод.

1. Схема аксиом AX-1.
2. $Aa \rightarrow (Ka \wedge \Box a \wedge \neg \Diamond Sa \wedge \Box(a \leftrightarrow \Box a) \wedge \Box(a \leftrightarrow Ka) \wedge \Box(a \leftrightarrow Fa) \wedge \Box(a \leftrightarrow Ta) \wedge \Box(a \leftrightarrow Pa) \wedge \Box(a \leftrightarrow Za))$: из 1 по правилу удаления \leftrightarrow .
3. **Aa**: допущение.
4. $(Ka \wedge \Box a \wedge \neg \Diamond Sa \wedge \Box(a \leftrightarrow \Box a) \wedge \Box(a \leftrightarrow Ka) \wedge \Box(a \leftrightarrow Fa) \wedge \Box(a \leftrightarrow Ta) \wedge \Box(a \leftrightarrow Pa) \wedge \Box(a \leftrightarrow Za))$: из 2 и 3 по *modus ponens*.
5. $\Box(a \leftrightarrow Ka)$: из 4 по правилу удаления \wedge .
6. $\Box(a \leftrightarrow Fa)$: из 4 по правилу удаления \wedge .
7. $(a \leftrightarrow Ka)$: из 5 по (ограниченному) правилу удаления \Box .
8. $(a \leftrightarrow Fa)$: из 6 по (ограниченному) правилу удаления \Box .
9. $(Ka \leftrightarrow a)$: из 7 по правилу коммутативности \leftrightarrow .
10. $(Ka \leftrightarrow Fa)$: из 8 и 9 по правилу транзитивности \leftrightarrow .

Последовательность (1–10) есть формальный дедуктивный вывод схемы формул $(Ka \leftrightarrow Fa)$ в системе **ℵ**. Итак, если **Aa**, то предложение, именуемое парадоксом Мура, действительно содержит в себе формально-логическое противоречие. Такое заключение можно аргументировать более подробно, продолжив приведенную выше последовательность (1–10) следующим образом.

1. $(Ka \rightarrow Fa)$: из 10 по правилу удаления \leftrightarrow .
2. $(Ka \wedge \neg Fa)$: модель предложения Мура¹.
3. **Ka**: из 12 по правилу удаления \wedge .
4. **Fa**: из 11 и 13 по *modus ponens*.
5. $\neg Fa$ из 12 по правилу удаления \wedge .

Во время обсуждения вышесказанного на упомянутом семинаре было высказано замечание, что по сравнению с $(Ka \wedge \neg Fa)$, возможно, более точной моделью парадоксального предложения, действительно высказанного самим Муром, является $(a \wedge \neg Fa)$ ². Однако, на мой взгляд, принятие во внимание указанной возможности уточнения не приводит к существенному изменению результата исследования: мы приходим к тому же самому заключению, а именно: парадокс Мура влечет формально-логическое противоречие, так как формальный дедуктивный вывод (1–10) может быть продолжен следующим образом.

1. $(a \rightarrow Fa)$: из 8 по правилу удаления \leftrightarrow .
2. $(a \wedge \neg Fa)$: уточненная модель парадокса Мура.
3. **a**: из 17 по правилу удаления \wedge .
4. $\neg Fa$: из 17 по правилу удаления \wedge .
5. **Fa**: из 16 и 18 по *modus ponens*.

Вывод (1–20) означает, что если **Aa**, то пресловутое предложение Мура действительно является логически противоречивым, а не просто странным с психологической точки зрения. Однако согласно схеме аксиом AX-2 в случае

¹ Подразумевается, что субъект в **Ka** и в **Fa** один и тот же.

² Подразумевается, что пропозиции, имеющие логическую форму **a** и $\neg Fa$, высказываются одним и тем же субъектом.

эмпирического знания (**Еа**) логическая схема «парадокса Мура» логически непротиворечива; возможна такая интерпретация этой схемы, в которой она может оказаться истинным предложением.

Литература

1. Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2002. 638 с.
2. Лакатос И. Доказательства и опровержения. М.: Наука, 1967. 152 с.
3. Лоренц К. Обратная сторона зеркала // Фет А.И. (пер.). Собрание переводов. Nyköping, Sweden: Philosophical Arkiv, 2016. 633 с.
4. Поннер К.Р. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. 606 с.
5. Поннер К.Р. Объективное знание: эволюционный подход. М.: УРСС, 2002. 381 с.
6. Поннер К.Р. Логика научного исследования. М.: Республика, 2005. 447 с.
7. Поннер К.Р. Предположения и опровержения: Рост научного знания. М.: АСТ, 2008. 638 с.
8. Поннер К.Р. Эволюционная эпистемология // Эволюционная эпистемология: антология. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. С. 110–133.
9. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986. 544 с.
10. Фейерабенд П. Против метода: Очерк анархистской теории познания. М.: АСТ, 2007. 414 с.
11. Фоллмер Г. Эволюционная теория познания: Врожденные структуры познания в контексте биологии, психологии, лингвистики, философии и теории науки. М.: Русский двор, 1998. 256 с.
12. Эволюционная эпистемология: проблемы и перспективы. М.: РОССПЭН, 1996. 197 с.
13. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 462 с.
14. Эволюционная эпистемология: антология. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. 704 с.
15. Campbell D.T. Natural selection as an epistemological model // Raoul Naroll and Ronald Cohen (eds.). A handbook of method in cultural anthropology. New York: National History Press, 1970. P. 51–85.
16. Campbell D.T. Evolutionary Epistemology // P.A. Schilpp (ed.). The philosophy of Karl R. Popper. LaSalle, IL: Open Court, 1974. P. 412–463.
17. Campbell D.T. Evolutionary epistemology // Gerard Radnitzky and W.W. Bartley (eds.). Evolutionary epistemology, rationality, and the sociology of knowledge. LaSalle, IL: Open Court, 1987. P. 47–89.
18. Campbell D.T. Epistemological roles for selection theory // Nicholas Rescher (ed.). Evolution, cognition, and realism: Studies in evolutionary epistemology. Lanham, Md.: University Press of America, 1990. P. 1–19.
19. Ruse M. Evolutionary Epistemology: Can Sociobiology Help? // Sociobiology and Epistemology. Synthese Library. Volume 180. Dordrecht: D. Reidel, 1985. P. 249–265.
20. Tulmin S. The Evolutionary Development of Natural Science // American Scientist. 1967. Vol 55. P. 456–471.
21. Wuketits F.M. Evolutionary Epistemology and Its Implications for Humankind. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1990. 262 p.
22. Костюк В.Н. Элементы модальной логики. Киев: Наукова думка, 1978. 180 с.
23. Крунке С. Семантический анализ модальной логики I. Нормальные модальные исчисления высказываний // Фейс Р. Модальная логика. М.: Наука, 1974. С. 254–303.
24. Крунке С. Семантический анализ модальной логики II. Ненормальные модальные исчисления высказываний // Фейс Р. Модальная логика. М.: Наука, 1974. С. 304–323.
25. Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. М.: Прогресс, 1980. 447 с.
26. Bull R., Segerberg K. Basic Modal Logic // D. Gabbay, F. Guenther (eds.). Handbook of Philosophical Logic, vol. II: Extensions of Classical Logic. Synthese Library. Vol. 165. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1984. P. 1–88.
27. Hintikka J. Knowledge and belief. An introduction to the logic of the two notions. Ithaca: Cornell university press, 1962. 179 p.

28. *Hintikka J.* Knowledge and the known. Historical perspectives in epistemology. Dordrecht-Boston: D. Reidel, 1974. 243 p.
29. *Hintikka J., Hintikka M.B.* The logic of epistemology and the epistemology of logic. Selected essays. Dordrecht, etc.: Kluwer, 1989. 245 p.
30. *Priest G.* What is a Non-Normal World? // *Logique et Analyse*. 1992. Vol. 139–140. P. 291–302.
31. *Priest G.* An Introduction to Non-Classical Logic: From If to Is, 2nd Edition, Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2008. 643 p.
32. *Пуанкаре А.* О науке. М.: Наука, 1983. 560 с.
33. *Лобовиков В.О.* Аксиоматическая система эпистемологии // *Известия Уральского Федерального университета. Общественные науки*. 2016. № 1 (149). С. 5–19.
34. *Лобовиков В.О.* Аксиоматизация философской эпистемологии: (Концептуальный синтез рационализма Лейбница и эмпиризма Локка, Юма, Мура) // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2016. № 4(36). С. 69–78. DOI: 10.17223/1998863X/36/7.
35. *Лобовиков В.О.* Аксиоматическое определение сферы адекватности рационалистического оптимизма Г.В. Лейбница, Д. Гильберта и К. Гёделя // *Сибирский философский журнал*. 2016. Т. 14, № 4. С. 69–81.
36. *Лобовиков В.О.* Доказательство теоремы о калокагатии в аксиоматической системе философской эпистемологии // *Дискурс-Пи*. 2016. № 4 (25). С. 256–264.
37. *Лобовиков В.О.* Аксиоматизация эпистемологии как средство экспликации теории права: «Дигесты» Юстиниана и проблема однородности естественного права // *Дискурс-Пи*. 2016. № 3 (24). С. 48–60.
38. *Лобовиков В.О.* Дедуктивное доказательство эквивалентности истинности и полезности априорного знания в аксиоматической системе эпистемологии: (Точное аксиоматическое определение сферы адекватности главного принципа прагматизма «Истинно то, что полезно») // *Сибирский философский журнал*. 2017. Т. 15, № 2. С. 40–52.
39. *Лобовиков В.О.* Логический квадрат и гексагон эпистемических понятий: (Эволюционная эпистемология как явный абсурд с точки зрения древнегреческой философии абсолютного знания и загадочная абсурдность этой древнегреческой онтологии и философии знания с точки зрения современной логики, методологии и философии науки: о возможности логически непротиворечивого «снятия» конфликта двух парадигм) // *Эпистемы*. Вып. 9.: Аспекты аналитической традиции. Екатеринбург: Ажур, 2014. С. 57–68.
40. *Лобовиков В.О.* Уточнение статуса логико-философских принципов фальсификации и верификации (научного знания) в философской эпистемологии (Логические квадраты и гексагоны эпистемических модальностей) // *Дискурс-Пи*. 2015. № 1 (18). С. 98–104.
41. *Lobovikov V.O.* Square and Hexagon of Opposition of “A-Priori Knowledge” and “Empirical One” (Eliminating an Impression of Logic Contradiction between Leibniz’ and Gödel’s Statements) // 5th World Congress on the Square of Opposition (November 11–15, 2016, Easter Island – Rapa Nui, Chile). Handbook of Abstracts edited by Jean-Yves Béziau, Arthur Buchsbaum and Manuel Correia. Santiago, Chile: Pontifical Catholic University, Chile, 2016. P. 33–34.
42. *Lobovikov V.O.* Axiomatizing epistemology // Srećko Kovač, Kordula Świetorzecka (eds.). *Formal Methods and Science in Philosophy: Abstracts of the International conference (Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia, May 4–6, 2017)*. Zagreb: Institute of Philosophy, 2017. P. 7–8.
43. *Béziau J.-Y.* The New Rising of the Square of Opposition // D. Jacquette (eds.). *Around and Beyond the Square of Opposition*. Basel: Birkhäuser, 2012. P. 3–19.
44. *Béziau J.-Y.* The Power of the Hexagon // *Logica Universalis*. 2012. Vol. 6, no. 1–2. P. 1–43.
45. *Blanché R.* Sur la structuration du tableau des connectifs interpropositionnels binaires // *Journal of Symbolic Logic*. 1957. Vol. 22, № 1. P. 17–18.
46. *Blanché R.* Structures intellectuelles. Essai sur l’organisation systématique des concepts. Paris: Vrin, 1966. 151 p.

Lobovikov Vladimir O. Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia)

E-mail: vlobovikov@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/1

EVOLUTIONARY EPISTEMOLOGY AND NON-NORMAL MODAL LOGIC OF KNOWLEDGE

Key words: evolutionary-epistemology, epistemic-logic, non-normal-modal-logic.

From the viewpoint of evolutionary epistemology, it is not perfect that the formula “If agent knows that q , then q ” belongs to the set of theorems of epistemic logic calculi. Not formal defects of those calculi in which the formula is provable are meant but not-adequateness of such calculi from the philosophical content viewpoint is implied. It is suggested to exclude the mentioned formula from the set of theorems of epistemic logic in such a way that being not a theorem the formula is deductively derivable from an assumption. The assumption is precisely defined in this paper by means of such an axiomatic epistemology system to the set of theorems of which the following theorem belongs: “If agent knows that q , then, if agent a priori knows that q , then q ”. The axiomatic epistemology system precisely defined and exploited in this article synthesizes the rationalism (a-priori-ism) and the empiricism (a-posteriori-ism) philosophical doctrines consistently. Thus, the paper gives a precise axiomatic definition of exotic epistemic-modality-notions “agent a priori knows that q ” and “agent a posteriori knows that q ”. In the conceptual opposition-square-and-hexagon submitted by the author, the mentioned exotic epistemic-modality-notions are not contradictory but contrary to each other. Generally speaking the axiomatic epistemology system under investigation is based upon not a normal modal logic as Gödel’s necessitation rule does not belong to this axiom system. Nevertheless, in the particular case (subsystem) of purely a priori knowledge Gödel’s rule is derivable. It is not derivable as a general rule of inference of the axiom system as a whole owing to that axiom which defines the epistemic modality “agent a posteriori knows that q ”. The heuristic power of the epistemology-axiom-system is exemplified by applying it to investigating logic aspect of the “epistemic paradox” formulated by G.E. Moore. The problem is divided into two parts and the parts are considered separately. The investigation results are the following. If it is implied that the knowledge in question is a priori one, then Moore sentence does entail a formal logic contradiction. A formal deductive proof of this statement is constructed within the epistemology-axiom-system under discussion. But if it is implied that the knowledge in question is empirical (a posteriori) one, then the so-called “paradox” of Moore does not entail a formal logic contradiction: the notorious sentence can be true.

References

1. Kun, T. (2002) *Struktura nauchnykh revolyutsiy* [The Structure of Scientific Revolutions]. Translated from English by I.E. Naletov. Moscow: AST.
2. Lakatos, I. (1967) *Dokazatel'stva i oproverzheniya* [Proofs and Refutations]. Translated from English by I.N. Veselovsky. Moscow: Nauka.
3. Lorentz, K. (2016) *Oborotnaya storona zerkala* [The reverse side of the mirror]. Translated from German by A.I. Fet. Nyköping, Sweden: Philosophical Arckiv.
4. Popper, K.R. (1983) *Logika i rost nauchnogo znaniya* [Logic and the growth of scientific knowledge]. Translated from English. Moscow: Progress.
5. Popper, K.R. (2002) *Ob'ektivnoe znanie: evolyutsionnyy podkhod* [Objective Knowledge: An Evolutionary Approach]. Translated from English by D.G. Lakhuti. Moscow: URSS.
6. Popper, K.R. (2005) *Logika nauchnogo issledovaniya* [The Logic of Scientific Research]. Translated from English. Moscow: Respublika.
7. Popper, K.R. (2008) *Predpolozheniya i oproverzheniya: Rost nauchnogo znaniya* [Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge]. Translated from English. Moscow: AST.
8. Popper, K.R. (2012) *Evolyutsionnaya epistemologiya* [Evolutionary epistemology]. In: Knyazeva, E.N. (ed.) *Evolyutsionnaya epistemologiya. Antologiya* [Evolutionary epistemology. Anthology]. Moscow: Tsentr gumanitarnykh initsiativ. pp. 110–133.
9. Feyerabend, P. (1986) *Izbrannye trudy po metodologii nauki* [Selected works on the methodology of science]. Translated from English and German by A.L. Nikiforov. Moscow: Progress.
10. Feyerabend, P. (2007) *Protiv metoda: Ocherk anarkhistskoy teorii poznaniya* [Against Method. Outline of an Anarchist Theory of Knowledge]. Translated from English by A.L. Nikiforov. Moscow: AST.
11. Follmer, G. (1998) *Evolyutsionnaya teoriya poznaniya. Vrozhdennnye struktury poznaniya v kontekste biologii, psikhologii, lingvistiki, filosofii i teorii nauki* [Evolutionary theory of knowledge. Congenital structures of knowledge in the context of biology, psychology, linguistics, philosophy and the theory of science]. Translated from German by A.V. Kezin. Moscow: Russkiy dvor.
12. Merkulov, I.P. (ed.) (1996) *Evolyutsionnaya epistemologiya: problemy i perspektivy* [Evolutionary epistemology: problems and perspectives]. Moscow: ROSSPEN.
13. Lakhuti, D.G., Sadovsky, V.N. & Finn, V.K. (eds) (2000) *Evolyutsionnaya epistemologiya i logika sotsial'nykh nauk: Karl Popper i ego kritiki* [Evolutionary epistemology and the logic of social sciences: Karl Popper and his critics]. Moscow: Editorial URSS.

14. Knyazeva, E.N. (ed.) *Evolutsionnaya epistemologiya. Antologiya* [Evolutionary epistemology. Anthology]. Moscow: Tsentri gumanitarnykh initsiativ.
15. Campbell, D.T. (1970) Natural selection as an epistemological model. In: Naroll, R. & Cohen, R. (eds). *A Handbook of Method in Cultural Anthropology*. New York: National History Press. pp. 51–85.
16. Campbell, D.T. (1974) Evolutionary Epistemology. In: Schilpp, P.A. (ed.) *The philosophy of Karl R. Popper*. LaSalle, IL: Open Court. pp. 412–463.
17. Campbell, D.T. (1987) Evolutionary epistemology. In: Radnitzky, G. & Bartley, W.W. (eds). *Evolutionary epistemology, rationality, and the sociology of knowledge*. LaSalle, IL: Open Court. pp. 47–89.
18. Campbell, D.T. (1990) Epistemological roles for selection theory. In: Rescher, N. (ed.) *Evolution, cognition, and realism: Studies in evolutionary epistemology*. Lanham, Md.: University Press of America. pp. 1–19.
19. Ruse, M. (1985) Evolutionary Epistemology: Can Sociobiology Help? *Sociobiology and Epistemology. Synthese Library*. 180. pp. 249–265.
20. Tullmin, S. (1967) The Evolutionary Development of Natural Science. *American Scientist*. 55. pp. 456–471.
21. Wuketits, F.M. (1990) *Evolutionary Epistemology and Its Implications for Humankind*. Albany, N.Y.: State University of New York Press.
22. Kostyuk, V.N. (1978) *Elementy modal'noy logiki* [Elements of modal logic]. Kyev: Naukova dumka.
23. Kripke, S. (1974) Semanticheskiy analiz modal'noy logiki I. Normal'nye modal'nye ischisleniya vyskazyvaniya [Semantic analysis of modal logic I. Normal modal calculi of propositions]. In: Faith, R. *Modal'naya logika* [Modal Logic]. Translated from English by G. Mintz. Moscow: Nauka. pp. 254–303.
24. Kripke, S. (1974) Semanticheskiy analiz modal'noy logiki II. Nenormal'nye modal'nye ischisleniya vyskazyvaniya [Semantic analysis of modal logic II. Abnormal modal calculus of utterances]. In: Faith, R. *Modal'naya logika* [Modal Logic]. Translated from English by G. Mintz. Moscow: Nauka. pp. 304–323.
25. Hintikka, J. (1980) *Logiko-epistemologicheskie issledovaniya* [Logical-epistemological studies]. Translated from English. Moscow: Progress.
26. Bull, R. & Segerberg, K. (1984) Basic Modal Logic. In: Gabbay, D. & Guenther, F. (eds) *Handbook of Philosophical Logic*. Vol. 2. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company. pp. 1–88. DOI: 10.1007/978-94-017-0452-6
27. Hintikka, J. (1962) *Knowledge and belief. An introduction to the logic of the two notions*. Ithaca: Cornell University Press.
28. Hintikka, J. (1974) *Knowledge and the known. Historical perspectives in epistemology*. Dordrecht–Boston: D. Reidel.
29. Hintikka, J. & Hintikka, M.B. (1989) *The logic of epistemology and the epistemology of logic. Selected essays*. Dordrecht: Kluwer
30. Priest, G. (1992) What is a Non–Normal World? *Logique et Analyse*. 139–140. pp. 291–302.
31. Priest, G. (2008) *An Introduction to Non–Classical Logic: From If to Is*. 2nd ed. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
32. Poincare, H. (1983) *O nauke* [About Science]. Translated from French. Moscow: Nauka.
33. Lobovikov, V.O. (2016) Axiomatic system of epistemology. *Izvestiya Ural'skogo Federal'nogo universiteta. Obshchestvennyye nauki – Ural Federal University Journal. Series 3. Social and Political Sciences*. 11(1). pp. 5–19. (In Russian).
34. Lobovikov, V.O. (2016) An axiomatization of philosophical epistemology (a conceptual synthesis of Leibniz' rationalism and the empiricism of Locke, Hume, Moore). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 4(36). pp. 69–78. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/36/7.
35. Lobovikov, V.O. (2016) Aksiomaticheskoe opredelenie sfery adekvatnosti ratsionalisticheskogo optimizma G.V. Leybnitsa, D. Gil'berta i K. Gedelya [Axiomatic definition of the sphere of adequacy of rationalistic optimism by G.V. Leibniz, D. Hilbert and K. Gödel]. *Sibirskiy filosofskiy zhurnal – Siberian Journal of Philosophy*. 14(4). pp. 69–81.
36. Lobovikov, V.O. (2016a) Proving a Theorem of Kalokagathia in Axiomatic System of Philosophical Epistemology (Optimism and Pre-Established Harmony: from Ancient Greek Philosophy and Early Christian One to A.A. Shaftesbury, G.W. Leibniz and K. Gödel). *Diskurs-Pi*. 4(25). pp. 256–264. (In Russian).

37. Lobovikov, V.O. (2016b) Axiomatizing Epistemology as a Means for Explicating Law Theory: “Digesta” Iustiniani and a Problem of Homogeneity of the Natural Law. *Diskurs-Pi*. 3(24). pp. 48–60. (In Russian).
38. Lobovikov, V.O. (2017) Deduktivnoe dokazatel'stvo ekvivalentnosti istinnosti i poleznosti apriornogo znaniya v aksiomaticheskoy sisteme epistemologii (Tochnoe aksiomaticheskoe opredelenie sfery adekvatnosti glavnogo printsipa pragmatizma “Istino to, chto polezno”) [Deductive proof of the equivalence of the truth and usefulness of a priori knowledge in the axiomatic system of epistemology (Exact axiomatic definition of the sphere of adequacy of the main principle of pragmatism “True is what useful)]. *Sibirskiy filosofskiy zhurnal – Siberian Journal of Philosophy*. 15(2). pp. 40–52.
39. Lobovikov, V.O. (2014) Logicheskiy kvadrat i geksagon epistemicheskikh ponyatiy (Evolutsionnaya epistemologiya kak yavnyy absurd s tochki zreniya drevnegrecheskoy filosofii absolyutnogo znaniya, i zagadochnaya absurdnost' etoy drevnegrecheskoy ontologii i filosofii znaniya s tochki zreniya sovremennoy logiki, metodologii i filosofii nauki: o vozmozhnosti logicheskogo neprotivorechivogo “snyatiya” konflikta dvukh paradigim) [The logical square and hexagon of epistemic concepts (Evolutionary epistemology as an obvious absurdity from the point of view of the ancient Greek philosophy of absolute knowledge, and the mysterious absurdity of this ancient Greek ontology and philosophy of knowledge in terms of modern logic, methodology and philosophy of science: the possibility of logically consistent “withdrawal” of the conflict two paradigms)]. *Epistemy*. 9. pp. 57–68.
40. Lobovikov, V.O. (2015) Explicating Status of Logical-Philosophical Principles of Falsifiability and Verifiability (Of Scientific Knowledge) In Philosophical Epistemology (Logical Squares and Hexagons of Epistemic Statements). *Diskurs-Pi*. 18. pp. 98–104. (In Russian).
41. Lobovikov, V.O. (2016) Square and Hexagon of Opposition of “A-Priori Knowledge” and “Empirical One” (Eliminating an Impression of Logic Contradiction between Leibniz’ and Gödel’s Statements). *5th World Congress on the Square of Opposition*. November 11–15, 2016. Easter Island – Rapa Nui, Chile. Santiago, Chile: Pontifical Catholic University. pp. 33–34.
42. Lobovikov, V.O. (2017) Axiomatizing epistemology. In: Kovač, S. & Świercicka, K. (eds). *Formal Methods and Science in Philosophy*. Zagreb: Institute of Philosophy. pp. 7–8.
43. Béziau, J.-Y. (2012) The New Rising of the Square of Opposition. In: Jacquette, D. (ed.) *Around and Beyond the Square of Opposition*. Basel: Birkhäuser. pp. 3–19.
44. Béziau, J.-Y. (2012) The Power of the Hexagon. *Logica Universalis*. 6(1–2). pp. 1–43.
45. Blanché, R. (1957) Sur la structuration du tableau des connectifs interpropositionnels binaires [On the structuring of the table of binary interpropositional connectives]. *Journal of Symbolic Logic*. 22(1). pp. 17–18. DOI: 10.2307/2963807
46. Blanché, R. (1966) *Structures intellectuelles. Essai sur l'organisation systématique des concepts* [Intellectual structures. Essay on the systematic organisation of concepts]. Paris: Vrin.

УДК 18

DOI: 10.17223/1998863X/41/2

Д.И. Небольсин

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Рассматриваются основные признаки дисциплинарной и методологической идентичности аналитической философии изображений с целью определить ее отличия от других школ изучения визуального. В качестве наиболее значимых отличий выявляются следующие: ограничение исследовательской проблематики областью изобразительной репрезентации, отмежевание от нормативной эстетики, методологическое разнообразие и работа с феноменологическими и онтологическими вопросами посредством уточнения понятийного аппарата.

Ключевые слова: репрезентация, изображения, аналитическая философия, теория образа.

Искусствоведение и история искусства, иконология, визуальные исследования, семиотика, теория образа, арт-критика, визуальная социология – таков неполный список школ, дисциплин и методологий, затрагивающих проблематику визуального и образного. Эта обширная область не поддается беглому картографированию, и связанные с ней дискуссии порой приводят к формированию достаточно необычных исследовательских программ, таких как аналитическая философия изображений. Поскольку на сегодня она практически не представлена в отечественной научной литературе, цель данной статьи – выделить ключевые вопросы, понятия и установки, общие для этого неоднородного направления исследований, в котором практически нет наглядных самоописаний.

Само обозначение «аналитическая философия изображений» (далее – АФИ) не очень распространено¹ и используется нами по аналогии с другими тематическими ответвлениями аналитической философии, такими, например, как аналитическая философия языка или аналитическая философия истории. Представители АФИ придерживаются характерного стиля письма, сочетающего строгость и ясность аргументации с полемической направленностью, но сравнительно редко обращаются к классикам вроде Бертрانا Рассела или Уилфрида Селларса. При этом в АФИ не практикуется историческая реконструкция дискуссий в ее рамках, а функцию специализированных учебников или ридеров выполняют либо сборники статей [1, 2], либо монографии, которые можно назвать обзорными лишь условно, поскольку их авторы сопровождают изложение имеющихся концепций их развернутой критикой и экспликацией собственных подходов. Примерами книг такого рода могут служить «Понимание изображений» Доминика М. Лопеса [3] и «Образы» Джона Кульвицки [4]. Вместе с тем почти каждая серьезная (т.е. содержащая

¹ Представители АФИ редко оговаривают свою принадлежность к аналитической философии, предпочитая обозначения вроде «философия изображений (philosophy of depiction)», «теория репрезентации» и проч.

оригинальную и аргументированную теорию) монография в этой области не обходится без полемиического обзора альтернативных концепций.

По меньшей мере один из центральных для АФИ вопросов нетрудно предугадать: «что такое изображение?» Во избежание разногласий на уровне центральных понятий этот термин трактуется предельно просто: им обозначается любой объект, подпадающий под обыденное понимание слова «изображение». Очевидные примеры – рисунки или фотографии, т.е. все, что обладает некоторым материальным носителем (будь то холст, бумага или стена) и некоторым фигуративным или нефигуративным¹ визуальным содержанием. Проще говоря, изображение – это картинка, а не образ, поскольку образ может не иметь материального носителя и быть ментальным, оптическим, тактильным или, например, звуковым [5. Р. 9–14]. Разумеется, картинки тоже неоднородны – к ним относятся не только фотографии в семейных альбомах или полотна в музеях, но и инженерные чертежи, фотороботы, портреты звезд на футболках или рисунки на коробках конфет. Разнообразие изображений (*pictorial diversity*) подталкивает к постановке вопроса о том, что общего есть у этих артефактов помимо их визуальной специфики. В АФИ на него отвечают примерно так: все они репрезентируют что-то, однако особым способом – изображения невозможны без *депикции* (*depiction*) или *изобразительной репрезентации* (*pictorial representation*). Этот тезис с неизбежностью провоцирует дальнейшие вопросы, а также заставляет остановиться на одном существенном терминологическом затруднении.

Оно связано с тем, что *pictorial representation* и *depiction* настолько тесно переплетенные понятия, что в первом приближении их можно посчитать синонимичными. Но в АФИ они, как правило, не признаются таковыми: «картина может изображать (to depict) агнца, и агнец может репрезентировать (to represent) Христа; но картина не изображает Христа» [6. Р. 383]. Этот пример, предложенный Кристофером Пикоком, недостаточно точен (в нем не говорится именно о пикториальной репрезентации, которая в данном случае выполняла бы те же функции, что и депикция), но он демонстрирует, что репрезентация – это исключительно широкое, расхожее и неопределенное понятие, использование которого при объяснении изображений может привести к возникновению целого ряда трудностей. Депикция – термин с более узким значением, но в нем имплицирован фигуративный характер изображений, в то время как далеко не все из них фигуративны. Оба варианта обозначения проблематичны: они легко могут привести к объяснению изображений по модели реалистической живописи или фотографии либо же к ограничению этого объяснения спецификой отношений изображений с их референтами. Но в АФИ подобным стратегиям противостоят альтернативные – к примеру, трактующие изобразительную репрезентацию не как копирование воспроизводства, а как интерпретацию видимого мира [7. Р. 31–33]. В этом случае подчеркивается, что изображения асимметричны как предмету, так и обыденному перцептивному опыту. То есть базовое теоретическое допущение АФИ о репрезентативном характере изображений не только ограничивает

¹ Вопрос о том, являются ли абстракции предметом интереса АФИ, остается дискуссионным: если одни авторы уделяют им специальное внимание либо включают их в область охвата своих теорий, то другие отрицают их принадлежность к классу изображений. Первая позиция встречается чаще, но и её сторонники склонны уделять больше внимания фигуративным изображениям.

затрагиваемую ею проблематику, но и допускает множественность вариантов работы с этим допущением.

Приведем список вопросов, которые могут прояснить специфику и неоднородность АФИ (далеко не каждая из связанных с ней теорий затрагивает все эти вопросы или ограничивается ими)¹:

(1) *Что такое изображение?* Приведенная выше отсылка к повседневному использованию этого термина не дает ответа: как правило, она служит отправной точкой для дальнейшей работы.

(2) *Что такое изобразительная репрезентация/депикция?* Этот вопрос можно уточнить следующим образом. Допустим, перед нами иллюстрация из учебника по анатомии. Почему мы видим в ней именно схему поперечного разреза головного мозга, а не монохромную абстракцию или фотографию кота?

(3) *Чем изображения отличаются от других репрезентаций?* Хотя аналитическая традиция плотно ассоциируется с лингвоцентризмом, в АФИ принято избегать редуccionистских объяснений.

(4) *Как объяснить онтологическую двойственность изображений?* В любом изображении можно выделить: (а) материальную плоскость с пятнами, линиями, точками, мазками и прочими метками (marks) и (б) нематериальный объект изображения (репрезентируемые вещи, события, состояния и т.д.), который чаще всего и привлекает наше внимание. Объяснение соотношений этих элементов представляется одной из наиболее сложных задач, которые ставят перед собой теоретики АФИ.

(5) *Каковы необходимые и достаточные условия базового понимания изображений?* Термин «понимание» в этом случае трактуется в минималистическом ключе: если мы видим кота в фотографии кота, то фотография нами понята. Но как раскрыть механику этого понимания, не прибегая к семиотическому редуccionизму или предположению, что изображения объективно похожи на свои объекты?

(6) *Что представляет собой опыт восприятия изображений (pictorial experience)?* Как правило, восприятие изображений коренным образом отличается от восприятия предметов лицом к лицу. При этом важно, что прояснение разницы между ними по возможности не должно приводить к перцептуализму, т.е. редуccionии теории изображений к теории их восприятия.

Многие из этих вопросов (в первую очередь те, что затрагивают онтологическую двойственность и восприятие изображений) были впервые поставлены философами искусства в 60–70-е г. XX в. [7; 11]. Дальнейшие обсуждения этих проблем привели к формированию АФИ как достаточно автономной в теоретическом отношении школы, обладающей, впрочем, неустойчивым дисциплинарным статусом: до сих пор зачастую ее считают подразделом эстетики. Это обусловлено не только ее генезисом: работы по философии изображений регулярно публикуются в *British Journal of Aesthetics* и *Journal of Aesthetics and Art Criticism*, а краткие обзоры теорий изобразительной репрезентации встречаются во многих заметных антологиях и учебных пособиях по философии искусства [11–15]. Профессиональные траектории представи-

¹ Вопросы 1, 2, 5 и 6 даны в формулировках, близких к предложенным Робертом Хопкинсом [8]. Вопрос 3 затрагивается главным образом структурными теоретиками (см. ниже). Вопрос 4 восходит к работам Майкла Поланьи [9] и Майкла Подро [10].

телей АФИ также во многих случаях связаны с эстетикой – в качестве примера можно привести отрывок из интервью с Домиником М. Лопесом: «...моя учеба в докторантуре была почти полностью ограничена философией языка и философией сознания; я толком не представлял, что такое эстетика... Потом я написал эту книгу – «Понимание изображений» – и переехал в Штаты, где все сказали: «Да ты занимаешься эстетикой», на что я ответил: «Да? Ну ладно!» и стал посещать собрания Американского общества по эстетике. Но было бы несколько необоснованно утверждать, что каждый, кто занимается изображениями, занимается эстетикой» [16. Р. 1–2].

С последним замечанием нельзя не согласиться: если некоторых представителей АФИ (К. Уолтон, Р. Уоллхейм и др., включая позднего Лопеса) можно без особых сомнений причислить и к философам искусства, то к другим (Дж. Кульвицки, Ф. Шиер и т.д.) эта характеристика неприменима, поскольку эти авторы либо не затрагивают проблематику искусства, либо делают это исключительно редко. Но важнее то, что убедительная теория изобразительной репрезентации должна быть применима к любым изображениям, а не только художественным. Последние едва ли могут быть удачной отправной точкой для АФИ, поскольку это может привести к нормативной ориентации на эстетические режимы восприятия и оценивания. Поэтому можно говорить о значительной теоретической независимости АФИ от эстетики, которая лишь подчеркивается тем, что проблемы изобразительной репрезентации вызывают интерес не только у философов искусства, но и, к примеру, у представителей философии науки, когнитивных исследований и философии сознания. Время от времени взаимодействие с данными дисциплинами позиционируется в качестве приоритетного направления развития АФИ, потенциально способствующего легитимации ее достижений путем эмпирической проверки [8, 17, 18]. Но этот тренд не является центральным, несмотря на ряд работ, посвященных вопросам связи функционирования ментальных и изобразительных репрезентаций [19–21], роли изображений в научных практиках [22] или, например, использования сенсомоторных, телесно-ориентированных и иных нерепрезентационных теорий восприятия и сознания для объяснения изображений [23. Р. 82–113; 24].

Если же говорить об основной линии в развитии АФИ, то в ней можно наблюдать четко сформированный набор подходов, дискуссии между которыми определяют ее теоретическую идентичность. Придерживаясь приблизительной хронологии возникновения этих теорий, вкратце их можно представить следующим образом:

– Иллюзионистская теория Эрнста Гомбриха [25] сочетает перцептуализм с конвенционализмом [26]: изображения вызывают у зрителя иллюзию того, что их восприятие феноменологически идентично восприятию объектов лицом к лицу (это, в частности, обуславливает невозможность одновременного восприятия поверхности изображения и его объекта), но условием этой иллюзии являются репрезентативные схемы, неотделимые от социальных факторов и истории той или иной разновидности репрезентации.

– Структурные теории [7, 27, 28] имеют сравнительно мало общего со структурной лингвистикой и ее производными: они отталкиваются от концепции Нельсона Гудмена, в которой в качестве «ядра» изобразительной репрезентации постулировалась денотация. Указывая на конвенциональный

характер восприятия изображений, Гудмен подчеркивал, что их необходимо исследовать в контексте символических систем, обладающих определенными семантическими и синтаксическими характеристиками.

– В предложенной Ричардом Уоллхеймом [29] теории «видения-в» (*seeing-in*) структурное различие между восприятием изображений и восприятием объектов лицом к лицу объясняется тем, что мы одновременно видим и изображенный объект, и поверхность изображения. Указание на «двусложный» (*twofold*) характер восприятия изображений вызвало множество дискуссий и попыток уточнения и дальнейшего развития этой теории [30, 31].

– Подход Кендалла Уолтона [32] основан на понятии *make-believe*, т.е. воображаемой или игровой ситуации: в этой перспективе изображения выполняют функцию «подпорок» (*props*) для воображения реципиента, воображающего себя в ситуации действительного восприятия объекта изображения. Эта теория охватывает не только изобразительную репрезентацию, но и любые виды репрезентации в искусстве – с точки зрения Уолтона, неизменно имеющей фикциональный характер.

– Теории изображения, основывающиеся на концепции распознавания (Флинт Шierer [33], Доминик М. Лопес [3]), исходят из следующего аргумента: если у нас есть способность узнавать сильно изменившиеся за годы и десятилетия лица, то было бы по меньшей мере странно, если бы она «отказывала» в процессах понимания изображений. Тем самым подчеркивается дорефлексивная и непонятливая специфика этого понимания.

– В теориях Роберта Хопкинса [34] и Джона Хаймана [35] предпринимается попытка реабилитации миметических подходов к изобразительной репрезентации: сходство между изображением и объектом не является объективным, а реализуется в опыте реципиента.

Несмотря на неизбежную неполноту данного изложения, нетрудно заметить, что все подходы существенно различаются по своим методологиям, теоретическим акцентам, а порой и целям: как отмечают Кэтрин Эйбелл и Катерина Бантинаки, «среди философов нет и намек на консенсус относительно ключевых проблем философии изображений» [1. Р. 23]. Тем не менее можно выделить несколько точек пересечения между ними, указывающих на основные методологические и теоретические импликации АФИ.

Во-первых, практически все упомянутые теории нацелены на поиск «сильных» и вместе с тем емких теоретических объяснений пикториальной репрезентации, что делает их «жизнеспособными, но малоинформативными» [36]. Это может затруднять как раскрытие ряда теоретических нюансов, так и исследование отдельных изображений, а не только общих принципов их функционирования.

Во-вторых, несмотря на отсутствие общей методологической базы и разнообразие способов аргументации (от апелляций к обыденному опыту или мыслительных экспериментов до привлечения эмпирических исследований), в АФИ наблюдаются достаточно четкие стандарты доказательности и убедительности той или иной теории: в идеале она должна отличаться внутренней согласованностью и охватывать все разнообразие изображений, не противореча обыденным интуициям и не прибегая к редуccionистским объяснениям.

В-третьих, для этих авторов характерен крайне ограниченный круг референций: к примеру, они практически не ссылаются на феноменологов или

французских теоретиков образа. Некоторые из них, впрочем, сближаются с аналитической эстетикой, что зачастую приводит либо к неоправданному сужению предметного поля теории до фигуративных художественных изображений, либо к тому, что теория изобразительной репрезентации оказывается частным применением более широкой эстетической теории (как в случае с Н. Гудменом или К. Уолтоном).

В-четвертых, практически все упомянутые выше теории строятся вокруг новаторских концептов (таких как *make-believe* или двусложность). Не опираясь, по существу, на историю философии и подходу к феноменологическим или онтологическим проблемам «с нуля», представители АФИ стараются решать их посредством расширения, уточнения и нюансировки понятийного аппарата. За счет этого теоретические наработки данной школы могут представлять интерес и для исследователей, не разделяющих ее базовые философские допущения.

Наиболее оригинальную особенность АФИ можно продемонстрировать по контрасту с визуальными исследованиями (*visual studies*). В них зачастую ставится акцент на историчности и вариативности восприятия изображений, на их идеологических импликациях или, например, на зависящих от многочисленных контекстов практиках их производства, обращения и рецепции [37, 38]. В АФИ все эти проблемы и факторы выносятся за скобки, что и обусловливает как ограничения, так и некоторые сильные стороны этой школы: игнорирование исторических, социальных и политических вопросов дает ее представителям возможность искать теоретический доступ к проблематике когнитивных, перцептивных, структурных и онтологических особенностей изобразительной репрезентации. Пожалуй, именно данное обстоятельство демонстрирует, что использование достижений этого направления исследований вне его контекста остро нуждается в их сопоставлении с альтернативными подходами.

Проведенный анализ позволяет заключить, что сформировавшийся собственный теоретический «канон» и ограниченность взаимодействий с другими дисциплинами и позволяют позиционировать АФИ как сообщество авторов, ищущих решения нескольких непростых теоретических вопросов в отсутствие собственных кафедр, журналов и других надежных маркеров дисциплинарной специализации. Как правило, эти вопросы четко ограничиваются областью изобразительной репрезентации (депикции) и затрагивают проблемы определения, онтологической двойственности, базового понимания и восприятия изображений. Установка на точность и изобретательность языка описания, методологическое разнообразие, строгость аргументации и неприятие нормативных эстетических подходов помогают многим представителям АФИ не только обеспечивать продуктивность такой «прицельной» теоретической работы, но и предлагать концепции, которые могут представлять эвристическую ценность и для других направлений исследования визуального и образного.

Литература

1. *Abell C. & Bantinaki K. (eds.) Philosophical Perspectives on Depiction.* Oxford: Oxford University Press, 2010. 256 p.
2. *Hecht H., Atherton M., Schwartz R. (eds.) Looking into Pictures: An Interdisciplinary Approach to Pictorial Space.* Massachusetts: MIT Press, 2003. 417 p.

3. *Lopes D.M.* Understanding Pictures. Oxford: Clarendon Press, 1996. 252 p.
4. *Kulvicki J.* Images. L., N. Y.: Routledge, 2014. 240 p.
5. *Mitchell W. J. T.* Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago and London: University of Chicago Press, 1986. 225 p.
6. *Peacocke C.* Depiction // *The Philosophical Review*. 1987. Vol. 96, № 3. P. 383–410.
7. *Goodman N.* Languages of Art: An Approach to the Theory of Symbols. Indianapolis: Bobbs-Merill Company, 1968. 277 p.
8. *Hopkins R.* Pictures, Phenomenology and Cognitive Science // *The Monist*. 2003. Vol. 86, № 4. P. 653–675.
9. *Polanyi M.* What is a Painting? // *The American Scholar*. 1970. Vol. 39, № 4. P. 655–669.
10. *Podro M.* Depiction and the Golden Calf // *Ibid.* Philosophy and the visual arts: seeing and abstracting / Ed. by A. Harrison. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1997. P. 3–22.
11. *Beardsley M.C.* Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism. 2nd edition. Indianapolis, Cambridge: Hackett, 1981. 614 p.
12. *Gaut B., Lopes D.M. (eds.)* The Routledge Companion to Aesthetics. L., N.Y.: Rotledge, 2001. 705 p.
13. *Levinson J. (ed.)* The Oxford Handbook of Aesthetics. Oxford: Oxford University Press, 2003. 825 p.
14. *Carroll N.* Philosophy of Art: A Contemporary Introduction. L., N.Y.: Rotledge, 2001. 286 p.
15. *Eldridge R.* An Introduction to the Philosophy of Art. Cambridge University Press, 2003. 285 p.
16. *Atencia-Linares P.* Pictures, Bytes and Values: An Interview with Dominic McIver Lopes // *Postgraduate Journal Of Aesthetics*. 2011, № 8 (2). [Online] Available from: <http://www.pjaesthetics.org/index.php/pjaesthetics/article/view/10/8>. (Accessed: 4h May 2017).
17. *Lopes D.M.* Pictures and the Representational Mind // *The Monist*. 2003. Vol. 86, № 4. P. 632–652.
18. *Rollins M.* Pictorial representation: When cognitive science meets aesthetics // *Philosophical Psychology*. 1999. Vol. 12. Issue 4. P. 387–413.
19. *Currie G.* Image and Mind: Film, philosophy and cognitive science. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 332 p.
20. *Currie G., Kieran M., Meskin A., Robson J. (Eds.)* Aesthetics and the Sciences of Mind. Oxford: Oxford University Press, 2014. 272 p.
21. *Schellekens E., Goldie P. (Eds.)* The Aesthetic Mind: Philosophy and Psychology. Oxford: Oxford University Press, 2011. 420 p.
22. *Kulvicki J.* Knowing with Images: Medium and Message // *Philosophy of Science*. 2010. Vol. 77, № 2. P. 295–313.
23. *Noe A.* Varieties of Presence. London: Harvard University Press, 2012. 174 p.
24. *Fingerhut J.* Extended Imagery, Extended Access, Or Something Else? Pictures and the Extended Mind Hypothesis // *Bildakt at the Warburg Institute*. Berlin, 2014. P. 33–50.
25. *Gombrich E.H.* Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. L.: Phaidon Press, 1984. 402 p.
26. *Bantinaki K.* Pictorial Perception as Illusion // *British Journal of Aesthetics*. 2007. Vol. 47, № 3. P. 268–279.
27. *Kulvicki J.* On Images: Their Structure and Content. Oxford: Oxford University Press, 2006. 274 p.
28. *Scholz O.* A Solyd Sense of Syntax // *Erkenntnis* 2000. Vol. 52. P. 199–212.
29. *Wollheim R.* Seeing-as, Seeing-in and Pictorial Representation // *Wollheim R. Art and its objects*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. P. 205–226.
30. *Bradley H.* Reducing the Space of Seeing-In // *British Journal of Aesthetics*. 2015. Vol. 54. P. 409–424.
31. *Newall M.* Is Seeing-In a Transparency Effect? // *British Journal of Aesthetics*. 2015. Vol. 55, № 2. P. 131–156.
32. *Walton K.L.* Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts. London: Harvard University Press, 1990. 480 p.
33. *Schier F.* Deeper into Pictures: An essay on pictorial representation. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 240 p.
34. *Hopkins R.* Picture, Image and Experience: A Philosophical Inquiry. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 216 p.
35. *Hyman J.* The Objective Eye. Chicago: The University of Chicago Press, 2006. 300 p.
36. *Lopes D.M.* Beyond Art. Oxford: Clarendon Press, 2014. 240 p.

37. Rose G. *Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials*. 4th edition. SAGE Publications, 2016. 456 p.

38. Sturken M., Cartwright L. *Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture*. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press, 2009. 496 p.

Nebolsin Daniil I. National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation)

E-mail: daniil.nebolsin@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/41/2

ANALYTIC PHILOSOPHY OF DEPICTION: DISCIPLINARY AND THEORETICAL SPECIFICS

Key words: depiction, representation, pictures, analytical philosophy, image theory.

The aim of this article is to display the constitutive features of analytic philosophy of depiction (APD), a research field barely represented in Russian scientific literature. While sharing some core methodological implications and stylistic patterns with other subdivisions of analytic philosophy, APD tends to form rather enclosed philosophical community with its distinctive theoretical “canon” and highly specialized set of research questions. Philosophers of depiction explore the concept of picture rather than more conventional and broadly understood ‘image’. From this perspective pictures are defined as two-dimensional objects simultaneously possessing some material vehicle (plane, surface) and some visual representational content. Philosophical understanding of pictures usually presupposes reflecting on problems of how pictorial representation works and in which respect it differs from other representational systems, of how ontological duality of depiction may be explained and of how to discern the conditions and singularities of pictorial experience and basic pictorial understanding. Some of these questions were initially posed by philosophers of art, but APD has already obtained theoretical independence from aesthetics at the current stage of its development. The core APD accounts include illusion theory (E.H. Gombrich), structural theories (N. Goodman, J. Kulvicki), seeing-in and twofoldness theory (R. Wollheim), make-believe theory (K. Walton), recognitional theories (F. Schier, D.M. Lopes) and experienced resemblance theories (J. Hyman, R. Hopkins). It is shown that despite their radical discrepancies, they share core standards of argumentation along with tendency to provide “strong” but concise explanations of depiction-related problems as well as to introduce novel, unorthodox notions in order to make their conceptual apparatuses more specified, fine-grained and nuanced. The most original and somewhat idiosyncratic feature of APD is that it generally avoids preoccupations with historical, political or ideological implications of pictures and social conditions of their production, circulation and reception. Hence any further applications of APD’s theoretical accomplishments have a strong need to be supported by comparisons with other directions of research concerning the pictorial and the visual (such as interdisciplinary image studies, visual studies, iconology etc.).

References

1. Abell, C. & Bantinaki, K. (eds) *Philosophical Perspectives on Depiction*. Oxford: Oxford University Press.
2. Hecht, H., Atherton, M. & Schwartz, R. (eds.) *Looking into Pictures: An Interdisciplinary Approach to Pictorial Space*. Massachusetts: MIT Press.
3. Lopes, D.M. (1996) *Understanding Pictures*. Oxford: Clarendon Press.
4. Kulvicki, J. (2014) *Images*. London, New York: Routledge.
5. Mitchell, W.J.T. (1986) *Iconology: Image, Text, Ideology*. Chicago; London: University of Chicago Press.
6. Peacocke, C. (1987) Depiction. *The Philosophical Review*. 96(3). pp. 383–410.
7. Goodman, N. (1968) *Languages of Art: An Approach to the Theory of Symbols*. Indianapolis: Bobbs-Merrill Company.
8. Hopkins, R. (2003) Pictures, Phenomenology and Cognitive Science. *The Monist*. 86(4). pp. 653–675. DOI: 10.5840/monist2003
9. Polanyi, M. (1970) What is a Painting? *The American Scholar*. 39(4). pp. 655–669.
10. Podro, M. (1997) Depiction and the Golden Calf. In: Harrison, A. (ed.) *Philosophy and the visual arts: seeing and abstracting*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company. pp. 3–22.
11. Beardsley, M.C. (1981) *Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism*. 2nd ed. Indianapolis, Cambridge: Hackett.

12. Gaut, B. & Lopes, D.M. (eds.) *The Routledge Companion to Aesthetics*. London, New York: Routledge.
13. Levinson, J. (ed.) *The Oxford Handbook of Aesthetics*. Oxford: Oxford University Press.
14. Carroll, N. (2001) *Philosophy of Art: A Contemporary Introduction*. London, New York: Routledge.
15. Eldridge, R. (2003) *An Introduction to the Philosophy of Art*. Cambridge University Press.
16. Atencia-Linares, P. (2011) Pictures, Bytes and Values: An Interview with Dominic McIver Lopes. *Postgraduate Journal of Aesthetics*. 8(2). [Online] Available from: <http://www.pjaesthetics.org/index.php/pjaesthetics/article/view/10/8>. (Accessed: 4th May 2017).
17. Lopes, D.M. (2003) Pictures and the Representational Mind. *The Monist*. 86(4). pp. 632–652. DOI: 10.2307/27903847
18. Rollins, M. (1999) Pictorial representation: When cognitive science meets aesthetics. *Philosophical Psychology*. 12(4). pp. 387–413. DOI: 10.1080/095150899105657
19. Currie, G. (1995) *Image and Mind: Film, philosophy and cognitive science*. Cambridge: Cambridge University Press.
20. Currie, G., Kieran, M., Meskin, A. & Robson, J. (eds) *Aesthetics and the Sciences of Mind*. Oxford: Oxford University Press.
21. Schellekens, E. & Goldie, P. (eds) *The Aesthetic Mind: Philosophy and Psychology*. Oxford: Oxford University Press.
22. Kulvicki, J. (2010) Knowing with Images: Medium and Message. *Philosophy of Science*. 77(2). pp. 295–313. DOI: 10.1086/651321
23. Noe, A. (2012) *Varieties of Presence*. London: Harvard University Press.
24. Fingerhut, J. (2014) *Extended Imagery, Extended Access, Or Something Else? Pictures and the Extended Mind Hypothesis*. Berlin: Bildakt at the Warburg Institute. pp. 33-50.
25. Gombrich, E.H. (1984) *Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation*. London: Phaidon Press.
26. Bantinaki, K. (2007) Pictorial Perception as Illusion. *British Journal of Aesthetics*. 47(3). pp. 268–279.
27. Kulvicki, J. (2006) *On Images: Their Structure and Content*. Oxford: Oxford University Press.
28. Scholz, O. (2000) A Solyd Sense of Syntax. *Erkenntnis*. 52. pp. 199–212.
29. Wollheim, R. (1980) *Art and its Objects*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 205–226.
30. Bradley, H. (2015) Reducing the Space of Seeing-In. *British Journal of Aesthetics*. 54(4). pp. 409–424.
31. Newall, M. (2015) Is Seeing-In a Transparency Effect? *British Journal of Aesthetics*. 55(2). pp. 131–156.
32. Walton, K.L. (1990) *Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts*. London: Harvard University Press.
33. Schier, F. (1986) *Deeper into Pictures: An essay on pictorial representation*. Cambridge: Cambridge University Press.
34. Hopkins, R. (1998) *Picture, Image and Experience: A Philosophical Inquiry*. Cambridge: Cambridge University Press.
35. Hyman, J. (2006) *The Objective Eye*. Chicago: The University of Chicago Press.
36. Lopes, D.M. (2014) *Beyond Art*. Oxford: Clarendon Press.
37. Rose, G. (2016) *Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials*. 4th ed. SAGE Publications.
38. Sturken, M. & Cartwright, L. (2009) *Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

УДК 1(091)

DOI: 10.17223/1998863X/41/3

А.П. Никитин

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА¹

Аналитическая философия на современном этапе своего развития вышла за рамки обсуждения проблем онтологии и эпистемологии. Увеличивается интерес к прикладным исследованиям, в том числе в области экономики. В статье рассматривается влияние аналитической философии на институциональное направление экономической теории. Выделяются два пункта: использование институционализмом аналитической философии сознания и теории речевых актов.

Ключевые слова: аналитическая философия, институциональная экономика, философия сознания, теория речевых актов, принципы институционализма.

Тенденция развития аналитической философии такова, что она постепенно перестает быть обозначением философского направления, концентрирующего свое внимание на проблемах онтологии и эпистемологии, трансформируясь в определенный философский стиль. Характерной чертой этого стиля является логико-языковой подход к решению широкого круга вопросов, при этом увеличивается интерес к прикладным исследованиям: в области философии права, образования, политики. В этом же ряду находится аналитически ориентированная философия экономики, оказавшая существенное влияние на развитие институциональной теории.

Формально влияние аналитической философии на институциональную экономику проявляется в том, что ее представители в своих работах непосредственно решают проблемы институционализма. Показательным, но не единственным примером этого служит статья Дж. Серла «Что такое институт?» [1]. С другой стороны, сами институциональные экономисты обращаются к результатам исследований, проведенных аналитическими философами, иллюстрацией чего является монография Д. Норты «Понимание процесса экономических изменений» [2].

Не ставя своей целью сделать обзор всех публикаций, в которых отражается влияние аналитической философии на институционализм, предлагаем рассмотреть содержание этого влияния без претензии на полноту анализа. Наиболее актуальными и обсуждаемыми выглядят два момента – воздействие на институциональную теорию аналитической философии сознания и теории речевых актов.

1. Аналитическая философия сознания и принцип институциональной неопределенности

Аналитическая философия сознания – крупное интеллектуальное движение, распространившееся во второй половине XX в. в США и Великобритании. В рамках этого направления исследователям было необходимо аргумен-

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации № МК-7733.2016.6.

тировано ответить на вопросы, имеющие междисциплинарное значение: что такое «Я» и что делает его тождественным самому себе, почему наше «Я» видит мир именно таким, как субъективное видение мира соотносится с самой реальностью, каким образом мы распознаем в других людях сознание и их «Я» и т.д. Решение этих вопросов неожиданно оказалось значимым для экономической науки, что связано с ее методологическим развитием. Классическая экономическая мысль строилась вокруг стройной, но довольно ограниченной теории рационального выбора, согласно которой актер рынка склонен стремиться к максимизации полезности при полном доступе к информации о конкурентном пространстве. Новая институциональная экономическая теория, разрабатывавшаяся в XX–XXI вв., оспаривает этот тезис, утверждая, что социальное знание должно обладать более точной моделью человеческого поведения, включающей в себя описание существенных факторов мотивации, процесса принятия решения и оценки различных ситуаций. То есть экономическая теория должна рассматривать, помимо всего прочего, вопросы, связанные с деятельностью субъективного «Я». Олицетворением этого процесса стало присуждение Нобелевской премии по экономике в 2002 г. психологу Д. Канеману за исследования формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности.

Анализ институциональной реальности, осуществляемый самими экономистами, приводит их к выводу, что «институты невозможно увидеть, почувствовать, пощупать и даже измерить. Институты – это конструкции, созданные человеческим сознанием» [3. С. 137]. По мнению Д. Норта, институты невозможно рассматривать в отрыве от функционирования сознания в жизни в целом. Важными при этом являются как данные естественных наук, так и результаты философского анализа. Соответственно, в исследованиях, посвященных влиянию сознания на институциональную среду, он опирается, с одной стороны, на работы эволюционных биологов Р. Докинза (выступая против его концепции «мема»), Дж. Эдельмана и др., а с другой стороны, на работы Д. Деннета и Дж. Серла.

Д. Норт отмечает особенности работы сознания, которые необходимо учитывать в исследовании процесса экономических изменений. Институциональная реальность недоступна какому-либо наблюдателю целиком, но люди вырабатывают весьма изощренные убеждения относительно природы этой реальности. Эти убеждения одновременно являются позитивной моделью того, как система работает, и нормативной моделью того, как она должна работать. Система таких убеждений может быть широко распространена в обществе, отражая консенсус в обществе, но возможна также ситуация, в которой члены общества придерживаются резко противоположных взглядов, что отражает фундаментальное разделение в отношении идей, касающихся общественного устройства. Люди при этом постоянно пытаются рассматривать окружающий их мир как интеллигибельный, т.е. уменьшать число неопределенностей, существующих в нем. Однако сами эти попытки рассматривать мир как познаваемый при помощи разума приводят к изменениям в нем и, как следствие, к новым вызовам. Иначе говоря, противостоя неопределенности, человек увеличивает ее.

Процесс экономических изменений связывается с функционированием человеческого сознания несколькими основаниями.

Во-первых, существует бесконечное многообразие и вариативность человеческой деятельности, формы которой «являются сложным продуктом того процесса, в котором сознание взаимодействует с человеческим опытом во всем его многообразии, создавая индивидов, наделенных определенными свойствами и убеждениями, и приводя к формированию широкого спектра моделей социального поведения, которые определяют и продолжают определять экономические изменения» [2. С. 64–65].

Во-вторых, сознание человека действует таким образом, что формирует тенденцию не упрощения моделей реальности, а ее более детального воспроизведения. Развитие языка и системы символов создает значительно усложняющиеся формы социальной организации. Д. Норт ссылается на нейрофизиолога Дж. Эдельмана, который отмечает следующую особенность: «Когда в обществе возникают лингвистические и семантические способности, а предложения, включающие в себя метафоры, связываются с мышлением, способности создавать новые модели мира резко возрастают» [4. Р. 170]. Опыт людей в различных моделях создает разнообразные сочетания убеждений и институтов. Сложное взаимодействие между этими сочетаниями дает начальную точку в понимании процесса социальных трансформаций и экономических изменений.

В-третьих, институциональные черты не обладают атрибутами, имеющими естественное происхождение. С одной стороны, у человека нет генетической склонности создавать институциональные мемы, с другой – предметы мира не могут быть объектами институциональной реальности (к примеру, объектами собственности) из-за своей физической структуры. Интенциональность человека определяет институты. Идеологическое давление способствует тому, что институциональное разнообразие только разрастается. Экспансия сознания является не только источником творческой вариативности, но и фактором конфликтности, социальной напряженности и нетерпимости.

У Д. Деннета в одном из его эссе, написанном в соавторстве с Д. Роем, мы обнаруживаем схожие мысли, где современное состояние институциональной среды он сравнивает с Кембрийским взрывом [5]. Кембрийский взрыв – период резкого увеличения биоразнообразия полмиллиарда лет назад. По одной из гипотез, мир внезапно наполнился светом, заставляя животный мир стремительно развиваться или – для большинства организмов – вымирать. Современное институциональное развитие проходит аналогичный период. По мысли Д. Деннета, каждый человеческий институт, будь то брак, армия, правительство, суды, корпорации, банки или религии, каждая система цивилизации сегодня находится под угрозой. Виной тому деятельность самого человека в деле развития цифровых технологий, в результате чего развивается транспарентность как личной жизни, так и социальных институтов. Некоторые идеологии трактуют такие изменения как благо, но транспарентность создает условия для кризиса всей современной институциональной среды.

Проблема создания искусственного интеллекта, активно обсуждаемая сегодня в аналитической философии сознания, в этом отношении имеет не только этические, но и институциональные аспекты. Институциональная реальность, представленная абстрактно, создает социальное пространство, в котором акторы непосредственным или опосредованным образом взаимодей-

ствуют друг с другом. Это взаимодействие предполагает, что индивиды, совершающие социальные акты в виде стимулов и побуждений, рассчитывают на адекватную реакцию; социальная интеракция совершается в контексте предвидения и доверия. Передавая процесс решения искусственному интеллекту, человечество должно учесть, что изменение самой институциональной среды может поставить под вопрос наличие места в ней для индивида. Институциональное развитие, возникающее в результате роста знаний и технологий, определяет процесс усложнения социальных структур, усиливая неопределенность в отношении социальной роли самого человека.

Для иллюстрации представим себе гипотетическую ситуацию, в которой необходимые покупки для индивида осуществляет искусственный интеллект, исходя из набора потребностей и финансовых возможностей. Очевидным результатом окажется кризис всей системы маркетинга, построенной во многом на психологическом воздействии на покупателя, формировании его вкусов и пристрастий. Не стоит при этом думать, что от разрушения данной системы рядовые покупатели только выиграют. Адекватной реакцией со стороны компаний-производителей и маркетов может быть внедрение своей системы искусственного интеллекта, анализирующей действия своих антагонистов и пытающейся воздействовать на них через предложение наиболее оптимальных вариантов, готовых комбинаций, долгосрочной рационализации и т.д. Традиционный способ процесса покупки-продажи предполагает социальную интеракцию двух сторон (покупателя и продавца), опосредованную объектом продажи – товаром. В предполагаемой же ситуации места двух сторон занимает техника, человек оказывается отстраненным наблюдателем, пользующимся результатами: один из них в конечном счете потребляет, другой считает прибыль. Набор формальных и неформальных правил, регулирующих их взаимодействие на рынке в рамках традиционной модели, больше не будет действенным; сам институт распределения товаров и услуг будет функционировать, но его нормы окажутся для человека неопределенными, более того, следует ожидать их экспонентного усложнения.

2. Теория речевых актов и принцип институциональной иерархичности

Влияние языка на формирование институциональной реальности описывается в теории речевых актов Дж. Остина и Дж. Серла. В соответствии с этой теорией речевые акты не только описывают положение вещей, но и создают его. Дж. Остин утверждал, что язык выполняет как пассивную роль описания, так и активную роль конструирования, действия. Эту функцию язык осуществляет с помощью перформативных высказываний, таких как обещание, предупреждение, приказание и т.д. Дж. Серл, развивая концепцию Дж. Остина, отмечает, что право собственности, денежные единицы, правила рыночного обмена, идеалы потребления и многое другое являются результатом действия перформативных высказываний. Так, если рассматривать деньги, то об их возникновении можно говорить как о речевом действии субъекта, наделенного соответствующими полномочиями, который заявляет: «Эти предметы (X) должны считаться деньгами (Y) в нашем обществе (C)». Под субъектом речевого действия не обязательно подразумевается отдельный индивид, перформативом может являться и коллективно

принятое заявление, как положение Конституции Российской Федерации, утверждающее, что «денежной единицей в Российской Федерации является рубль» (гл. 3, ст. 75, п. 1).

Проблеме природы институциональной реальности и ее специфике по отношению к социальным взаимодействиям Дж. Серл посвятил две крупные работы [6–7]. Стандартное определение института гласит, что это совокупность, состоящая из правила или нескольких правил и внешнего механизма принуждения индивидов к исполнению этого правила. Правила предполагают условия их приложения, наличие адресата, предписываемое действие, санкции за нарушение предписания и наличие субъекта, применяющего эти санкции. Известные классификации правил основываются на разновидностях их элементов. Например, санкции за нарушение предписания могут иметь формальный и неформальный характер. Дж. Серл предлагает иное основание классификации правил, разделяя их на регулятивные и конститутивные. Их различие он приводит на примере правил дорожного движения и правил игры в шахматы. Индивид может передвигаться по дороге, не зная правил дорожного движения, эти правила регулируют его движение, но само оно возможно без них. Напротив, индивид не может играть в шахматы, не зная правил этой игры, данные правила делают возможной саму игру, конституируют ее, при этом не регулируя¹.

На процесс принятия экономических решений в первую очередь влияют регулятивные правила как формального, так и неформального характера: «Можно осуществлять действия X»; «Запрещено осуществлять действия Y»; «Если вы предпринимаете действие X1, предпринимайте действие X2»; «Если другие предпринимают действие Y, предпринимайте действие Z» и т.д. Но возможность самих экономических действий обуславливается принятием конститутивных правил. Конститутивные правила имеют вид «X считается Y в контексте C» (как описано выше в примере с деньгами), и их фундаментом является коллективное приписывание функций языковыми средствами. В целом институциональная реальность – это совокупность статусных функций, наложенных в соответствии с конститутивными правилами и процедурами.

Формирование институциональной реальности можно описать как процесс, в котором интенциональность приобретает коллективную форму приписывания функций, не свойственных предметам физически. В этом процессе сознания направлены на объекты в тождественном друг другу осмыслении. Представим себе ситуацию наподобие той, что описана Ф.М. Достоевским, в которой группа людей смотрит на сожжение бумажных банкнот. Фактически индивиды наблюдают физико-химический процесс горения, сопровождаемый

¹ Можно отметить, что в шахматах регулятивные правила тоже существуют в виде рекомендаций ведения игры. К примеру, регулятивным правилом является предписание захвата центра доски в дебюте и первоначального развития позиций легких фигур, при равной позиции не стоит менять тяжелые фигуры на легкие и т.д. Играющий шахматист может придерживаться и другой тактики, при этом нельзя будет сказать, что он играет не в шахматы. Но если он будет ходить конем по диагонали, стоит утверждать, что он играет в другую игру. В этом и состоит отличие регулятивных правил от конститутивных. Нарушение первых влечет за собой последствие в рамках определенного взаимодействия (авария на дороге, поражение в игре), нарушение вторых – неопределенность взаимодействия (двое людей, сидя за шахматной доской и передвигая фигуры, могут быть оба уверены в своем выигрыше в конце игры).

экзотермическими реакциями. Но для них важно не это, важным является осознание этого процесса как уничтожения денег; в этом и проявляется коллективная интенциональность.

Необходимым базисом, позволяющим создавать коллективную интенциональность, является язык. «Интуитивно нам ясно даже без всякой теории, что язык фундаментален в весьма конкретном отношении: язык может существовать без денег, собственности, правительства или брачных отношений, но нельзя иметь деньги, собственность, правительство или брачные отношения при отсутствии языка» [1. С. 16]. Именно благодаря языку люди, глядящие на бумажные банкноты, видят деньги, а не просто кусочки бумаги с картинками, цифрами и словами. Во-первых, с помощью языковых средств им представлено само существование денег. Во-вторых, функции денег всецело зависят от обязанностей и обязательств, которые обеспечивают конвенцию в их использовании, однако эти деонтические полномочия могут быть признаны только при условии их представления в языке. В-третьих, человек может иметь много бумажных банкнот, но мало денег, и наоборот – мало бумажных банкнот, но много денег. Существование денег – это существование знака, осмысленного определенным образом; нет языка – нет денег. В-четвертых, с помощью языка деньги не только формируются, но и распознаются. Бумажная банкнота имеет покупательную способность только в том случае, если в ней распознают деньги, что возможно лишь с помощью языка.

Деонтология институциональных фактов тесно взаимосвязана – для того, чтобы сообщество признавало денежные единицы, ценность которых обеспечена властным указанием, необходимо, чтобы люди признавали саму власть, принятие власти должно сопровождаться принятием института, в рамках которого власть формируется (признание процедуры выборов или передачи власти по наследству). Субъект А, утверждающий, что Х должен считаться Y в сообществе С, сам является X', которому приписывается функция Y' в этом же сообществе. Вернемся к примеру с положением Конституции Российской Федерации, утверждающей рубль в качестве денежной единицы в России. Для того чтобы это утверждение было успешным («...констативное употребление является истинным или ложным, а перформативное – успешным или неуспешным» [8. С. 55]), успешными должны быть действия по принятию самой Конституции. Эти действия, в свою очередь, также регламентированы, как регламентировано и принятие этого регламента.

Успешность перформативов, в соответствии со взглядами основателя теории речевых актов Дж. Остина, полна условностей и сопутствующих обстоятельств: «В целом всегда необходимо, чтобы обстоятельства, при которых употребляются слова, были бы соответствующими, и обычно является необходимым также, чтобы говорящий и другие участники речевого акта тоже совершали определенные другие действия, будь то «физические» или «ментальные» действия или даже действия произнесения каких-то других слов. Таким образом, чтобы назвать корабль, существенно, чтобы я был человеком, который уполномочен сделать это» [8. С. 20–21]. Понятно, что это полномочие может возникнуть, к примеру, в случае, когда моряки спрашивают капитана: «Как назовешь корабль?» или же владелец судна получает разрешение на эксплуатацию корабля с определенным названием. Принцип иерархичности институциональной реальности как раз и указывает на нали-

чие институтов, являющихся основанием для других институтов, которые, в свою очередь, порождают новые. Признавая бесконечную прогрессию, теория речевых актов утверждает отсутствие в этой иерархии бесконечной регрессии. Институты будут формировать другие институты столько, сколько существует человечество, но каждый из этих институтов невозможен без наличия языковых средств, являющихся фундаментом институциональной реальности.

Литература

1. Серл Дж. Что такое институт? // Вопросы экономики. 2007. № 8. С. 5–27.
2. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: ГУВШЭ, 2010. 256 с.
3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с.
4. Edelman G.M. Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of the Mind. New York: Basic Books, 1992. 304 p.
5. Dennett D.C., Roy D. Our Transparent Future // Scientific American. 2015. № 3. P. 64–69.
6. Searle J.R. The Construction of Social Reality. New York: Free Press, 1995. 242 p.
7. Searle J.R. Making the Social World: the Structure of Human Civilization. New York: Oxford University Press, 2010. 208 p.
8. Остин Дж. Избранное. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги, 1999. 332 с.

Nikitin Anton P. Katanov Khakass State University (Abakan, Russian Federation)

E-mail: nikitinanton5891@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/41/3

ANALYTICAL PHILOSOPHY AND INSTITUTIONAL ECONOMICS

Key words: analytical philosophy, institutional economics, philosophy of consciousness, theory of speech acts, principles of institutionalism.

The article examines the influence of analytical philosophy on the institutional direction of economic theory. Two points are the most relevant and discussed: it is the impact of the analytic philosophy of consciousness and the theory of speech acts on the institutional theory. The institutional environment is associated with the functioning of human consciousness by several reasons:

- There is an infinite variety and variability of human activity, the forms of which create a wide range of models of social behavior and determine economic changes.
- Human consciousness does not simplify the models of reality but reproduces them in more detail. The development of the language and the system of symbols leads to progression in the structuring of the environment that is created more complicated forms of social organization.
- Institutional traits do not have attributes that are of natural origin. A man does not have a genetic inclination to create institutional memes. Objects of the world cannot be objects of institutional reality because of their physical structure. Intentionality of a man determines the institutions.
- Institutional development arising from the growth of knowledge and technology determines the process of complicating social structures, which increases uncertainty about the social role of the person.

The influence of language on the formation of institutional reality is described in the theory of speech acts. The emergence of institutional facts is a process in which intentionality acquires a collective form of ascription of functions that are not physically peculiar to objects. Language is the necessary basis for the creation of collective intentionality. The very existence of institutions, their functions and deontology is represented with the help of language facilities. The principle of hierarchy of institutional reality points to the existence of institutional conditions for the effectiveness of institutions of a different order. The theory of speech acts claims the absence of an infinite regression in this hierarchy. Institutions will form other institutions throughout the life of humankind but each of these institutions is impossible without the availability of linguistic facilities that underlie the institutional reality.

References

1. Searle, J. (2007) Chto takoe institut? [What is an institute?]. *Voprosy ekonomiki*. 8. pp. 5–27.
2. North, D. (2010) *Ponimanie protsessa ekonomicheskikh izmeneniy* [Understanding the process of economic change]. Translated from English by R. Martynova, N. Edelman. Moscow: HSE.

-
3. North, D. (1997) *Instituty, institutsional'nye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki* [Institutions, institutional changes and the functioning of the economy]. Translated from English by A.N. Nesterenko. Moscow: Nachala.
 4. Edelman, G.M. (1992) *Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of the Mind*. New York: Basic Books.
 5. Dennett, D.C. & Roy, D. (2015) Our Transparent Future. *Scientific American*. 3. pp. 64–69.
 6. Searle, J.R. (1995) *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.
 7. Searle, J.R. (2010) *Making the Social World: the Structure of Human Civilization*. New York: Oxford University Press.
 8. Austin, J. (1999) *Izbrannoe* [Selected Works]. Moscow: Ideya-Press, Dom intellektual'noy knigi.

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

УДК 1 (091)

DOI: 10.17223/1998863X/41/4

Yu.V. Sineokaya

THE SHIFT IN THE VALUE SYSTEM IN RUSSIA AT THE TURN OF THE 20TH AND 21ST CENTURIES¹

This paper looks at the changes of values in the process of the formation of Russian identity over the past quarter century. Beginning from the collapse of the USSR (1991) Russia has been forming a new post-Soviet Russian identity, a system of priority values aimed at strengthening the unity of the multi-national, multi-confessional country with deep social and wealth inequalities. To understand what myth of the civil nation is taking shape in Russia today it is important to reveal the strengths and weaknesses of nationalism and to determine whether there is a difference between nationalism and patriotism, between civil and ethnic forms of nationalism².

Key words: Russia, Post-Soviet identity, individualism, collectivism, nationalism, freedom, patriotism, conservative revolution, solidarity³.

The beginning of the 21st century marks the start of an era of dialogue between East and West. This century non-Western countries are beginning to play an ever bigger role not only in world politics but also in philosophy as the center of world history is shifting to the East. Our time is characterized by two vectors of the development of values that point in different directions:

1) movement towards a single civilization and mingling of peoples. Western cultural values exert an ever greater influence on the life and culture of the East while the West opens up to and adapts the traditional Eastern values. Indeed, there is a marked trend of denying the traditional division of the world into West and East. We live in an era of the emergence of a “global civilization” when all the national and cultural differences, while not quite being erased and disappearing, recede into a marginal area that is not pivotal for the development of the single humankind.

2) The opposite trend has been observed since the second half of the 20th century mainly in the three macro-civilizational non-Western regions (China, the Arab

¹ **Заголовок (рус.):** Смена ценностной парадигмы в России начала XXI столетия.

² **Аннотация (рус.):** В статье представлен анализ изменения ценностей в процессе формирования российской идентичности за последнюю четверть века. Начиная с распада СССР (1991) в России идет формирование новой постсоветской российской идентичности – системы приоритетных ценностей, направленных на укрепление единства многонациональной, многоконфессиональной страны, полярной в социальном и имущественном расслоении. Чтобы понять, какой миф гражданской нации формируется сегодня в России, важно выявить сильные и слабые стороны национализма, определить, есть ли различие между национализмом и патриотизмом, гражданской и этнической формами национализма.

³ **Ключевые слова (рус.):** Россия, постсоветская идентичность, индивидуализм, коллективизм, национализм, свобода, патриотизм, консервативная революция, солидарность.

Muslim world and India) and may be defined as the process of the search of indigenous paths of civilization development.

In these regions the late 19th and early 20th centuries saw a gradual weakening of colonial dependence and the formation of nation states. At first these regions tried to order their lives according to Western templates adapted to varying degrees to the local conditions. This is true both of the countries that chose the path of socialism and of building socialism and those which chose the capitalist West as their model. Despite the antagonism of the values of socialism and the values of capitalism during that period, both these projects were essentially Western projects of reordering life, both being attempts to fit these regions into the mainstream of a single human civilization. Today these regions witness a resurgence of nationalist, ethnic, archaic, basically non-Western values.

In the modern world the processes of modernization and archaisation proceed in parallel. Globalization is without doubt happening in the economic sphere. However, it is obvious that the emergence of a single universal system of values, world view, attitudes, the ideas concerning the goals and meaning of life, of man and his place in the world and in society, and the principles on which society is based is not taking place automatically or painlessly as “a natural consequence” of the processes of economic globalization. That is why it is so important to take a close and unbiased look at the changes of value paradigms in various areas of the modern world.

What guides ordinary people and members of the elites in choosing their values? When is the time to change value orientations in life and in culture? The moment of reappraisal and change of values comes when the old value canons fail and prove to be unviable. Friedrich Nietzsche, who first questioned the spiritual ideals that seemed to be given once and for all, and who introduced the notion of “reappraisal of values” (*Umwertung der Werte*), wrote at the tail end of the 19th century: “Where shall I get the right to new values of my own? From the right of all the old values and the boundaries of these values” (1, 736).

At the turn of the 20th and 21st centuries the study of values, ideals, moral benchmarks, “spiritual bonds,” plays the key role in all the spheres of social and private life. What is the genealogy of the concept of “values”? It had no currency in science and in philosophy up until the 18th century. The notion did not exist in Antique and Medieval philosophy (although some precursors of these notions did exist). In the 18th century Adam Smith was among the first to use the concept, but only in the framework of his economic theory. Today politicians, sociologists and journalists write and speak extensively about a “value pivot” (*Wertwandel*). Permanent change of value paradigms, upfront “reappraisal of values,” revision of what seemed to be immutable and eternal axioms and formulas of human culture is natural and inevitable. The danger arises only when “reappraisal of values” takes the form of the loss of values, when there occurs a loss of orientations and the threat arises of the destruction of the social order and growing violence (2, 14).

My focus is on Russia, the country that combines the values of both West and East. A state with a tragic history of “internal colonization”¹. I see parallels between the process of the formation of post-Soviet identity in Russia over the past

¹ See: Alexander Etkind. Internal Colonization. Russia's Imperial Experience. Moscow: *Novoye literaturnoye obozreniye*, 2013.

quarter century and the general trends characteristic of the change of value paradigms in the modern world.

Russia has felt a need to construct its own national identity, beginning from the second half of the 19th century. In the 20th century and today the issue engages the minds of the Russian intellectual and ordinary person alike. The recurring motive of the search for national identity is the eternal Russian question as to whether or not Russia is a European country.

Beginning from 1991, the collapse of the USSR, the officially announced goal of Russian society has been the formation of a new post-Soviet identity (the post-Soviet value system) as the foundation of the country's unity. In my opinion, the key principle of this process should be overcoming the conflict between the freedoms and rights of the individual and the ethnic group. It is necessary to harmonize the rights and interests of ethnic and social communities with the inalienable rights of the individual.

Important milestones on the way to forming the post-Soviet identity were the famous call of the first Russian President Boris Yeltsin on the intelligentsia in August 1996 to formulate a new ideology, the Russian idea and. Twenty years later, the appeal of the current Russian President, Vladimir Putin, to the expert community in October 2016 to formulate the concept of the draft law on the Russian civil nation later renamed The Law on the Main Principles of the State Nationalities Policy of the Russian Federation. While in 1996 the quest for a new Russian identity was triggered by the disintegration of the Soviet empire and the loss of the union identity, the task of forming a civil identity of the Russian nation in 2016 was prompted by the need to safeguard the unity of the Russian Federation as a complex multi-ethnic, multi-confessional state marked by substantial stratification in terms of wealth, social and educational status.

After 20 years of debates the issue of self-identification of Russians remains open¹. There is no consensus in society on what kind of identity the Russians need today: political-civic (in this case the issue of identity boils down to the pragmatic question of values stemming from Russia's national interests) or national-ethnic (to meet the demand for a new Russian ideology, a national myth).

To form a Russian identity means to determine the national values shared by all the Russian citizens. The question of identity is about the future of Russia, about whether a strong non-ethnic state can exist without an underpinning myth. Finally, it is about understanding the goal of the political system that created Rus, Muscovy, Russia, the Soviet Union and the Russian Federation.

At the turn of the 20th and 21st centuries Russia lived through three changes of value paradigms: from Soviet collectivism of the communist era to the individualism of the era of perestroika Thaw to post-perestroika nationalism of the times of the "conservative revolution." The vector of the transformation of post-Soviet identity during the past quarter century can be described as a shift from the formula "Russia is a European country, a branch of the Western civilization" to the formula "Russia is a civilisation in its own right distinct from the West, "the greater Russian world". Present-day political and cultural discourse is dominated by the concept of the Russian civilisation.

¹ The situation is not peculiar to Russia. In the fast-changing world identity is not a fact or a given, but a process. See Samuel Huntington. *Who Are We? The Challenges to America's National Identity*. Moscow, ACT. *Transit-kniga*. 2004 (In Russian).

So, in the 1990s–2010s Russia positioned itself in foreign policy as primarily a European power wedded to universal human values. Inside the country the priorities for most Russians were private life and the quality of private life. Mythologisation of freedom of the 1990s gave way to mythologisation of material wellness in the 2000s. The spiritual crisis of the 2010s was largely caused by the value of freedom being replaced by the value of stability. The priority of ethical ideals was replaced by the priority of material success and social status. The consequences of exchange of freedom for material well-being turned out to be in many ways destructive of the Russians' value orientation.

The attempt to formulate a new Russian ideology or idea was drowned out by disputes and arguments as to whether Russia needs an ideology or a clear-cut identity at all. Public opinion was obviously leaning towards ideological and value polyphony. I would like to sum up the arguments for and against the formation of national priority values for Russia in those years.

The arguments for working out basic values for Russians:

1. Ideological vacuum spawns such anti-values as nihilism, anarchism, fascism and separatism.
2. Society should be one, a foundation needs to be found for national unity and social peace.
3. The people must be mobilized, movement towards a certain goal is embedded in the Russian mentality

Arguments against the above propositions:

1. Any idea addressed to a whole nation inevitably develops into a totalitarian ideology.
2. Any national idea is destructive of the unity of a multi-ethnic and multi-confessional state. Those who reject the values of the common Russian identity will automatically become dissidents.
3. A national ideology is fraught with messianism and, consequently, aggressiveness with regard to the rest of the world.

In the spiritual atmosphere of arguments, conflicting opinions and the struggle to improve daily life at the turn of the centuries, the idea of creating a nation state in Russia was not as prominent as in other former Soviet Union countries. However, the situation changed significantly towards the end of the first decade of this century. Messianic ideas began to be revived in Russia. Our country began to assert itself in the world as a distinct Russian civilization, the greater Russian world that extended beyond the state borders of Russia. Inside the country the process of creating a new Russian mythology was launched. The values that came to the fore for the peoples of Russia were ethnic affiliation, cultural uniqueness, national and ethnic identity. The problem of national and ethnic self-determination became predominant, tending to conflict with individual rights and freedoms. The process is complicated by the practical absence of political and power competition in Russia.

The priority value in today's Russia is patriotism, based on the policy of historical memory and a return to the sources. However, the peoples of the multi-ethnic Russian state have different roots. Looking back to the past and calls to return to the roots tend to divide rather than unite Russian society.

The policy of memory and idealization of history do not always indicate growing respect for the past. Let me cite just one example. Because of official propa-

ganda overkill the Day of the Victory of the Russian people in the Second World War is turning from the day that brought peace to the day celebrating the victory of war. The memory of war is used as the main, indeed the only motive for the cohesion and mobilization of the people. As a result people's happiness is fueled by hatred while dissent is seen almost as high treason.

A new value that is gaining popularity in Russia is nationalism based on the idea of solidarity. It is important to understand the nature of nationalism, to reveal its strengths and weaknesses, to understand whether there is a difference between patriotism and nationalism. First of all, it is necessary to make up our minds as to whether nationalism is a value or an anti-value, or, more helpfully, in my opinion, whether the phenomenon should be considered to be axiologically neutral.

I propose to distinguish three paradigms of Russia's post-Soviet identity: liberal, great power and nationalist.

1) The aim of the liberal project for Russia is integration with the West that would make the country part of the Greater West. Since the second half of the 1990s liberal views were sidelined and have had little traction.

2) The realist advocates of the strong state who dominated Russia's politics in the first decade of the 21st century sought to project Russia as an influential center in the multi-polar world.

3) The third strand is nationalist and it can roughly be divided into three subgroups: imperialists, ethnic nationalists and the new right (ideologists of right-wing globalism). The latter trend has been gaining ground recently. Its advocates speak about protecting traditional values and seek an alliance with the traditional right in Europe. The nationalist paradigm rejects liberal values and has anti-Western views.

Two concepts developed by the nationalists merit a closer look. The first argues that Russia must be an independent great power, a bulwark of all the conservative forces opposing revolutions, chaos and liberal ideas promoted by the USA and Europe. The second idea is the existence of a great Russian civilization different from the Western one and spreading beyond Russia's borders. The ideological vacuum in the wake of the collapse of official communism and the 1990–2000 crisis strengthened the Russian national-patriotic opposition. By 2000 the situation in Russia had changed. Unlike in the mid-1990s, the supporters of traditionalist, neofascist and national-communist theories ceased to be an intellectual fringe and gained recognition as an ideology. They staked a credible claim to a place in the context of modern culture.

Today conservatism is looked to as the foundation of Russian identity. Those who seek the meaning of the Russian civilization turn to conservatism: "A conservative revolution from the top shored up by demand for conservatism from the bottom may bring about huge changes in the socio-political system of Russia and remove the things that are at odds with the national code and impede the country's development" (3, 1). The main attraction of the conservative idea is that it holds the promise of a national path of Russia's development as non-Europe that would prove to be effective in the modern competitive world.

Russia today sees a stark confrontation between the civil and ethnic forms of nationalism manifested in the argument about what kind of identity Russia needs – political or ethnic. This is an argument about values.

Ethnic nationalism¹ was the subject of a massive controversy in the 19th and 20th centuries. Debates on civil nationalism are relatively new.

The best known examples of practical theories of political nationalism are the concept of constitutional patriotism by Jurgen Habermas² and Republican patriotism of Maurizio Viroli³. Michael Ignatieff in his book *Blood and Belonging* defines a civil nation as a community of equal franchised citizens who are one in their patriotic dedication to a common set of political practices and values (4, 11).

A civil nation is the legacy of Enlightenment. It is a community created by the choice of individuals in favor of a certain political worldview. Unlike the ethnic form of nationalism which draws its strength from the past and harks back to history, monuments and cemeteries and expresses a kind of tribal solidarity, civil nationalism looks to the future.

Russian ideologists of the civil, ie political nation⁴ see their main task in identifying the values that characterize the belonging of every Russian to a single supranational community of peoples united within the Russian Federation. It is a daunting task. One can hardly fall back on foreign experience in solving it. Direct analogies with the EU and the USA do not work. The new European identity conceived as an alternative to nationalism which brought about the disaster of the Second World War is not seen by United Europe ideologists as a national identity. The Europeans are categorically opposed to nationalism as the basis of the common European identity, to the phenomenon of all-European nationalism. The European myth (the unity of European nations) is above nationality and above ethnicity: every European knows that he is not only French or German, but also a European who embraces the European legal system of values. The EU today is a stable community in spite of the current crisis of rising nationalistic and separatist sentiments and in spite of Brexit. According to the Institute Chatham House (5, 25), 81% of the European elite and 58% of ordinary Europeans are proud of their dual (national and European) identity, moreover, 6% of the elite and 8% of ordinary citizens are proud of their European and not ethnic identity. As for the opponents of the EU, they are comparatively few: 9% of the elite and 17% of ordinary citizens are proud of their national and not European identity⁵.

To bolster their position the advocates of a civil identity in Russia also turn to our own Soviet past. Indeed there is a certain analogy with the Soviet internationalist identity which prevailed over the ethnic identities of the peoples constituting the Soviet Union. However, the experience is largely negative: the ideal of internationalism was never translated into reality: the USSR always had Russians as the titular ethnic group.

¹ See: Jack Bernard. *Nationalism and the Moral Psychology of a Community*. Moscow, Gaidar Institute Press, 2017. Some modern opponents of the idea of an ethnic nation are inclined to see the very concept of an ethnic nation to be a contradiction in terms (cf. Schnapper, Dominique. *La Communauté des citoyens, sur l'idée moderne de nation*. Paris: Gallimard, 1994).

² Habermas, Jurgen. *Citizenship and National Identity // Democracy. Reason. Morality*. Moscow: Academia, 1995.

³ Viroli, Maurizio. *For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism*, Oxford University Press Clarendon Press, 1995.

⁴ See, for example, Tishkov V.A. *The Russian People. The History and Meaning of National Self-Consciousness*. Moscow: Nauka Publishers, 2013.

⁵ The sample of respondents is highly representative, with people from Austria, Belgium, the UK, Hungary, Italy, Spain, Germany, Greece, Poland and France taking part.

Having read more than a hundred publications I summed up the arguments for and against building a civil nation in Russia most frequently adduced in scholarly literature and in journalism.

Arguments against the civil nation:

1) “Living world” arguments¹ (criticism from the right):

– *Russian nationalists*: the concept of the Russian nation rejects the Russian ethnos and all the other ethnoses inhabiting the Russian Federation. The civil interpretation of the Russian takes us back to the constitution which speaks of a multi-national people. If we are a multi-national people Russian culture cannot be said to have primacy over the other cultures.

– *Ethnic minorities in the RF*: During the course of Russian history cultural change often preceded political change. There is a danger of an easy transition from a civil political nation to an ethnic nation prompting the Russian nationalists to “purge their ranks.”

– *Members of ethnic diasporas in Russia*: Russia has a large number of ethnic diasporas whom other Russian citizens consider to be aliens. Xenophobia runs high, especially with regard to people from the Caucasus when they come to Central Russia.

2) Academic arguments (criticism from the left):

– *Civil solidarity* is a source of ideological intolerance and aggressiveness.

– *The problem of loyalty*: if adherence to certain political principles is the criterion of legitimacy and trust, their authenticity may be suspect. During calm times the problem may be barely noticeable, but in turbulent times it may lead to chaos, denunciations and victimization on grounds of ideological disloyalty.

– *The feeling of national identity is ignored*: deep attachment of an individual to his ethnic group is inherited and not chosen rationally.

Arguments for the civil nation:

1) *Mutual choice* made by the individual and the national community. Because the civil nation is based on freely and rationally chosen shared political principles and values, the individual consciously chooses the nation whose values he/she shares and the national community in turn chooses the individuals that meet the nation’s basic values.

2) *Free choice*: we do not choose our place of birth. People are often irritated and aggravated by the contradictions in customs and roots. Citizenship should be granted not by the right of birth, but as a result of conscious choice.

3) *Ethnic solidarity* is fraught with nationalistic and chauvinistic aggression and hostility towards the world outside one’s own ethnic group.

So, we have a dichotomy of polar approaches: 1) nations are constituted by politicians, they are free communities in which political solidarity is based not on the cultural heritage, but on freely chosen political principles and 2) we inherit nations from our ancestors, these are forms of cultural inheritance for which intergenerational links, mutual care and loyalty are crucial.

In analyzing these approaches it is important to bear in mind that ethnic and political communities are given to change and adapt themselves to the changing

¹ Edmund Husserl’s term.

realities. Treating them as absolutes is as much of a fallacy as ignoring the strength of the inner links within them.

The main danger arising from ethnic solidarity is usually thought to be its predisposition to resentment. The main obstacles in its way can be inalienable rights and freedoms of the individual, universal human rights and values. However, civil (political) communities too are not immune to resentment. Love of universal freedoms which easily crosses national borders may also morph into solidarity fraught with irritated pride and hostility to aliens and dissenters.

What is the way out? I would like to do my summing up in the shape of answers to the two eternal Russian questions: “Who is to blame?” and “What is to be done?”

“*Who is to blame?*”: The argument between the advocates of civil and ethnic identities can be resolved by mutual recognition of the danger stemming both from treating civil solidarity as an absolute and from idealisation of ethnic idiosyncrasy. In my opinion, worship of both civil and ethnic nationalism is equally devastating and fraught with violence and destruction.

“*What is to be done?*” To look for a balance of values, to build a concept of national accord, to harmonize the rights of the individual on the one hand and the rights of ethnic and political communities on the other. Russia can overcome its identity crisis relying equally on the rationality of macro-civilizational non-Western regions and on the experience of forming identity of the Western type of rationality. For me personally, the problem of identification is not associated with the questions, “What is your citizenship?”, “What ethnic group do you belong to?” or “What is your nationality?” To me the question of identity is the question “What culture do you belong to?”

References

1. *Ничуе Ф.* Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. Гл. 4. 99.
2. *Philosophie heute* // hg. von Ulrich Boehm. Fr.a/M., N.Y., 1997. S. 14.
3. *Яковлев П.* Зеркало русской идеологии [Электронный ресурс] // Взгляд: деловая газета. URL: <http://www.vz.ru/politics/2014/5/17/687154.html> (дата обращения: 25.02.18).
4. *Ignatieff, M.* (1951) *Blood and Belonging: Journeys Into the New Nationalism*. N.Y.: Macmillan.
5. *Le Monde* 20.06/2017, *Elites et public face aux fractures de l'Europe*. P. 25.

Sineokaya Yulia V. Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)

E-mail: jvsineokaya@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/41/4

THE SHIFT IN THE VALUE SYSTEM IN RUSSIA AT THE TURN OF THE 20TH AND 21ST CENTURIES

Key words: Russia, Post-Soviet identity, individualism, collectivism, nationalism, freedom, patriotism, conservative revolution, solidarity.

This paper looks at the changes of values in the process of the formation of Russian identity over the past quarter century. Beginning from the collapse of the USSR (1991) Russia has been forming a new post-Soviet Russian identity, a system of priority values aimed at strengthening the unity of the multi-national, multi-confessional country with deep social and wealth inequalities. The milestones along that path were Boris Yeltsin's famous appeal to the intelligentsia (August 1996) to formulate a new ideology, a Russian idea and, twenty years later, Vladimir Putin's appeal (October 2016) to the expert community to formulate the concept of a law on the Russian civil nation later renamed The Law on the Basics of State Nationalities Policy. Without doubt, at the turn of the 20th and 21st centuries

Russia saw a change of value paradigms from individualism to nationalism. Until the first decade of the 21st century Russia positioned itself as a European power embracing universal human values. For the majority of Russians the priority was the quality of their private lives. Freedom and stability were the fundamental values of that era. In the early years of this century Russia began to assert itself as a power independent of the West, a distinct Russian civilisation, “the Greater Russian World,” spreading beyond the state borders of the Russian Federation. The values of isolationism, the issues of ethnic identity and the problem of national self-determination came to the fore. Today the dominant value in Russia is patriotism based on the policy of historical memory and a return to the sources. However, it is obvious that the peoples of a multi-ethnic state have different roots, so a return to the sources divides rather than unites. A new value gaining popularity in Russia is nationalism based on the idea of solidarity. To understand what myth of the civil nation is taking shape in Russia today it is important to reveal the strengths and weaknesses of nationalism and to determine whether there is a difference between nationalism and patriotism, between civil and ethnic forms of nationalism.

References

1. Nietzsche, F. (1990) *Sochinenie v dvukh tomakh* [Works in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Mysl'.
2. Boehm, U. (ed.) (1997) *Philosophie heute* [Philosophie Today]. Frankfurt am Mein; New York: [s.n].
3. Yakovlev, P. (2014) *Zerkalo russkoy ideologii* [A Mirror of Russian Ideology]. [Online] Available from: <http://www.vz.ru/politics/2014/5/17/687154.html>. (Accessed: 25th February 2018)
4. Ignatieff, M. (1951) *Blood and Belonging: Journeys Into the New Nationalism*. New-York: Macmillan.
5. Kauffmann, S. (2017) Elites et public face aux fractures de l'Europe [Elites and public facing the fractures of Europe]. *Le Monde*. 20th June 2017. pp. 25.

УДК 316.42+314.74:1
DOI: 10.17223/1998863X/41/5

Э.М. Думнова

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ПАРАДИГМЫ

Рассматривается проблема формирования национальной идентичности и ее альтернатив в обществе постмодерна. Обозначены концептуальные основания исследования процесса идентификации с позиций постмодернистской парадигмы. На материалах социологического исследования, проведенного автором посредством метода интервьюирования, раскрывается специфика формирования трансидентичности эмигрантов и трансэмигрантов, выявляются основные тенденции и закономерности данного процесса в глобализированном мире.

Ключевые слова: *транснациональная идентичность, национальная идентичность, общество постмодерна, сингулярность, делокализация идентичности.*

Парадигмальный статус проблемы

Поворот к постмодерну обозначил новое пространство исследования и пересмотр результатов изучения ряда социально-философских проблем, в число которых входит и проблема формирования идентичности.

Исследование идентичности модерна способствовало выявлению тех закономерностей и механизмов ее формирования, которые впоследствии подверглись трансформации. Объективная актуализация постмодернистской парадигмы в изучении данной проблемы объясняется переходом к качественно новой современности. Расширение жизненного пространства и его реструктуризация детерминировали возникновение новых идентификационных практик. В обществе постмодерна формирование идентичности становится весьма вариативным. Данный процесс реализуется в формате различных идентификационных моделей. Это стало возможным по причине утраты структурой центра, именно децентрация общества задает новые потенции и тенденции идентификации социального субъекта. На смену структурированности социальной системы приходит аструктурность, лежащая в основе новых принципов развития. В этой связи в рамках современного социально-философского дискурса идентичность рассматривается согласно принципам сингулярности.

Понятие «сингулярность» (от лат. «singulus» – «одиночный, единичный») в философии обозначает единичность, неповторимость чего-либо – существа, события, явления. Данное понятие широко используется в работах современные французских философов-постмодернистов, в частности Жилем Делезом. В работе «Логика смысла» Ж. Делез трактовал сингулярность как событие, порождающее смысл и носящее точечный характер. «Это поворотные пункты и точки сгибов; узкие места, узлы, преддверия и центры; точки плавления, конденсации и кипения; точки слез и смеха, болезни и здоровья, надежды и уныния, точки чувствительности». Ж. Делез, выделяя свойства сингулярности, отмечает следующее: «Она совершенно безразлична к индивидуальному

и коллективному, личному и безличному, частному и общему и к их противоположностям. Сингулярность нейтральна» [1. С. 78–80]. Например, сингулярностью может характеризоваться идентификация как группового, так и индивидуального субъекта.

Но при этом, «оставаясь конкретной точкой, событие неизбежно связано с другими событиями. Поэтому точка одновременно является и линией, выражающей все варианты модификации этой точки и ее взаимосвязей со всем миром [2].

Представляется целесообразным рассмотреть развитие структуры согласно принципам сингулярности в рамках синергетического подхода. Сингулярности проявляют себя в условиях нелинейного развития системы. Диссипативная структура возникает в результате открытости системы и предполагает взаимообмен энергией с окружающей средой. Так, система (социальный субъект) оказывается подверженной разного рода внешним воздействиям, что в итоге исключает ее дальнейшее функционирование по принципам каузальности и приводит ее к нелинейному варианту развития.

В контексте данной статьи в качестве диссипативной системы и объекта исследования выступает социальный субъект (индивидуальный или групповой). Поскольку он функционирует и идентифицируется в условиях социума, мы будем рассматривать социальный субъект относительно общества как подсистему и систему. Итак, социальный субъект попадает в условия децентрализованной социальной системы, оказывающей на него непосредственное разностороннее воздействие, что приводит его в состояние флуктуаций и вхождению в зону бифуркации. Там и возникает ситуация выбора возможного варианта дальнейшей траектории его развития, т.е. объективация конструктивности хаоса. Малейшее воздействие на подсистему в таком состоянии может привести к ее непредсказуемой реакции в виде выбора одного из возможных сценариев развития, что выступает проявлением сингулярности.

Общество постмодерна, в рамках которого реализуются различные идентификационные практики, характеризуется расширением пространства повседневности индивида, которому также присущи утрата единого центра и, как следствие, диффузность и делокализованность. Данные характеристики жизненного пространства современного человека становятся особенно рельефными в условиях миграции. Переезд в другую страну на длительное время или на постоянное место жительства предполагает именно расширение жизненного пространства, а не только наполнение его новым содержанием или перекраиванием, поскольку связь с родиной так или иначе продолжает существовать в определенном формате. Аналогично миграционным процессам, детерминирующим феномен трансэмигрантов, эмиграция является отправной точкой формирования трансэмигрантов и, соответственно, трансидентичности. Как отмечают западные исследователи проблемы миграции, использование термина «трансмигранты» обусловлено тем, что мигранты «развивают и поддерживают множественные семейные, экономические, социальные, организационные и политические отношения, пересекающие границы» [3, 4].

Индивид и сообщества являются сингулярными, поскольку способны к дискурсу. При расширении пространства повседневности индивида складываются новые условия дискурса. В обществе постмодерна происходит непрерывная коммуникация – полилог между сингулярностями, в результате чего

рождаются новые непредсказуемые смыслы и значения [5. С. 91–100]. Как отмечает современный российский исследователь Е.В. Пилюгина, «сингулярности предстают как события, источники и результаты событий. <...> Сингулярности никогда не являются конечным элементом, включая и включаясь в другие сингулярности, составляя конфронтации, или, напротив, синергию с другими сингулярностями» [6. С. 6]. Сингулярный мир Ж. Бодрийар характеризует как «порядок внутри беспорядка» [7. С. 30]. Имплотация (внутренний взрыв) как способ существования значений сингулярностей предполагает деконструкцию прежних значений и конструкцию новых.

В итоге существования индивида в условиях сингулярного мира формируется транспарентное сознание («обнуленное»), готовое для заполнения новыми смыслами и значениями. В связи с этим процесс идентификации в обществе постмодерна утрачивает свои прежние закономерности. Индивид не имеет точки опоры, которая стала бы отправной точкой идентификации, поскольку общество постмодерна характеризуется постоянным распадом, деконструкцией (Ж. Деррида) с последующей конструкцией и реконструкцией смыслов, идей, морали и ценностей в целом [8]. Новые социальные практики как элементы социальных процессов эпохи постмодерна, в числе которых глобализация, миграция, детерминировали соответствующие ей виды идентичности: транснациональную, бинациональную. Это явилось следствием трансформации традиционной национальной идентичности.

Формирование идентичности в условиях постмодерна

Для общества постмодерна характерно кризисное мироощущение в силу его нестабильности, «пластичности», многозначности происходящих событий и социальных процессов, что в совокупности представляет основу его перманентного распада, который в рамках постмодернистской парадигмы рассматривается как условие жизнеспособности и, в частности, рождения новых идентичностей [9]. Фрагментаризация идентичностей, их контекстуальность детерминируют объективную необходимость использования новой методологии для их научной разработки. Мы разделяем точку зрения современных петербургских исследователей О. Бредниковой и О. Ткач о «смене парадигмы идентификации с местом и увеличении разнообразия парадигм идентификации» [10. С. 76]. Представляется необходимым в контексте комплексной парадигмы выделить дополнительные маркеры идентичности, что позволит воссоздать (конструировать) относительно целостную картину идентификации и ее результатов применительно к сообществу эмигрантов. Исходя из исследования национальной, а также транснациональной и бинациональной идентичностей как ее альтернатив, мы выделяем следующие маркеры идентичности: язык, религию, обычаи и традиции, политическую активность, концепцию родины.

Изучение вопроса сохранения национальной идентичности и формирования трансидентичностей в условиях трансмиграции предполагает использование данных социологического исследования, проведенного автором в апреле – мае 2017 г. Данное исследование проводилось в рамках качественного подхода с применением методов глубинного интервью и серии формализованных интервью. Основными информантами / исследовательскими кей-

сами стали восемь эмигрантов, переехавших в постсоветский период из России в США, страны Западной Европы, Израиль, Канаду, Австралию.

В соответствии с заявленными критериями выборки все информанты получили высшее образование в России, принадлежат к прослойке интеллигенции, уехали в другую страну в зрелом возрасте и проживают там не менее трех лет и заняты интеллектуальным трудом. Материалы проведенных интервью позволяют проследить некоторые тенденции относительно изменения жизненного пространства информантов как базового условия трансформации механизмов идентификации и получения соответствующих результатов данного процесса.

Трансидентичность можно определить некоторой размытостью, не свойственной, например, национальной идентичности, что выражается в ее диффузности и деллокализованности. Эти качества новой идентичности сформировались в результате проекции на нее свойств пространства повседневности, являющегося средой ее формирования. Пластичность и децентрация транснациональной идентичности, прежде всего, обусловлены наличием и поддержанием родственных, дружеских и прочих социальных связей транмигрантов с людьми, оставшимися на их родине. Большинство опрошенных сказали, что на родине остались их родители и они видятся с ними 1–2 раза в год, приезжая на 1–2 недели. При этом следует отметить что отношения поддерживаются в виртуальном формате. Так, одна из информанток, отвечая на вопрос о том, как часто она видится с родителями и другими родственниками, говорит: *Виртуально – каждую неделю. Физически в среднем раз в год (Юлия, 25 лет, Дания).*

Языковой фактор играет значительную роль в формировании трансидентичности. Так, в ходе наших бесед выяснилось, что многие информанты состоят в браке с представителем другой национальности и при этом проживают в стране, не являющейся родной ни одному из супругов. Вследствие этих обстоятельств в их лингвистическом арсенале целых три разговорных языка, а у некоторых информантов даже больше, что связано с их этнической принадлежностью. Например, уроженка Казахстана, получившая образование на родине и в США, на вопрос: На каком языке вы чаще общаетесь? – ответила: *На английском и русском языках. Реже на венгерском и казахском языках. На английском – с супругом и друзьями, на русском – с русскоязычными родственниками, знакомыми и друзьями. На венгерском – со свекром и свекровью, с соседями и в общественных местах. На казахском реже всего – с казахскоязычными родственниками (Корлан, 32 года, Венгрия).*

Другая информантка, получившая образование в России и Германии, ответила следующее: *Английский – 90% времени – с коллегами и мужем. Русский 5% времени, с русскими друзьями в Европе или в письменных коммуникациях и с родителями. Датский – 5% времени – бытовые коммуникации в публичных местах города, магазинах, кафе (Юлия, 25 лет, Дания).*

Еще одним фактором формирования трансидентичности является сохранение потребности в общении на родном языке с представителями своего народа, о чем заявили в интервью более половины информантов. При этом данная потребность никак не связана с их отношением к родной стране и, соответственно, не является маркером национальной идентичности, а скорее подчеркивает фрагментаризацию идентичности и усиление значимости этни-

ческой идентичности, носящую изначально делокализованный характер, что обеспечивает более высокий уровень ее стабильности и устойчивости. Некоторые информанты отметили по этому поводу следующее:

– В месте, где мы живем, у меня есть и русскоговорящие друзья (Фируза, 26 лет, Шотландия).

– ...я достаточно общаюсь с представителями своего народа. Потребность возникает из-за общих культурных ценностей и сложившегося поведения. С людьми из стран СНГ намного проще общаться, они быстрее идут на контакт, гостеприимнее, открытее, чем местный народ (Корлан, 32 года, Венгрия).

– Иногда у меня есть острая потребность послушать русскую речь, я обычно это восполняю просмотром русскоязычных фильмов. Быстрое освоение русского языка моим мужем тоже значительно восполняет мои потребности пошутить и поболтать на русском. Я бы не сказала, что у меня когда либо были сложности самовыражения на иностранном языке, но иногда я скучаю по живым русским фразам и собственно изобретенным выражениям, которые могут быть понятны только носителям русского языка (Юлия, 25 лет, Дания).

Полученные ответы демонстрируют устойчивость ментальной матрицы русских эмигрантов, что выражается в сохранении социокультурных установок, поведенческих стереотипов и стремлении к их воспроизводству. Поддержание сформированной ментальности происходит посредством сохранения и использования родного языка как инструмента реализации ментальных особенностей. Данные обстоятельства являются основой сохранения этнической идентичности, которая органично вписывается в процесс формирования трансидентичности эмигрантов. Исследование показало, что устойчивость этнической идентичности в большей степени свойственна представителям малых этносов, в составе нашей выборки это выходцы из бывших союзных республик: Корлан (Казахстан), Фируза (Таджикистан), Евгений (Узбекистан).

Сохранение этнической идентичности не противоречит делокализации идентичности и ослаблению идеологии «объединяющих мест». Зависимость от места утрачивается на фоне глобализационных процессов и увеличения свободы индивида в широком смысле, в том числе свободы перемещения, выбора места жительства. Многие информанты, покинув родину, сменили несколько стран проживания. Причины этого лежат в сфере как профессиональных, так и семейных отношений. При этом ни один из опрошенных не выразил желания вернуться на родину, во многом это связано с причинами отъезда. Хотя они не были описаны ими в алармистских категориях, в целом все же носят негативный оттенок, что связано, в частности, с ухудшением их социального самочувствия на родине вследствие развала СССР, отсутствием достойно оплачиваемой работы и сложностями трудоустройства в соответствии со специальностью. Поскольку все информанты реализовали себя в профессиональной сфере на текущее время, перемещение многих в европейском пространстве, а также переезд из США в Европу были связаны именно с поиском профессиональных возможностей и перспектив карьерного роста. Кроме того, часть из них создали семью, уже покинув родину, и определенным образом их переезды зависели от обстоятельств, в которых оказался супруг.

Анализ интервью показывает, что жизненные сценарии трансмигрантов отличаются плюральностью, т.е. они могут развиваться по разным траекториям, выбор которых носит случайный (сингулярный) характер. Результатом этого является приобретение колоссального жизненного опыта, лежащего в основе трансформации их концепции родины. Традиционно родина – это прежде всего пространственные репрезентации. Архетип родины объективируется в социопропространственной идентификации, где имеют значение как топос, так и культура, особенности социальных интеракций. Расширение миграций и других видов пространственной мобильности приводит к возникновению плюральности концепций родины, что обусловлено социальным конструированием действительности в разрезе постмодернистских социальных практик индивидов.

Наше исследование позволило выявить сложность определения эмигрантами родины в условиях поделенной (фрагментарной) идентичности. При этом стали очевидными следующие тенденции в понимании родины информантами, выделенные на основе полученных типических групп ответов:

1. Делокализованность родины как результат фрагментаризации идентичности. Пространственный критерий идентификации и, как следствие, определения родины уступает позиции социальному, мировоззренческому и идеологическому. В основе определения родины в этом случае лежит императив социальной идентичности. Информанты отмечают, что родина для них это *...там где комфортно и хочется продолжать жить; ...там, где я и мое сознание*. Во многом такая позиция связана с причинами переезда и возрастом, ее в основном разделяют эмигранты, которые оказались за границей в связи с получением образования и социальный рост и личностное становление которых происходили именно там.

2. Локализация родины и сохранение символической ценности ряда ее материальных и духовных составляющих, например город, природа, еда, язык. Данная типическая группа ответов представлена мнениями старшей возрастной категории информантов (40–50 лет), чье детство и юность прошли в СССР. Несмотря на то, что они эмигрировали более десяти лет назад, в их ответах прослеживается четкая пространственная идентификация родины. Определяющим критерием родины у многих из них являются ассоциации с детством и территорией, где оно проведено.

3. Утрата смысла понятия родины.

Представляется важным, что формирование понимания родины когерентно трансформации национальной идентичности. Так, информанты, чьи ответы вошли в первую типическую группу, отметили, что стали осознавать себя частью русского народа, только когда переехали из России.

Вторая группа информантов однозначно идентифицирует себя с русским народом, поддерживая традиционную концепцию родины и сохраняя национальную идентичность. Третья группа – это представители новой тенденции – формирования трансидентичности. Они отметили, что не ощущают себя частью своего родного народа.

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам.

Во-первых, децентрация социальной системы привела к возникновению нового пространства повседневности с характерными для него механизмами и результатами идентификации, когерентными обществу постмо-

дерна, что объективировалось в социальных практиках эмигрантов и трансэмигрантов.

Во-вторых, конструктивный хаос и плюральность системы детерминировали альтернативные национальной виды идентичности, что привело к размытости смысла понятия родины и формированию новых концепций родины.

В-третьих, ослабление национальной идентичности, ее делокализованность, подкрепленная нежеланием абсолютного большинства информантов возвращаться в родную страну, происходит параллельно с возрастанием для них значимости этнической идентичности.

В-четвертых, общество постмодерна детерминировало нелинейность и плюральность жизненных сценариев, в основе реализации которых лежат принципы сингулярности, что объективируется в биографических сценариях трансэмигрантов и формировании новой ментальности как основы социопространственной идентичности.

Литература

1. Делез Ж. Логика смысла: пер. с фр. Фуко М. *Theatrum philosophicum*: пер. с фр. Москва: Паритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. 480 с.
2. Что такое сингулярность, или Почему история человечества однажды станет непредсказуемой. URL: <https://theoryandpractice.ru/posts/6981-что-такое-singulyarnost-ili-pochemu-istoriya-chelovechestva-odnazhdy-stanet-nepredskazuemoj/> (дата обращения: 29.04.2017).
3. Glick Schiller N., Basch L., Szanton Blanc C. Transnationalism: A new analytical framework for understanding migration // Glick Schiller N., Basch L., Szanton Blanc C. (eds). *Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, class, ethnicity and nationalism reconsidered*. New York: New York Academy of Science, 1992. P. 1–24.
4. Glick-Schiller N., Basch L., Szanton Blanc C. From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational migration: Migration and Transnational Social Spaces. Aldershot: Ashgate, 1999. P. 73–105.
5. Нанси Ж.Л. О событии // *Философия Мартина Хайдеггера и современность*. М.: Наука, 1991. С. 91–100.
6. Пилюгина Е.В. Состояние постмодерна: сингулярность бытия, транспорентность сознания и вирусы тоталитарных идей // *Studia Humanitatis*. 2014. № 1–2. URL: www.st-hum.ru (дата обращения: 30.10.2017).
7. Бодрийяр Ж. *Прозрачность зла*. М.: Добросвет, 2000. 258 с.
8. Деррида Ж. Письмо и различие / пер. с фр.; под ред. В. Лапицкого. СПб.: Академический проект, 2000. 432 с.
9. Судас Л.Г. Постмодернизм. URL: <http://www.chem.msu.su:8081/> (дата обращения: 25.04.2017).
10. Бредникова О., Ткач О. Дом для номады // *LABORATORIUM. Журнал социальных исследований*. 2010. № 3. С. 72–95.

Dumnova Elnara M. Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk military Institute of national guard troops (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: dumnova79@yandex.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/5

THE PROBLEM OF IDENTITY FORMATION THROUGH THE PRISM OF POSTMODERN PARADIGM

Key words: transnational identity, national identity, postmodern society, singularity, delocalization of identity.

The article discusses the problem of national identity formation and its alternatives in modern society. The actualization of postmodern paradigm in studying the problems of identity is justified and theoretical and methodological foundations of investigating identification and its outcomes in postmodern society in the context of non-linear development are revealed. Identity formation in postmodern society becomes very changeable, this process is implemented in various identity patterns. Post-

modernity is characterized by lack of structural properties, decentration and plurality; identity is thus viewed within the framework of the contemporary socio-philosophical discourse in the light of singularity principles. Singularity, as viewed by J. Deleuze, is a dot meaning-producing event. The individual everyday life space is expanded, a single center of this space is lost, causing diffuseness and delocalization. These characteristics of contemporary man life space become particularly prominent in the circumstances of migration, which is becoming global and determining formation of transidentities. The process of identification in postmodern society is losing its former regularities. The birth of new identities is undergoing in the circumstances of constructive chaos and is characterized by fragmentation and contextuality. The problem of preserving national identity and forming transidentities in the conditions of transmigration is discussed by the author on the basis of materials of sociological survey, conducted by the author in April – May 2017, using qualitative approach and methods of deep interview, as well as a series of formalized interviews. Major informants were emigrants, which moved from Russia to the US, Western Europe, Israel, Canada and Australia in the post-Soviet period. The analysis of the data obtained made it possible to identify a number of tendencies, including weakening of national identity, its delocalization, the growth of importance of ethnic identity, the emergence of plurality of the concepts of Motherland, non-linear character and plurality of life scenarios. The implementation of these scenarios is based on singularity principles, objectified in biographical scenarios of transmigrants and the formation of new mentality.

References

1. Deleuze, J. (1998) *Logika smysla* [Theatrum philosophicum]. Translated from French by M. Foucault. Moscow: Raritet; Ekaterinburg: Delovaya kniga.
2. Onegina, E. (n.d.) *Chto takoe singulyarnost' ili pochemu istoriya chelovechestva odnazhdy stanet nepredskazuemoy* [What is the singularity or why the history of mankind will become unpredictable one day?] [Online] Available from: [https://theoryandpractice.ru/posts/6981-chto-takoe-singulyarnost-ili-pochemu-istoriya-chelovechestva-odnazhdy-stanet nepredskazuemoy/](https://theoryandpractice.ru/posts/6981-chto-takoe-singulyarnost-ili-pochemu-istoriya-chelovechestva-odnazhdy-stanet-nepredskazuemoy/). (Accessed: 29th April 2017).
3. Glick Schiller, N., Basch, L. & Szanton Blanc, C. (1992) Transnationalism: A new analytical framework for understanding migration. In: Glick Schiller, N., Basch, L., Szanton Blanc, C. (eds). *Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, class, ethnicity and nationalism reconsidered*. New York: New York Academy of Science. pp. 1–24.
4. Glick-Schiller, N., Basch, L. & Szanton Blanc, C. (1999) From Immigrant to Transmigrant: Theorising Transnational Migration. In: Priers, L. (ed.) *Migration and Transnational Social Spaces*. Aldershot: Ashgate. Pp. 73–105.
5. Nancy, J.-L. (1991) O sobytii [About the event]. In: Motroshilova, N.V. (ed.) *Filosofiya Martina Khaydeggera i sovremennost'* [Philosophy of Martin Heidegger and modernity]. Moscow: Nauka. pp. 91–100
6. Pilyugina, E.V. (2014) Sostoyanie postmoderna: singulyarnost' bytiya, transparentnost' soznaniya i virusy totalitarnykh idey [The state of postmodernity: singularity of being, transparency of consciousness and viruses of totalitarian ideas]. *Studia Humanitatis*. 1–2. [Online] Available from: www.st-hum.ru. (Accessed: 30th October 2017).
7. Baudrillard, J. (2000) *Prozrachnost' zla* [Transparency of Evil]. Translated from French by L. Lyubarskaya, E. Markovskaya. Moscow: Dobrosvet.
8. Derrida, J. (2000) *Pis'mo i razlichie* [Writing and Difference]. Translated from French by V. Lapitsky. St. Petersburg: Akademicheskii proekt.
9. Sudas, L.G. (n.d.) *Postmodernizm* [Postmodernism]. [Online] Available from: <http://www.chem.msu.su:8081/>. (Accessed: 25th April 2017).
10. Brednikova, O. & Tkach, O. (2010) Dom dlya nomady [House for the nomads]. *LABORATORIUM. Zhurnal sotsial'nykh issledovaniy – Laboratorium. Social Research Journal*. 3. pp. 72–95.

УДК 304.9

DOI: 10.17223/1998863X/41/6

А.И. Желнин

БИОВЛАСТЬ КАК ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН И ЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ КРИЗИСНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

Анализируется феномен биовласти, ее соотношение с другими формами власти, распространение на нее рыночных механизмов через процессы коммерциализации и конъюмеризации. Исследуется социально-биологический кризис, порожденный амбивалентностью цивилизационного прогресса и нарушением коэволюции социального и биологического. Под его давлением биовласть трансформируется, теряет манипулятивный характер и превращается в сферу разумного управления обществом биологическим фундаментом.

Ключевые слова: *биовласть, биополитика, социально-биологический кризис, медицина, медиализация.*

Как известно, понятие «биовласть» введено М. Фуко и первоначально понималось как «„матрикс“ дискурсивных и внедискурсивных научно (медицински) обоснованных дисциплинарных практик контроля, нормализации и совершенствования человеческого тела» [1. С. 39]. Генеалогически данное понятие было ограничено сферой медицинских вмешательств и тем же Фуко связывалось с институциализацией системы общественного здравоохранения и нормированием биологических характеристик населения в дисциплинарном обществе [2]. Более широкое определение биовласти было предложено М. Хардтом и А. Негри, понимающими под ней ситуацию, когда власть радикально расширяет границы своего приложения и ее объектом становится в буквальном смысле вся жизнь («биос») человека во всем ее многообразии [3. С. 40]. Они по-марксистски связали данный феномен не столько с политической, сколько с экономической сферой, т.е. сферой общественного производства, так как производство и воспроизводство человека всегда несет в себе неотъемлемый биологический компонент. В конечном итоге биовласть для них оказывается выражением тотальной экономической власти капитала. Однако в современной литературе закрепился первый, более узкий и в каком-то смысле «интерналистский» взгляд на биовласть, в котором она, по сути, отождествляется с практиками медицины [4]. Отождествление био- и медицинской власти имеет свои основания, так как медицина действительно является институтом, профилизирующимся (в определенном смысле) на контроле за биологическими сторонами жизни человека, возможности в последнее время стремительно расширяются в связи с экспансией новейших биомедицинских технологий: «Медицина в XX веке превратилась в биомедицину, ее развитие не мыслится без прикладного использования фундаментальных открытий в области биологии, цитологии, генетики, эмбриологии (впрочем, как и практически все направления развития биологической науки ориентированы на медицинское приложение). Причем речь идет не об отдельных инновационных находках – точках роста, а о технологиях, все более и более массовых» [5. С. 27].

С другой стороны, даже в интерналистском варианте происходит расширение поля биовласти. Это связано с тем, что *влияние медицины на общество оказывается все более диффузным, усиление медикализации* проявляется не только в массовой экспансии биомедицинских технологий, но и в том факте, что все больший круг проблем рассматривается как лежащий в сфере компетенции и юрисдикции медицины [6]. До сих пор одним из основных проявлений медикализации остается *фармакологизация* общества. Существуют данные, что болезни до 30% стационарных пациентов вызваны потреблением тех или иных препаратов [7. С. 10]. Превращение избыточного и неправильного приема лекарств в самостоятельный этиологический фактор многих заболеваний заставило И. Иллича ввести понятие «социальная ятрогения» [8]. Гипертрофия фармакотерапии порождает и ряд дефектных феноменов в психике и поведении: «В области соматики возможность справиться с болезнью при помощи лекарств и иных технологий лечения не только позволяет пренебрегать элементарными средствами профилактики, запускать болезнь, нарушать предписанный режим, надеясь на лекарственную компенсацию и т. д., но и создает психологическую установку на то, что в случае атаки болезни будут задействованы именно посторонние, внешние для человека резервы» [9. С. 51]. Вместе с тем высокий уровень потребления лекарственных препаратов является только одним из следствий общей медикализации образа жизни, а степень рациональности их приема зависит от различных факторов. Так, например, фармакологизация повседневной жизни происходит во многом под влиянием сферы спорта, наглядно демонстрирующей рост возможностей человеческого организма под влиянием тех или иных средств [10]. Вместе с тем фармакологизация демонстрирует не только достижения медицины, но и ее ограничения: большое количество хронических неинфекционных заболеваний остаются неизлечимыми, а их фармакотерапия – сугубо симптоматической [11. Р. 113]. *Повторим, влияние медицины на образ жизни носит диффузный, подчас косвенный характер и не сводится к прямым терапевтическим вмешательствам: меняются сами модели сознания и стандарты поведения человека.*

Другим, более весомым основанием для негативной оценки медикализации является опасение, что медицина может выступать в качестве агента социального контроля [12]. Так как заинтересованными фигурами здесь выступают и корпорации, и научные лаборатории, и страховые фирмы, и государство, это способствует преодолению узкого взгляда на биовласть как изолированную власть медицины и наглядно показывает, что она смыкается с другими типами власти, в первую очередь экономической. Последнее происходит посредством *коммерциализации* и *консьюмеризации* данной сферы: «Медикализации индивидуальной и социальной жизни также способствует развитие частного сектора и предпринимательства в медицине и здравоохранении. Частный сектор создает благоприятные условия для подмены ценностей психофизического здоровья и личного счастья ценностями комфорта, фармакологической эффективности и бесконечного процесса потребления» [13. С. 164]. По сути, в основе интенции современной технонауки не только на терапию, но и на биологическое «улучшение» человека [14] лежат экономические предпосылки, связанные с поиском новых путей получения и максимизации прибыли. Так, часто перед созданием соответствующих техноло-

гий терапии в обществе формируется определенный «запрос» на потребность в ней, например через «конструирование» болезни, которую они должны успешно лечить. В данном контексте Хардт и Негри правы, рассматривая биовласть предельно широко как власть над производством человеческой жизни: «Общество, поглощенное властью, добравшейся до центров социальной структуры и процессов ее развития, реагирует как единое тело. Таким образом, власть выражает себя как контроль, полностью охватывающий тела и сознание людей и одновременно распространяющийся на всю совокупность социальных отношений» [3. С. 35]. Ее целью, соответственно, является эксплуатация целостного человека и его жизнедеятельности. *Биовласть в этом плане символизирует торжество рыночных экономических механизмов, их закономерное проникновение не только в общественные сферы, но и в сферу биологии.*

Вместе с тем в настоящее время начинается трансформация самой сущности биовласти. *Это связано с общим антропологическим кризисом и социально-биологическим кризисом как одной из его основных составляющих.* Последний представляет собой ситуацию, когда социальное и биологическое измерения человеческой жизнедеятельности рассогласованы. В настоящее время это происходит в результате турбулентного перехода цивилизации к постиндустриальному этапу, ускорения темпов общественных изменений и общей асимметрии социального прогресса. В результате данного рассогласования существенно ухудшается уровень здоровья и возникает всплеск заболеваемости: «Для настоящего времени характерно исключительно быстрое нарастание социальных изменений. В то же время запрограммированные эволюцией биологические процессы меняются крайне медленно. В столкновении одного со вторым и заключается одна из причин болезней цивилизации» [7. С. 9]. Одним из центральных кризисных феноменов сегодня является эпидемия неинфекционных патологий («болезней цивилизации»), являющихся комплексными по своим этиологии и патогенезу, а также хроническими по течению [15]. Она отягощена экологической ситуацией и глобальным старением населения. Последнее является ярким примером медиализации: все чаще имеет место тренд на классифицирование в качестве болезни процесса старения как такового [16]. Особняком стоит проблема высоких уровней стресса: известно, что любой хронический стресс характеризуется неизбежным негативным влиянием на организм. Однако в контексте проблемы социально-биологического кризиса можно говорить о феномене «социального стресса», т.е. стресса, непосредственно возникающего под влиянием общественных факторов и изменений: так, было показано, что стрессирующим действием обладают, например, городской образ жизни и интенсивная урбанизация [17]. *Социальный стресс, по всей видимости, обладает отягчающим характером, так как охватывает одновременно психологическое и физиологическое измерения.* Данный синергизм быстрее приводит к общему нарушению гомеостаза (его перерождению в свой дефектный вариант, аллостаз) [18].

Под влиянием данных вызовов биовласть постепенно начинает вынужденно менять свой статус. Во-первых, биовласть посредством своей диффузии в разные сферы жизни приобретает «молекуляризированный» и «гибкий недетерминистический характер» [19. Р. 720]. Биовласть также превраща-

ется в разновидность «soft power» («мягкой власти») [20. Р. 105], т.е. ее механизмы становятся более косвенными, опять же теряя свою жесткую директивную направленность. Корпорации и фирмы, с одной стороны, и пациенты/потребители – с другой, становятся все более равноправными участниками одного процесса: последние получают право выбора между альтернативными препаратами или методиками лечения без прямого навязывания. Наряду с этой диверсификацией выделяют важную в контексте последующего изложения тенденцию биовласти к «менеджменту статуса здоровья популяции в целом» [21. Р. 212]. Конечно же, при этом сохраняется коммерческое ядро биовласти, ее существенная сплавленность с экономической властью. Вместе с тем относительное ослабление ее манипулятивного характера создает предпосылки для ее глобальной трансформации в будущем.

Потенциальная трансформация биовласти заключается в том, что современный глобальный социально-биологический кризис создает настоятельную потребность в ее превращении в сферу разумного управления общества своей биологией. В.Ф. Чешко и В.И. Глазко считают, что биовласть возникает в ответ на «расхождение векторов», «дихотомию» социокультурной и биологической эволюции человека и сама, являясь важнейшей социокультурной адаптацией, способна стать одним из остовов будущей управляемой эволюции человека [22]. Через широкие процессы медиализации она, по сути, уже стала сферой такого более или менее многостороннего контроля и нормирования биологических аспектов жизнедеятельности. Однако нужно понимать, что пока субъектами биовласти остаются отдельные экономические и политические агенты, руководствующиеся своими интересами, она априори не сможет стать сферой разумного управления. По мнению С.Д. Хайтуна, гипертрофированный рынок, являясь своеобразным продолжением биологической борьбы за существование, «обеспечивает постоянное направленное стрессовое давление на членов сообщества, создавая эффект „перманентной катастрофы“» [23. С. 134]. Последнее по большей части детерминировано избыточной конкуренцией и порождаемым ею неравенством и атомизацией социума. Доказано, что экономическое неравенство, в свою очередь, порождает специфическое неравенство в уровне здоровья [24]. Вкупе с все возрастающей неравномерностью доступа людей к новейшим биомедицинским технологиям лечения неравенство является мощным фактором системного психосоматического стресса. Чтобы приобрести черты сознательного управления, биовласть должна каким-то образом дистанцироваться от отношений асимметрии, основанных на неравенстве и явной или скрытой эксплуатации. *В определенном смысле биовласть должна превратиться в биополитику.* Последняя имеет множество концептуальных интерпретаций, однако большинство из них трактуют ее как простое выражение биовласти [25]. На наш же взгляд, их надо все-таки различать. Превращение биовласти в биополитику может быть вписано в более фундаментальную трансформацию власти как таковой, когда она перестает основываться на насилии и все больше проявляет коммуникативную природу [26]. *В данном контексте под политикой следует понимать регулирование, предполагающие коллективную консолидацию субъектов при существенной децентрализации управления, т.е. рассматривать ее как во многом отрицание биовласти в ее «манипулятивной» ипостаси.* Недаром А.В. Олескин отмечает, что в биополитике значимую роль игра-

ют сетевые структуры, строящиеся на кооперативных и симбиотических механизмах [27].

Несомненно, что медицина продолжит оставаться центральным феноменом этой динамики, также приобретая новое качество, становясь в соответствии с принципом «четырёх П» превентивной, предиктивной, профилактической и, самое главное, персонализированной [28]. Обычно становление персонализированной медицины связывают с бурным развитием ряда новых областей (геномики, протеомики, метаболики и т.д.) [29]. *Однако оно невозможно и без широкого внедрения в ее практику идей прогнозирования и планирования, связанных с установлением и реализацией оптимальных нагрузок на человеческую биологию, в том числе со стороны социума.* Так, М. Marmot ввел понятие «статус синдром», показав, что предрасположенность человека к определенным патологиям и синдромам зависит от его места в общественной иерархии [30]. Соответственно, медицина должна более активно отражать факторы риска, связанные с собственно социальным измерением. Справедливо указывается на то, что это возможно, если она будет сопротивляться собственным внутренним редуционистическим (биологизаторским) тенденциям и сохранит взгляд на человека как на принципиально целостное существо [31]. Необходимо преодоление ее отчужденного от человека характера, порожденного старыми формами биовласти, своеобразный процесс «реантропологизации». По мнению В.А. Рыбина, медицина, став своеобразной «прикладной антропологией», должна будет удерживать «границу „антропологической неприкосновенности“, не давая постоянно развивающимся технологиям уйти в частность, ограничившись либо односторонним, узко направленным исправлением отдельной функции, либо даже деструктивным, уродующим воздействием на человека» [32. С. 413].

Таким образом, можно сделать вывод, что *биовласть в современных условиях не исчезает, а меняет свой статус, постепенно теряя манипулятивный характер. Она начинает превращаться в сферу более или менее рационального стратегического управления обществом своей биологией, построенного на развитом прогнозировании и «гибком» планировании.* В медицине это отражается в смещении центра тяжести к профилактике и ранней диагностике (например, через обнаружение биомаркеров стресса и заболеваний), а также установления их сложной связи с социальными и экономическими факторами [33], массовому скринингу здоровья населения и одновременно более индивидуализированному подходу к пациенту. *В конечном итоге только коренная трансформация биовласти позволит преодолеть современный глобальный социально-биологический кризис.*

Литература

1. Тищенко П.Д. Жизнь и власть: биовласть в современных структурах врачевания // Биозтика и гуманитарная экспертиза. 2006. № 4.
2. Cisney V.W., Morar N. (ed.). Biopower: Foucault and beyond. University of Chicago Press, 2015. 400 p.
3. Хардт М., Негри А. Империя. М.: Праксис, 2004. 434 с.
4. Тищенко П.Д. Биовласть в эпоху биотехнологий. М.: ИФ РАН, 2001. 177 с.
5. Созинов А.С. Семь рождений, семь матерей и семь ипостасей биозтики // Практическая медицина. 2008. № 32. С. 24–30.
6. Clarke A.E. et al. Biomedicalization: Technoscientific Transformations of Health, Illness, and U.S. Biomedicine // American Sociological Review. 2003. Vol. 68, № 2. P. 161–194.

7. Агаджанян Н.А., Чижев А.А., Ким Т.А. Болезни цивилизации // Экология человека. 2003. № 4. С. 8–11.
8. Illich I. Medical nemesis: The exploration of health. Pantheon books, 1982. 294 p.
9. Лебедев В.Ю., Федоров А.В. Медикализация современной культуры: ментальные и социобиологические аспекты // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Философия. 2016. № 2. С. 47–64.
10. Хоберман Д. 50 лет применения допинга и фармакологизация повседневной жизни // Логос. 2009. № 6 (73). С. 134–146.
11. McKeown T. The role of medicine: dream, mirage, or nemesis? Princeton: University Press, 1979. 207 p.
12. Михель Д.В. Медикализация как социальный феномен // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2001. Т. 4, № 2. С. 256–263.
13. Пустовит С.В. Глобальная биоэтика: становление теории и практики (философский анализ). Киев: Арктур-А, 2009. 324 с.
14. Юдин Б.Г. Технонаука и «улучшение» человека // Эпистемология и философия науки. 2016. № 2 (48). С. 18–27.
15. Beaglehole R. et al. Priority actions for the non-communicable disease crisis // The Lancet. 2011. Vol. 377, № 9775. P. 1438–1447.
16. Kaufman S.R., Shim J.K., Russ A.J. Revisiting the biomedicalization of aging: Clinical trends and ethical challenges // The Gerontologist. 2004. Vol. 44, № 6. P. 731–738.
17. Lederbogen F. et al. City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans // Nature. 2011. Vol. 474, № 7352. P. 498–501.
18. McEwen B.S. Brain on stress: how the social environment gets under the skin // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2012. Vol. 109, № 2.
19. Raman S., Tutton R. Life, science, and biopower // Science, Technology & Human Values. 2010. Vol. 35, № 5. P. 711–734.
20. Lupton D. Digital sociology. Routledge, 2014. 230 p.
21. Rabinow P., Rose N. Biopower today // BioSocieties. 2006. Vol. 1, № 2. P. 195–217.
22. Чеико В.Ф., Глазко В.И. High Hume (биовласть и биополитика в обществе риска). М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2009. 320 с.
23. Хайтун С.Д. Социум против человека: Законы социальной эволюции. М.: URSS, 2006, 333 с.
24. Pickett K.E., Wilkinson R.G. Income inequality and health: a causal review // Social Science & Medicine. 2015. Vol. 128. P. 316–326.
25. Lemke T., Casper M.J., Moore L.J. Biopolitics: An advanced introduction. NYU Press, 2011. 145 p.
26. Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001. 256 с.
27. Олескин А.В. Биополитика. Политический потенциал современной биологии: философские, политологические и практические аспекты. М.: Научный мир, 2007. 504 с.
28. Hood L. et al. Systems biology and new technologies enable predictive and preventative medicine // Science. 2004. Vol. 306, № 5696. P. 640–643.
29. Дедов И.И., Тюльпаков А.Н., Чехонин В.П., Баклаушев В.П., Арчаков А.И., Мошковский С.А. Персонализированная медицина: современное состояние и перспективы // Вестник Российской академии медицинских наук. 2012. Vol. 67, № 12. P. 4–12.
30. Marmot M. Status syndrome: How your place on the social gradient directly affects your health. Bloomsbury Publishing PLC, 2015. 320 p.
31. Engel G.L. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine // Holistic Medicine. 1989. Vol. 4, № 1. P. 37–53.
32. Рыбин В.А. Медицина как парадигма философского знания // Науки о жизни и современная философия / ред. И.К. Лисеев. М.: Канон+, 2010. С. 395–445.
33. Dowd J.B., Goldman N. Do biomarkers of stress mediate the relation between socioeconomic status and health? // Journal of Epidemiology and Community Health. 2006. Vol. 60, № 7. P. 633–639.

Zhelnin Anton I. Perm State National Research University (Perm, Russian Federation)

E-mail: zhelnin90@yandex.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/6

BIOPOWER AS GENERAL SOCIAL PHENOMENON AND ITS MODERN CRISIS TRANSFORMATIONS

Key words: biopower; biopolitics; socio-biological crisis; medicine; medicalization.

In the paper an attempt of complex analysis of such phenomenon as biopower takes place. It is shown that it is much wider than power of medicine because there are processes of medicalization and pharmacologization of everyday life, massive expansion of new biomedical technologies in modern society. The relation of biopower to other kinds of power is also researched. Contemporary biopower is strongly connected with economic power due to commercial and consumer tendencies in it. On the other hand, modern biopower appears a sort of “soft” power because it doesn’t use direct influence or control and has more mediated methods and strategies. Nevertheless, the global socio-biological crisis as part of general anthropological crisis takes place nowadays. It is caused by ambivalence of contemporary civilizational progress and break of coevolution between the social and its biological basis. This crisis appears in such phenomena as epidemic of noncommunicable diseases, global aging, high levels of stress etc. It is argued that this crisis can become a stimulus for transformation of biopower when it begins to lose its manipulative character and turn into sphere of rational management for biological fundament of society. The medical transformations is complementary to this movement and is connected with transition of medicine to new predictive, preventive, personalized forms.

References

1. Tishchenko, P.D. (2006) Zhizn' i vlast': biovlast' v sovremennykh strukturakh vrachevaniya [Life and power: bio-power in modern structures of healing]. *Bioetika i gumanitarnaya ekspertiza*. 4.
2. Cisney, V.W. & Morar, N. (eds) *Biopower: Foucault and beyond*. University of Chicago Press.
3. Hardt, M. & Negri, A. (2004) *Imperiya* [Empire]. Translated from English. Moscow: Praxis.
4. Tishchenko, P.D. (2001) *Biovlast' v epokhu biotekhnologii* [Bio-power in the era of biotechnology]. Moscow: RAS.
5. Sozinov, A.S. (2008) Sem' rozhdeniy, sem' materey i sem' ipostasey bioetiki [Seven births, seven mothers and seven hypostases of bioethics]. *Prakticheskaya meditsina*. 32. pp. 24–30.
6. Clarke, A.E. et al. (2003) Biomedicalization: Technoscientific Transformations of Health, Illness, and U.S. Biomedicine. *American Sociological Review*. 68(2). pp. 161–194.
7. Agadzhanyan, N.A., Chizhov, A.Ya. & Kim, T.A. (2003) Bolezni tsivilizatsii [Diseases of civilization]. *Ekologiya cheloveka – Human Ecology*. 4. pp. 8–11.
8. Illich, I. (1982) *Medical Nemesis: The Expropriation of Health*. Pantheon books.
9. Lebedev, V.Yu. & Fedorov, A.V. (2016) Medikalizatsiya sovremennoy kul'tury: mental'nye i sotsiobiologicheskie aspekty [Medikalisation of modern culture: Mental and sociobiological aspects]. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya – Tver State University Vestnik. Series: Philosophy*. 2. pp. 47–64.
10. Hoberman, D. (2009) 50 let primeneniya dopinga i farmakologizatsiya povsednevnoy zhizni [50 years of doping and pharmacology of everyday life]. *Filosofsko-literaturnyy zhurnal Logos – The Logos Journal*. 6(73). pp. 134–146.
11. McKeown, T. (1979) *The role of medicine: dream, mirage, or nemesis?* Princeton University Press.
12. Mikhel, D.V. (2001) Medikalizatsiya kak sotsial'nyy fenomen [Medicalisation as a social phenomenon]. *Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta – Vestnik Saratov State Technical University*. 4(2). pp. 256–263.
13. Pustovit, S.V. (2009) *Global'naya bioetika: stanovlenie teorii i praktiki (filosofskiy analiz)* [Global bioethics: The formation of theory and practice (philosophical analysis)]. Kyiv: Arktur-A.
14. Yudin, B.G. (2016) Technoscience and “Human Enhancement”. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 2(48). pp. 18–27. (In Russian).
15. Beaglehole, R. et al. (2011) Priority actions for the non-communicable disease crisis. *The Lancet*. 377(9775). pp. 1438–1447. DOI: 10.1016/S0140-6736(11)60393-0
16. Kaufman, S.R., Shim, J.K. & Russ, A.J. (2004) Revisiting the biomedicalization of aging: Clinical trends and ethical challenges. *The Gerontologist*. 44(6). pp. 731–738. DOI: 10.1093/geront/44.6.731
17. Lederbogen, F. et al. (2011) City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans. *Nature*. 474(7352). pp. 498–501. DOI: 10.1038/nature10190
18. McEwen, B.S. (2012) Brain on stress: how the social environment gets under the skin. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 109(2). pp. 17180–17185. DOI: 10.1073/pnas.1121254109
19. Raman, S. & Tutton, R. (2010) Life, science, and biopower. *Science, Technology & Human Values*. 35(5). pp. 711–734. DOI: 10.1177/0162243909345838
20. Lupton, D. (2014) *Digital Sociology*. Routledge.

21. Rabinow, P. & Rose, N. (2006) Biopower today. *BioSocieties*. 1(2). pp. 195–217. DOI: 10.1017/S1745855206040014
22. Cheshko, V.F. & Glazko, V.I. (2009) *High Hume (biovlast' i biopolitika v obshchestve riska)* [High Hume (bioway and biopolitics in a risk society)]. Moscow: RGAU-MSKhA.
23. Khaitun, S.D. (2006) *Sotsium protiv cheloveka. Zakony sotsial'noy evolyutsii* [Social life versus man. Laws of social evolution]. Moscow: URSS.
24. Pickett, K.E. & Wilkinson, R.G. (2015) Income inequality and health: a causal review. *Social Science & Medicine*. 128. pp. 316–326. DOI: 10.1016/j.socscimed.2014.12.031
25. Lemke, T., Casper, M.J. & Moore, L.J. (2011) *Biopolitics: An advanced introduction*. New York University Press.
26. Lumann, N. (2001) *Vlast'* [Power]. Translated from German by Yu.A. Antonovsky. Moscow: Praxis.
27. Oleskin, A.V. (2007) *Biopolitika. Politicheskiy potentsial sovremennoy biologii: filosofskie, politologicheskie i prakticheskie aspekty* [Biopolitics. The political potential of modern biology: philosophical, political and practical aspects]. Moscow: Nauchnyy mir.
28. Hood, L. et al. (2004) Systems biology and new technologies enable predictive and preventative medicine. *Science*. 306(5696). pp. 640–643. DOI: 10.1126/science.1104635
29. Dedov, I.I., Tyulpakov, A.N., Chekhonin, V.P., Baklaushev, V.P., Archakov, A.I. & Moshkovskiy, S.A. (2012) Personalised medicine: state-of-the-art and prospects. *Vestnik Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk – Annals of the Russian Academy of Medical Sciences*. 67(12). pp. 4–12. (In Russian). DOI: 10.15690/vramn.v67i12.474
30. Marmot, M. (2015) *Status syndrome: How your place on the social gradient directly affects your health*. Bloomsbury Publishing PLC.
31. Engel, G.L. (1989) The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. *Holistic Medicine*. 4(1). pp. 37–53. DOI: 10.1126/science.847460
32. Rybin, V.A. (2010) Meditsina kak paradigma filosofskogo znaniya [Medicine as a paradigm of philosophical knowledge]. In: Liseev, I.K. (ed.) *Nauki o zhizni i sovremennaya filosofiya* [Life Sciences and Modern Philosophy]. Moscow: Kanon+. pp. 395–445.
33. Dowd, J.B. & Goldman, N. (2006) Do biomarkers of stress mediate the relation between socioeconomic status and health? *Journal of Epidemiology and Community Health*. 60(7). pp. 633–639. DOI: 10.1136/jech.2005.040816

УДК 177

DOI: 10.17223/1998863X/41/7

А.Г. Корсунский

СВОБОДА КАК ФИЛОСОФСКИЙ КОНЦЕПТ И КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Статья посвящена философскому исследованию концепта свободы. Проблематика статьи определена областью соприкосновения теоретических интерпретаций свободы с их практической политической реализацией. В первой части статьи кратко рассматриваются различные теоретические философские подходы к пониманию свободы, особое внимание уделено дискуссионным моментам. Основная часть статьи содержит анализ процесса перехода от интерпретаций к практическому использованию концепта свободы в политических течениях либерализма и неолиберализма.

Ключевые слова: свобода, либерализм, антиномии.

Введение

Политика в каждую минуту являет себя и как живая деятельность, и как историческая логика. Разнообразие взглядов, плюрализм мнений, всевозможные разногласия культур, традиций и, конечно, глобализация питают мысль и дух современных политических течений. Все это разнообразие, а также свойственные ему противоречия пронизывает концепт свободы. Философское осмысление свободы и ее проявлений в современном мире жизненно необходимо как политикам, так и социологам. И хотя философы ищут и находят опору в трудах своих знаменитых предшественников, зачатую наследуя неразрешенные вопросы и ход рассуждений, это не основной источник их идей. Философия со времен Гегеля акцентирует внимание на понятии предела / границы, всегда стремится помыслить свое иное, достигнуть «рефлексивного согласия со своим внешним» [1. С. 10]. Прежде всего философы изучают реальный мир, мир в котором живут. В фокусе их внимания политика, традиции, социальная организация, семья, структуры власти и т.д. Множество исследований подчинено цели найти идеи и ценности, которые должны лежать в основе этих институтов и практик. Поэтому, рассматривая концепт свободы, будем говорить о его проявлении в мире политических идей и идеологиях языком философии, а для анализа практической его реализации политическими институтами воспользуемся современными политическими теориями.

Переход от теоретического обоснования концепта свободы к его практическому воплощению, зазоры и разрывы, свойственные такому переходу, составляют основную проблематику статьи. Таким образом, аналитическая ситуация обуславливается соотношением сути свободы, ее интерпретаций, ее сплетений с политическими позициями и интересами.

Свобода и ее тень

На протяжении многих веков для философов и политиков предметом ожесточенных дискуссий и споров являлся концепт свободы. В настоящее время актуальность темы свободы подтверждается множеством исследований

и дихотомией взглядов на этот вопрос. Внимание направлено как на самый корень свободы – свободу воли, так и на различные ее проявления в социальных взаимодействиях. Нельзя не упомянуть о значительном вкладе в разработку этой проблематики, сделанном на международной конференции «Проблемы сознания и свободы воли в аналитической философии», а также на летней школе «Свобода воли и сознание», проведенной в Риге в 2016 г.

Свобода соотносится с объективной определенностью, является осознанным, рациональным обособлением. Современный смысл концепта «свобода» социальный, но одновременно он когерентен глубоко личному. Например, свободная реализация желаний и потребностей не является свободой, если эти желания и потребности сконструированы извне, так как в этом случае не предполагается равноправного диалога самости с социальным. Под маской желаний и потребности может скрываться выдрессированный рефлекс. Сартр в таком случае говорил о постоянном простом реагировании, замещающем свободное действие. Свобода предполагает осознанность действий и выбора. Однако такая осознанность иногда может быть просто иллюзией. Как доказывал М. Шелер в работе «Проблемы социологии знания», всякое знание носит социальный характер и предопределено существующей социальной средой [2]. Пред-данность всякому осознанию и знанию системы социальных идентификаций и классификаций ограничивает свободу принимаемого решения, но в самом процессе осознания формирование представлений, извлечение воспоминаний, связывание их с целями и устремлениями основываются на квантах свободы.

Чтобы рассуждать о пределах свободы, быть способным дать достаточно точное, адекватное описание, надо отстраниться от нее, находиться в ее ином. Свобода как идеал существует только в контексте определенных законов и несвобод. О свободе можно говорить как о способе человека «отбрасывать» от себя необходимости, представлять их перед собой, отделять их от себя. Этот непростой диалог с судьбой, с фатумом, с определяющими необходимостями, как правило, носит трагический характер. Жан-Поль Сартр писал: «Великая трагедия – трагедия Эсхила и Софокла, трагедия Корнеля – имеет в качестве исходной точки человеческую свободу. Эдип свободен, свободны также Антигона и Прометей. Фатализм, который обыкновенно находят в античных драмах, является всего лишь оборотной стороной свободы. Сами страсти суть свобода, попавшая в собственную ловушку» [3. С. 92]. Экзистенциалисты считают принимаемое индивидом решение действительно свободным, если оно вершится в предельных ситуациях, где исходом может быть смерть. Такие исключительные решения в предельной ситуации, иногда это решения принятые за нескольких мгновений, вопрошают само человеческое естество, призывают к ответу все ценности личности. Все, чем дорожит человек, разбросанное во времени и воспоминаниях, а также все противоречия его души сходятся в одном мгновении, мгновении, способном положить предел человеческому существованию. Это сближение свободы и судьбы, когда нить судьбы обрывается решением свободы и когда свободное решение становится судьбой.

Переходя от предельной ситуации для одного человека к предельным ситуациям для отдельных социальных групп или народа в целом, коснемся учения К. Шмитта и рассмотрим чрезвычайные ситуации. В этих ситуациях при-

вычный порядок жизни нарушен, некоторые нормы закона теряют свою силу, с другой стороны, появляются новые нормативные ограничения и требования, вызванные чрезвычайными условиями. Необходимым становится рассмотрение решения об исключении. Карл Шмитт так говорит об исключениях: «Решение об исключении есть именно решение в высшем смысле. Ибо всеобщая норма, как ее выражает нормально действующая формула права, никогда не может в полной мере уловить абсолютное исключение» [4. С. 15]. Тут мы подходим к вопросу практической реализации свободы.

Свобода не является всего лишь представлением и содержит в себе зачастую не одни только негативные смыслы разрыва. Свободу деятельности можно ощущать и как реальную власть. Например, Джон Дьюи требование свободы понимает как требование власти [5]. Свобода дается под залог власти, власть дается под залог свободы.

Свобода связана с осознанностью, рациональностью, предполагает рефлексивное знание, способность действовать, изменять и влиять. Однако если говорить о свободе и осознанности действий, из теории игр известно, что последовательность рациональных действий может дать иррациональный результат. Свободны ли мы, когда приходим к случайному, неожиданному результату? Свободен ли был Эдип? Рациональность и «свобода» его поступков в будущем раскрывается как иррациональность и предначертанность.

Одним из подходов к исследованию свободы является изучение динамической связи между мотивацией и интенциональностью. Здесь надо рассмотреть различные уровни мотивации, необходимо понимать, насколько глубоко затрагивается личность, изучить корреляцию с интенциональностью. Анализ мотивации и интенциональности уже был затронут Э. Гидденсом, при этом необходимо учитывать «нерефлексивный цикл обратной связи», «причинно-следственные петли» [6. С. 54].

Говоря о связи мотивации, свободы и интенциональности, необходимо уделить внимание различным эксцессам. Возможна как осознанная отрешенность, например у Арто: «Жизнь создаст саму себя, события произойдут, духовные конфликты разрешатся – я не приму в этом участия» [7. С. 9], так и мнимая заинтересованность, поверхностная погруженность в жизнь и, следовательно, такая же поверхностная свобода выбора, о такой мотивации Ницше напишет: «...интересы есть – но как бы не глубже эпидермы; глубокая холодность, безразличие, постоянно пониженная температура сразу же под тонкою поверхностью, на которой – теплота, оживление, «буря», игра волн» [8. Т. 12. С. 420].

Мысля свободу как таковую, определяя, признавая ее, тут же и упускают ее, замыкая ее горизонты, теряют ее сущность в частном. Понятие свободы присваивают, нормализуют, располагают им в соответствии с собственным, сформированным и определенным. Понятием «свобода» пользуются как карманом: в него вкладывают и достают различные смыслы. Однако можно определенно сказать, что концепт свободы неразрывно связан с методами, с помощью которых эту свободу планируют достичь. На практике средства, которые используют в борьбе за свободу, незаметно трансформируют саму концепцию свободы, изменяя комплект смыслов в концепте «свобода». Речь о том, что, выступая за свободу как идеал, пользуются методами подавления свободы как средством для достижения этого идеала. Свобод, сведенная до

простого лозунга, свобода, используемая только как призыв, свобода, превращенная в миф, все чаще и чаще используется в политической практике.

Запутанный путь свободы

Концепт свободы стал политическим вопросом для философов и философской проблемой для политиков. Говоря о свободе, мы неизбежно затрагиваем и политику и философию. Говоря о свободе, с необходимостью говорим и о ее жизненном пути – политической реализации концепта свободы в наше время и в нашем обществе. Интерес вызывают философские основания процесса конструирования проблематики свободы, а также факторы, обуславливающие вектор и специфику различных интерпретационных моделей концепта свободы для различных политических движений.

Опыт реализации концепта свободы в политической сфере демонстрирует нам множество противоречий. Одной из причин является антиномия идеи свободы, порождаемая ее интерпретациями в рамках обыденной практики. Кант говорил об «антиномии» в том случае, когда разум, основываясь на чувственном опыте, выносит суждения о «вещи в себе», когда он идею абсолютного рассматривает как обычное явление. В таких суждениях разум приходит к противоречиям, логически обосновывая как тезис, так и антитезис. Следуя логике Канта, низведение идеи абсолютной свободы к практике обыденных ситуаций является источником противоречивых пониманий свободы, а также внутренне логичных, но разнополярных теорий. Теоретические тонкости концепта свободы становятся излишними в стремительных потоках политической жизни, проблема свободы по необходимости упрощается и подводится под рамки субъективных предпосылок. Переходя к практике, переходим и к контекстной обусловленности абстракции свободы. Нередко о свободе говорят как о политическом инструменте, а не как о проблеме для каждой личности. Что же касается личности, то многие декларируют свою свободу, при этом находясь в состоянии тотальной неопределенности, не осознавая своего истинного общественного положения и социальной роли, зачастую будучи идеологически окрашенными.

В практической политике либерализм провозгласил своей целью воплотить в жизнь идеал свободы. Приоритет индивидуальных прав и свобод, минимальное влияние государства на частную жизнь стали лозунгами либеральных партий. Теоретики либерализма призывали держать критическую дистанцию от навязываемых общественных норм и социальных ролей, бросать вызов предписываемым индивидуальным и групповым отождествлениям. Однако как и всякий идеал, идеал свободы «предполагает любовь и ненависть, почтение и презрение» [8. Т. 12. С. 415]. Попытки политиков-идеалистов сделать из жизни земной рай нередко превращали ее в ад для простого обывателя. Идеал свободы отразился во множестве своеобразных интерпретаций, которые были зачастую противоположны, а их создатели противововлеченными, находясь в различных складках социального бытия.

Внутри либерального движения существуют различные взгляды на роль государства и оправданности использования методологического индивидуализма. В этом отношении классическому либерализму, теориям Хайека и М. Фридмана противостоит социальный либерализм Джона Дьюи и Мортимера Адлера. Эти два направления имеют принципиально несовместимые

позиции в вопросе социальных асимметрий. Теоретики классического либерализма отстаивают принцип невмешательства государства, принцип саморегуляции рыночной системы. Экономическая свобода, по их мнению, должна обеспечить социальное равновесие. Сторонники социального либерализма доказывают невозможность свободы в условиях сильных социальных асимметрий. По их мнению, тот, кто обладает изначальным превосходством в экономических и социальных ресурсах, обладает и большей властью и большей свободой, а тот, кто не располагает экономическими ресурсами, не обладает никакой властью, свободен лишь в своей беспомощности и бессилии.

Получив огромную поддержку по всему миру, благодаря позиционированию себя как противника тоталитарных режимов, продвижению демократических принципов, расширению прав и свобод либерализм не избежал и определенной критики. Критика обвиняла либерализм в реализации концепта негативной свободы. Теоретически такая критика подкреплялась использованием тезисов Ф. Ницше, С. Амартия, П. Рикёра. В философии этих мыслителей свобода обретала позитивный, созидательный смысл. Рикёр понимал свободу как возможность, закрепленную в правовой системе, для реализации лучшего человеческого потенциала, видел в концепте свободы путь к раскрытию индивидуальных способностей, которые будут востребованы обществом [9].

В настоящее время либерализм передал эстафету неолиберализму. Хотя неолиберальные программы успешно реализовывались еще при Рейгане и Тэтчер, повсеместное распространение они получили только в последние десятилетия. Неолиберализм имеет ряд существенных отличий от либерализма, на них в основном и сфокусирована современная критика. Например, Хомский, комментируя «неолиберальный сдвиг», акцентирует внимание политиков на том, что при господстве такой модели решения принимает не общество, а рынок; неолиберализму вменяется в вину снижение роли общественных институтов, разрушение социальной солидарности, способствование чрезмерному увеличению влияния финансовых институтов, а также «тирания частного и корпоративного секторов» [10]. Критики неолиберализма фокусируют внимание на асимметрии «экономических свобод», без которых социальные, политические свободы мало чего стоят. Ведь уже при Тэтчер началась борьба с профсоюзами, а также любыми другими формами солидарности, продвигалось утверждение, что «общества не существует», а есть лишь отдельные индивиды. При Тэтчер индивидуализм получал всяческую поддержку, а социальная солидарность подвергалась критике. Однако учения о саморегуляции рынка, рыночном равновесии, свободной конкуренции имеют множество противников.

Современная практика неолиберализма значительно расходится с теорией его первых основателей. Свободная конкуренция в обществе радикальных экономических и социальных асимметрий, где монополии через непрямые финансовые методы, непрозрачные схемы, офшоры, лобби способны достигать своих целей, остается иллюзорным идеалом. Хайек много написал о «топорных методах» государственного планирования, но при отсутствии приемлемых общественных механизмов контроля свободная конкуренция быстро лишится своей свободы. В сущности, Хайек, критикуя планирование и централизованное управление, выступая под лозунгами свободы и индивиду-

лизма, хотел бы максимально затруднить возможность осуществления целенаправленного государственного вмешательства в существующую систему общественных отношений, направленного на внесение радикальных изменений, в том числе реализацию политической воли национального государства, имеющую целью сглаживание социальных противоречий и асимметрий. Таким образом, требование свободы в данном случае звучит как требование невмешательства, требование сохранения существующей социальной иерархии. И, как мы видим, методы неолиберализма направлены на воспроизводство условий его воспроизводства.

Свобода всегда предполагает выбор, возможность нового начинания и нового пути. Есть ли этот выбор сейчас?

Литература

1. Деррида Ж. Поля философии / пер. с фр. Д.Ю. Кралечкина. М.: Академический Проект, 2012.
2. Шелер М. Проблемы социологии знания / пер. с нем. А.Н. Малинкина. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2011.
3. Саптр Ж.-П. К театру ситуаций // Как всегда – об авангарде: антология французского театрального авангарда. М.: ТПФ «Союзтеатр», 1992.
4. Шmitt К. Политическая теология / пер. с нем. А. Филипповой. М.: Канон-пресс-Ц, 2000.
5. Dewey J. Freedom and Culture. New York: Prometheus Books, 1989.
6. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структуризации / пер. с англ. И. Тюриной. М.: Академический Проект, 2005.
7. Арто А. Фрагменты дневника ада // Новое литературное обозрение. 2011. № 107. С. 95–97.
8. Ницше Ф. Черновики и наброски 1885–1887 гг. // Соч.: в 13 т. М., 2005. Т. 12.
9. Рикёр П. Путь признания: Три очерка / пер. с фр. И.И. Блауберга, И.С. Вдовиной. М.: РОССПЭН, 2010.
10. Chomsky N. Detering Democracy Copyright. New York: Verso Books, 1992.

Korsunskiy Andrey G. Humanities and Education Science Academy of Vernadsky Crimean Federal University (Yalta, Russian Federation)

E-mail: 8equinox4@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/41/7

FREEDOM AS A PHILOSOPHICAL CONCEPT AND POLITICAL PRACTICE

Keywords: freedom, liberalism, antinomies.

The article combines theoretical studies of the concept of freedom, the history of thought, and the study of the history of political activity aimed at the embodiment of the ideal of freedom. Relationship of the history of thought with the history of liberal and neoliberal practices determines the problem field of the article. The article aimed at problematic, debatable moments of understanding the idea of freedom, as well as difficulties and distortions of implementation practical politics. The personal aspect of the concept of freedom and its social meaning considered in the theoretical part of the article. Essential characteristics of freedom studied through analyzed its relationship with awareness and rationality. The problem of the choice, constructed from the outside of desires, raised in this work. The problem of predetermined solutions of the personality by the social environment, designated by M. Scheler, analyzed in the first part of the article. The study of the existentialists' approach to understanding human freedom in extreme situations and its relation to the fate complements the analysis and gives a holistic view of the theoretical development of the concept of freedom. The scientific novelty of the research is the disclosure of various essential understandings of the idea of freedom and its dynamic connection with political practice, which determines the various interpretational modes of the concept of freedom. The factor of contextual conditioning of the understanding of freedom investigated turning from the consideration of the interpretive modes to the consideration of the political realization of the concept of freedom and concrete situational conditions in the second section of the article. The article shows the following contradiction expressed in opposite understanding of freedom

of various political movements, as well as the heterogeneity of positions and the inability to achieve a common understanding within the liberal movement. In addition, the article describes political intervention in the field of theory, as well as philosophical concepts and meanings adapt to justify political expediency.

References

1. Derrida, J. (2012) *Polya filosofii* [Margins of Philosophy]. Translated from French by D.Yu. Kravchuk. Moscow: Akademicheskii Proekt.
2. Sheler, M. (2011) *Problemy sotsiologii znaniya* [Problems of the Sociology of Knowledge]. Translated from German by A.N. Malinkin. Moscow: Institut obshchegumanitarnykh issledovaniy.
3. Sartr, J.-P. (1992) K teatru situatsiy [To the theater of situations]. In: Isaev, S. (ed.) *Kak vseгда – ob avangarde* [On the avant-garde as usual]. Moscow: Soyuzteatr.
4. Shmitt, K. (2000) *Politicheskaya teologiya* [Political Theology]. Translated from German by A. Filippova. Moscow: Kanon-press-Ts.
5. Dewey, J. (1989) *Freedom and Culture*. New York: Prometheus Books.
6. Giddens, E. (2005) *Ustroenie obshchestva: ocherk teorii strukturatsii* [Ordering of society Outline of the theory of structuration]. Translated from English by I. Tyurina. Moscow: Akademicheskii Proekt.
7. Artaud, A. (2011) *Fragmenty dnevnika ada* [Fragments of a Diary from Hell]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 107. pp. 95–97.
8. Nicshe, F. (2005) *Sochineniya: v 13 t.* [Works. In 13 vols]. Vol. 12. Translated from German. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya.
9. Ricœur, P. (2010) *Put' priznaniya. Tri ocherka* [The way of recognition. Three essays]. Translated from French by I.I. Blauberg, I.S. Vdovinay. Moscow: ROSSPEN.
10. Chomsky, N. (1992) *Deterring Democracy Copyright*. New York: Verso Books.

УДК 316.4.063.2 +316.4.063.3
DOI: 10.17223/1998863X/41/8

С.Ю. Полянкина

СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРЕШЕНИЮ КЛЮЧЕВЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Семиотика образования (edusemiotics) – относительно новая отрасль философии образования, обладающая, на взгляд автора, потенциалом для переосмысления и разрешения противоречий, накопившихся в системе современного российского образования. В статье выявлены острые противоречия на различных уровнях системы образования (уровне содержания образования, уровне организации образовательного процесса, институциональном и глобальном уровнях), вызванные дисбалансом процессов интеграции и дифференциации в образовании. С позиций семиотики образования предпринята попытка их философского осмысления. Предлагаются и обсуждаются варианты разрешения данных противоречий.

Ключевые слова: семиотика образования, знак, система образования, интеграция, дифференциация, интерпретация.

Современная система отечественного образования, пребывая в состоянии перманентного реформирования, продолжает оставаться объектом критики со стороны как субъектов процесса образования (родителей, студентов и профессорско-преподавательского состава), так и работодателей, о чем свидетельствуют официальные данные социологических опросов населения [1], материалы исследования индивидуальных траекторий выпускников системы ВО [2], а также контент-анализ публикаций в интернет-журналах (таких как «Мел», “New2New”, «Теории и практики»), постов на тематических форумах и соцсетях и результаты анонимного опроса коллег автором данной статьи.

Представляется, что непоследовательность реформ и качество их реализации по большому счету зависят от преобладающей в экспертном сообществе так называемой «большой метафоры» образования [2]. Авторы данного термина социологи Д.Л. Константиновский, В.С. Вахштайн и Д.Ю. Куракин выделяют две господствующие среди исследователей системы отечественного образования метафоры. Первая из них, органическая, понимает общество в качестве «единого организма», а систему образования в русле функционалистской логики считает инструментом социогенеза и социальной селекции и воспроизводит иерархичную структуру социума. Данная метафора основывается на социально-функциональном подходе к сущности образования, с точки зрения которого оно является одной из социальных практик наряду с идеологией, политикой, искусством, наукой и т.д., в рамках которых человеку вменяются определенные социальные представления. Соответственно, именно выполнение социального заказа и удовлетворение запросов общества играют ведущую роль при оценке качества образования в свете этой метафоры. Согласно второй метафоре «обмена», или «потребительского запроса», ключевыми категориями экономцентричной логики являются коммодификация (т.е. образование рассматривается как продукт и товар), экономическая эффективность, а во главе угла при оценке качества образования стоит

удовлетворенность потребителя «образовательной услуги». Обе метафоры неизбежно используют количественные показатели при оценке качества работы системы и ее субъектов, фокусируя внимание на результате. При этом, исходя из примата результата над процессом, невозможно непротиворечивое определение коррелята образованности в условиях присутствия в данном поле большого числа акторов с совершенно разными потребностями и целями. Автор настаивает на поиске новой, отличной от господствующих, метафоре образования, положенной в основу образовательной политики Российской Федерации.

Необходимо оговориться, что рассуждение о метафорах, лежащих в основе отношения к системе образования и ее исследованию, возможно в русле семиотического подхода, семиотики образования. Это относительно новая междисциплинарная отрасль философии образования, берущая начало в западной философской мысли в начале 2000-х гг., получившая свое название (*edusemiotics*) благодаря Марселю Данези в 2010 г. и оформившаяся в самостоятельную область исследования в 2016–2017 гг. [3]. В отечественном дискурсе философии образования эта дисциплина еще не обрела собственный голос, и число публикаций, посвященных кругу ее проблем, невелико.

Семиотика образования, согласно Дж. Дили и И. Семетски, исходит из следующих принципов:

- примат процесса образования над результатом;
- отвержение принципа непротиворечивости и логики «исключенной середины» (т.е. прямой передачи знаний или навыков от преподавателя обучающемуся, минуя стадию их интерпретации);
- холистический подход к образованию и этика интеграции;
- непрерывность и эмпирический характер образования [4].

Руководствуясь данными принципами, семиотика образования противопоставляет картезианскому дуализму субъекта и объекта, лабиринтам аналитической философии и объективному методу эпохи модерна, отвергающему человеческую субъективность, как единственному основанию исследования образования [Там же]. Образование, с позиций семиотики, – это процесс интенсивного взаимодействия со знаками, наполняющими человеческую жизнь, и овладение ими. Такая трактовка стирает границу между формальным образованием и аккультурацией. Данный процесс подразумевает трансформацию привычного мышления и образа действий. Обучающиеся находят смысл и значение знаков, а педагоги несут ответственность за создание насыщенной знаковой среды. С точки зрения семиотики, все является знаком, но ничто не может выступать в роли знака до тех пор, пока не подвергнется интерпретации. Люди также являются как знаками среди других знаков, так и интерпретаторами знаков, вовлеченными в непрерывный процесс придания значения, или семиозис, поскольку они заняты поиском или приданием смысла своей собственной жизни [3].

В статье представлена авторская попытка осмысления острых противоречий на различных уровнях системы образования с позиции семиотики образования и предложены пути их разрешения. Исследование процессов интеграции и дифференциации в системе образования России позволило обнаружить противоречия, вызванные дисбалансом этих процессов, на четырех уровнях образовательной системы, начиная с определения содержания обра-

зования, учитывая методы и формы организации процесса образования в различных образовательных учреждениях с выходом на глобальный наднациональный уровень [5].

На уровне *содержания образования* конфликт между дифференциацией и интеграцией выражен во фрагментации знания, с одной стороны, и объективной необходимостью формирования целостного мировоззрения личности – с другой.

Наблюдается постоянное внедрение новых учебных курсов в среднем общем образовании, большая часть которых оценивается школьниками и их родителями как заведомо бесполезные, поскольку не потребуются для поступления в вуз. В системе же высшего образования фрагментация проявляет себя в огромном перечне компетенций (общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных), уровень сформированности которых лежит в основе оценки образованности выпускника высшей школы. К примеру, автора привела в недоумение следующая формулировка в определении общепрофессиональной компетенции ОПК.18 из Федерального государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата): «...способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками *экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем)*» (курсив наш. – С.П.) [6. С. 9]. То есть экзистенциальная компетенция сводится к способности ориентироваться на рынке труда и заполнить рабочее место!

При подобном дроблении процесс получения образования можно сравнить с конструктором «Лего»: мировоззрение и кругозор будущего профессионала складываются на этапе среднего общего образования из предметных блоков Единого государственного экзамена, а в высшем учебном заведении – из понятных только разработчикам ФГОС компетенций, минуя формирование целостной картины мира. Такая избирательность отмечена исключительным прагматизмом и лишает обучающегося необходимой для обучения мотивации – элементарного любопытства. Об этом пишет Альберто Мангель в трактате о любопытстве «*Curiositas*»: «Мало заинтересованные в чем-либо, кроме эффективности производства и финансовой прибыли, наши образовательные учреждения больше не учат думать ради самого мыслительного процесса и свободы фантазии. Из форумов, где задают вопросы и дискутируют, школы и колледжи превратились в тренировочные лагеря, где прививают нужные навыки; колледжи и университеты перестали быть оранжереями для тех пытливых умов, которые Фрэнсис Бэкон в XVI в. называл «светочами». Мы учимся задавать вопросы «сколько это будет стоить?» и «сколько это займет времени?» вместо того, чтобы спросить «почему?»» [7. С. 10–11]. Тем временем, согласно воззрениям семиотики образования, данный подход к образованию недопустим. Семиотика образования всю жизнь видит своеобразной школой, раздвигая таким образом границы стен учебных заведений, в которых проходит формальное образование. Человек неизбежно вовлечен в процесс создания и интерпретации знаков, и любопытство – важнейшее условие этой деятельности.

Если мы хотим избавиться от экономцентричной логики в образовании и его коммодификации, более продуктивно рассматривать учебные заведения, как это делает Стефан Коллини в работе «Зачем нужны университеты?», сравнивая их с музеями и картинными галереями, поскольку их главная функция – расширение и пересмотр границ познания, сохранение культурной памяти и ее передача следующим поколениям. Овладение же компетенциями, удовлетворение образовательных запросов граждан и рост общественного благосостояния могут быть в лучшем случае приятным побочным продуктом их деятельности. Университеты, по его глубокому убеждению, были и должны оставаться общественным благом, которое нужно рассматривать в категориях культурной памяти и нескончаемого познавательного процесса [8]. Так же в русле семиотического подхода: образование – это модус бытия и ценность, без которой невозможно формирование цельной личности.

В системе образования как *общественном институте* дискретность уровневой подготовки вступает в конфликт с континуальностью непрерывного образования в обществе знаний. Институциональная дифференциация подразумевает создание различных типов учебных заведений: государственных и частных; традиционных и авторских; светских и религиозных; дошкольных, общеобразовательных и специализированных школ, лицеев, гимназий, колледжей, ссузов, вузов, институтов повышения квалификации и учреждений дополнительного образования и т.п. При этом нельзя не отметить возникновение образовательных структур совершенно новых типов: университетских комплексов, ресурсных центров, комплексов открытого и дистанционного обучения и т.д. Однако при наличии огромного числа осуществляющих образовательную деятельность организаций обучающиеся зачастую ощущают отсутствие преемственности между уровнями образования, отчужденность образовательных учреждений от учреждений культуры и науки, а также слабую связь высших учебных заведений с работодателями. В таком случае образование становится дискретным, заканчивающимся за стенами учебных заведений после получения диплома бакалавра, специалиста или магистра.

Жизненной же необходимостью в современном мире является способность индивида к непрерывному образованию и самообразованию. Роль образовательных институтов заключается в обеспечении континуальности данного процесса, предоставлении дидактической и методологической поддержки, ресурсов и воспитания навыков самообразования и мотивации к образованию на протяжении всей жизни уже в начальной школе.

Поэтому на фоне обширной институциональной дифференциации потребность в непрерывном образовании для общества знаний требует создания единого образовательного пространства, предлагающего образовательные возможности и удовлетворяющего образовательные потребности граждан разного возраста и профессий. В последние годы институциональная интеграция в образовании наблюдается как внутри системы (возникновение образовательных комплексов, нарастание сетевого взаимодействия), так и на уровне межсистемной интеграции (региональные образовательные кластеры).

Сетевая организация образовательного пространства и создание интегративных региональных образовательных кластеров способны разрешить противоречие между интегративно-целостной сущностью человека как субъекта

непрерывного образования и дискретной уровневой организации обучения и воспитания вследствие многообразия государственных и частных образовательных учреждений начального, среднего (полного), среднего и высшего профессионального и дополнительного образования, с одной стороны, и их слабой согласованностью в создании пространства непрерывного образования и с институтами науки, культуры, а также работодателями для обеспечения рынка труда востребованными специалистами в необходимых количествах – с другой.

Такое решение отвечает воззрениям семиотики образования, считающей, что все институты, так или иначе, причастны к процессу образования. В свете этой сентенции интересна метафора, которую при поиске коррелята образованности предлагают Д.Л. Константиновский, В.С. Вахштайн и Д.Ю. Куракин. «Образованность сродни владению языком: от самых простейших операций освоения новых практических навыков до базовых метафор и способов представления мира. Как и язык, образование являет собой фундаментальный ресурс воображения. Им определяется то, что может быть представлено, увидено, выражено и в конечном счете помыслено людьми, говорящими на данном конкретном языке. У образования есть своя лексика и своя прагматика; есть свои правила, следование которым позволяет говорить на одном языке; своя внутренняя логика, предписывающая способы понимания мира» [2. С. 218]. Они же считают возможным уподобить профессиональное образование профессиональному диалекту, а широкообразованных людей – «переводчикам» с одного профессионального языка на другой. Именно языковыми авторы считают трудности перевода дискурса об образовании-процессе на язык образования-результата, что влечет за собой трудности оценки его качества. Таким образом, все институты дошкольного, среднего общего, профессионального и высшего образования, а также дополнительного образования выступают в роли своеобразных «языковых» школ разных уровней, углубляющих или расширяющих познание обучающихся, вовлеченных в процесс семиозиса.

И наконец, на *глобальном уровне* стремление к сохранению самобытности отечественных образовательных традиций противостоит объективным тенденциям интернационализации высшего образования по западному образцу.

Полагаем, что, структурируя и оценивая отечественную систему образования по зарубежным меркам, можно получить только разочаровывающие результаты, поскольку любые некультуросообразные новации либо не приживаются, либо соблюдаются формально, либо адаптируются до неузнаваемости и не приводят к желаемому результату. В частности, формальностью и фикцией во многих вузах остается выбор элективных дисциплин для студентов бакалавриата и магистратуры, существующий только на бумаге. Примером искаженной адаптации новшеств служит отношение к двухуровневой системе «бакалавриат – магистратура» со стороны работодателей, выпускающей на первой ступени, по их мнению, недоучек, хотя, фактически, научный уклон магистратуры требуется далеко не для всех должностей на рынке труда. Академическая же мобильность, ставшая возможной в процессе стандартизации квалификаций на территории стран-участниц Болонского соглашения, вместо возможности знакомства с достижениями иностранных систем образования и опытом проживания за границей является новым каналом «утечки» специалистов за рубеж. Очевидно, что переход с логически выстро-

енной и отлаженной системы советского образования отмечен конфликтом не только системным, но и конфликтом базовых ценностей, заложенных в основе отечественной и западной образовательных систем.

Образование в контексте Болонского процесса утрачивает статус ценности и становится средством смены постоянного места жительства для отдельных граждан и соответствия неким европейским стандартам для государства. В реальной же практике интеграция образовательного пространства должна проводиться на принципах взаимопроникновения, взаимообогащения научно-образовательной деятельности в международном контексте в целях наиболее полного удовлетворения потребностей как общества, так и личности.

Согласно законам теории систем глобализация неизбежно вызывает обратную реакцию локализации. В системе отечественного общего образования локализация проявляется в этнопедагогическом неотрадиционализме. Под ним понимают социализацию личности обучающегося на основе традиционных ценностей в системе образования во имя сохранения этнической идентичности, фундирование этнической солидарности и при этом адаптации к модернизационным процессам. Этнопедагогический неотрадиционализм проявляется, скажем, во включении в учебную программу средних учебных заведений модуля «Основы православной культуры» и других модулей в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики», а также в разработке и реализации региональных образовательных программ разного уровня с учетом региональных, социально-экономических, экологических, национальных, культурных, демографических и иных особенностей краев, областей и республик Российской Федерации.

Убеждены, что локализация должна проявляться и в системе высшего образования, так как процесс семиозиса на данном этапе проходит более сознательно с активным вовлечением аксиологической сферы личности. Более того, семиотика образования как раз исходит из того, что реальность образования – специфическая область человеческого существования и часть тотальности всех его исторически-культурных условий [3].

Яни Куккола и Йету Пиккарайнен предлагают выделить три уровня образования, которые индивид проходит последовательно:

1) прагматический (происходит овладение базовыми компетенциями, умениями принятия решений, следования нормам, инструкциям и т.п.);

2) социальный (на первый план выходят коммуникативная и общекультурные компетенции, овладение языком, освоение социально-ролевого репертуара, понимание отношений власти);

3) и экзистенциальный (человек выстраивает иерархию ценностей и обретает свободу мысли и действия) [Там же].

Следуя их модели, можно сказать, что первый уровень образования является в большой степени интернациональным и унифицированным, в то время как второй уровень целиком и полностью зависит от культуры того общества, в контексте которого происходит образовательный процесс. На третьем же уровне, как нам представляется, возможна интеграция мирового опыта благодаря семиотическому свойству языка в индивидуальном высказывании передать общечеловеческий смысл благодаря диалектическому единству внутреннего мира человека и внешнего мира. В процессе семиозиса, а значит и

образования, и прокладывается тот семиотический мост между универсальным и партикулярным.

В заключение повторимся, что при формировании или выборе большой метафоры образования для формирования образовательной политики государства и проведения оценки его качества необходимо:

- 1) рассматривать образование как ценность, процесс и результат;
- 2) применять холистичный, интегративный подход к определению результата образования;
- 3) не оставлять без внимания ни один из уровней образования: прагматический, социальный и экзистенциальный;
- 4) учитывать культуросообразность образования.

Семиотика образования учитывает все вышеозначенные факторы и, на наш взгляд, обладает высоким потенциалом для оформления новой метафоры отечественного образования во имя разрешения накопившихся противоречий.

Литература

1. Система образования в России: 1991–2016 [Электронный ресурс]. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115556> (дата обращения: 01.10.17).
2. Константиновский Д.Л., Вахштайн В.С., Куракин Д.Ю. Реальность образования: Социологическое исследование: от метафоры к интерпретации. М.: ЦСП и М, 2013. 224 с.
3. *Edusemiotics – a Handbook* / ed. by Inna Semetsky. Singapore: Springer, 2017. 312 p.
4. Deely J., Semetsky I. Semiotics, edusemiotics and the culture of education, *Educational Philosophy and Theory*, 2016. DOI: 10.1080/00131857.2016.1190265
5. Полянкина С.Ю. Общее проблемное содержание процессов интеграции и дифференциации в системе отечественного образования // *Философия образования*. 2017. № 1 (70). С. 29–40.
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 940 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33786).
7. Мангель А. *Curiositas. Любопытство* / пер. с англ. А. Захаревич. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2017. 472 с.
8. Коллини С. *Зачем нужны университеты?* / пер. с англ. Д. Кралечкина. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 264 с.

Polyankina Sophia Yu. Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: zmeykasofi@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/8

SEMIOTIC APPROACH TO DEALING WITH THE KEY CONTRADICTIONS OF THE MODERN SYSTEM OF EDUCATION

Key words: edusemiotics, sign, system of education, integration, differentiation, interpretation.

The author believes that there are contradictions in the education system due to the incongruity of the “big metaphor” of education, through the prism of which it is thought of by the representatives of state power and the majority of the researchers, and the real mission of education in the modern context. Edusemiotics is a relatively new branch of the philosophy of education, which, in the author's view, has the potential for rethinking and resolving the contradictions that have accumulated in the system of modern Russian education. Having been established as a separate branch of the philosophy of education in the United States in 2010–2016, the semiotics of education is called upon to resist the Cartesian dualism of the subject and object, the labyrinths of analytical philosophy and the objective method of the modern era, which rejects human subjectivity as the only basis for the study of education. The author considers the principles of the edusemiotics to be topical at present: the primacy of the process of education over the result, the rejection of the principle of consistency and the logic of the

“excluded middle” (i.e. the direct transfer of knowledge or skills from the teacher to the student, bypassing the stage of their interpretation), the holistic approach to education and the ethics of integration, continuity and experimental character of education. The article discusses the sharp contradictions revealed by the author at various levels of the education system (the level of the content of education, institutional and global levels) caused by the imbalance of the processes of integration and differentiation in education. At the level of the content of education, the conflict between differentiation and integration is expressed in the fragmentation of knowledge, on the one hand, and the objective necessity of forming an integral worldview of the individual on the other hand. In the educational system as a public institution, the discreteness of the level preparation comes into conflict with the continuity of continuous education in the knowledge society. And, finally, at the global level, the desire to preserve the identity of Russian educational traditions resists the objective tendencies of the internationalization of higher education according to the Western pattern. Then, from the standpoint of edusemiotics, an attempt is made to philosophize them. The author proposes and discusses options for resolving these contradictions. The author comes to the conclusion that the semiotics of education has the potential for formulating a new metaphor for education that views education as a value, process and result; applies to a holistic, integrative approach to determining the outcome of education; pays attention to all the levels of education: pragmatic, social and existential; and, finally, takes into account the cultural appropriateness of education.

References

1. Russian Public Opinion Research Centre. (n.d.) *Sistema obrazovaniya v Rossii: 1991–2016* [Education system in Russia: 1991–2016]. [Online] Available from: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115556>. (Accessed: 1st October 2017).
2. Konstantinovskiy, D.L., Vakhshayn, V.S. & Kurakin, D.Yu. (2013) *Real'nost' obrazovaniya. Sotsiologicheskoe issledovanie: ot metafory k interpretatsii* [The reality of education. Sociological research: from metaphor to interpretation]. Moscow: TsSP i M.
3. Semetsky, I. (ed.) (2017) *Edusemiotics – A Handbook*. Singapore: Springer.
4. Deely, J. & Semetsky, I. (2016) Semiotics, edusemiotics and the culture of education. *Educational Philosophy and Theory*. 49(3). DOI: 10.1080/00131857.2016.1190265
5. Polyankina, S.Yu. (2017) Obshchee problemnoe sodержanie protsessov integratsii i differentsiatsii v sisteme otechestvennogo obrazovaniya [General problem content of the processes of integration and differentiation in the system of national education]. *Filosofiya obrazovaniya*. 1(70). pp. 29–40.
6. Ministry of Education and Science of the Russian Federation. (2014) *Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii ot 7 avgusta 2014 g. № 940 Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 45.03.02 Lingvistika (uroven' bakalavriata) (zaregistririvan Ministerstvom yustitsii Rossiyskoy Federatsii 25 avgusta 2014 g., registratsion-nyy № 33786)* [Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of August 7, 2014 No. 940, On the approval of the federal state educational standard of higher education in 45.03.02 Linguistics (Bachelor's Level) (registered by the Ministry of Justice of the Russian Federation on August 25, 2014, registration No. 33786)].
7. Mangel, A. (2017) *Curiositas. Lyubopytstvo* [Curiositas. Curiosity]. Translated from English by A. Zakharevich. St. Petersburg: Ivan Limbakh.
8. Collin, S. (2016) *Zachem nuzhny universitety?* [Why do we need universities?] Translated from English by D. Kralachkin. Moscow: HSE.

УДК 141

DOI: 10.17223/1998863X/41/9

Е.Б. Хитрук

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ФИЛОСОФИИ

Исследуется специфика концептуализации категорий «мужское» и «женское» в современной философии, один из самых значимых способов самопрезентации человека в социуме. Делается вывод об уникальности сочетания в современности глубинных изменений в сфере общественной жизни и фундаментальных ментальных схем. Это сочетание обуславливает актуальность исследования трансформаций онтологического статуса категорий «мужское» и «женское» в контексте смены философских парадигм.

Ключевые слова: мужское, женское, гендерные исследования, постметафизическое мышление.

Сознание нашей эпохи стоит под знаком разоблачения и познания тайны пола в человеке. Его нельзя больше скрывать. Ужасом пола и энергией половой полярности поражено все существо человека, его мышление и его чувства, его творчество и его нравственное сознание не меньше, чем жизнь его организма.

Николай Бердяев

«Мужское» и «женское» представляют собой не только отвлеченные категории философской традиции, но и одни из самых значимых способов самопрезентации человека в социуме. От того, насколько ясно «считывается» пол человека, насколько четко обозначена и воспроизведена доминирующая схема полового различия в поведении, внешности, ментальных конструкциях, которыми оперирует индивид, напрямую зависит успешность его социализации, а следовательно, и субъективное восприятие собственного жизненного пути, ощущение социального благополучия и личного счастья.

Пересечение в проблематике «мужского» и «женского» предельных значений, традиционно соотносимых с фундаментальными бинарными оппозициями трансцендентного и имманентного, разумного и чувственного, душевного и телесного, активного и пассивного, с одной стороны, и практик повседневности, телесности, обыденного опыта – с другой, делает обращение к исследованию «полового вопроса» неизменно актуальным в любую историческую эпоху.

Современная социальная ситуация тем не менее демонстрирует совершенно особый контекст тематизации «мужского» и «женского». Начиная с середины XX в. общество претерпевает целый ряд значительных трансформаций, средоточием которых, без сомнения, становятся подвижность мужской и женской социальных ролей, плюрализация маскулинных и фемининных практик и эталонов поведения, глобальное изменение института семьи,

так называемая «сексуальная революция», декриминализация и депатологизация гомосексуальности и транссексуальности [1–5]. Указанные трансформации продуцируют непрерывающуюся полемику относительно положительного или отрицательного влияния происходящих изменений на так называемые «нравственные устои» общества, «традиционные семейные ценности» и даже на демографическую ситуацию [6–8]. Еще в 50-х гг. XX в. знаменитый российско-американский социолог Питирим Сорокин, встревоженный масштабом и последствиями «сексуальной революции», предлагал в целях недопущения социальной катастрофы прибегнуть к так называемой стратегии «десекуализации», которая могла бы остановить воздействие деструктивных «жучков-бурильщиков», разлагающих нравственные основы общественной системы. «Основное изменение нашей культурной и социальной вселенной, – писал П. Сорокин в работе «Американская сексуальная революция», – направленное на облагораживание сексуального порядка, заключается в существенной десекуализации наших изящных искусств, прессы, радио, телевидения, развлечений и спорта, нашей науки и философии, социальных и гуманитарных дисциплин, нашей этики и законодательства, экономики, политики, всего нашего образа жизни» [9. С. 142].

Однако последующие десятилетия ярко продемонстрировали, что происходящие социальные трансформации в области пола и сексуальных отношений связаны с более глубинными изменениями как самой общественной системы, так и фундаментальных ментальных конструкций, с помощью которых данные изменения могут быть концептуализированы. Этот настоящий «тектонический сдвиг» цивилизации оказался связан не только со страхами выхода из привычной статической сферы традиционных представлений о поле и половых отношениях, но и с «революционными» надеждами, для которых сексуальность «представляет собою потенциальную область свободы, незапятнанной пределами нынешней цивилизации» [10. С. 30]. С точки зрения английского социолога Энтони Гидденса, тот потенциал демократизации межличностных отношений, который несут в себе современные метаморфозы пола, интимности и сексуальности, способен «оказать разрушительное воздействие на современные институты как целое» [Там же. С. 32]. Очевидно при этом, что этот деструктивный потенциал уже не может подразумевать однозначно негативные коннотации, поскольку является следствием более фундаментальной деструкции всей традиционной системы социального устройства. Наиболее адекватным для описания современных социальных метаморфоз представляется термин известного британского социолога Зигмунта Баумана – «плавка твердых тел». Выстроенная в течение тысячелетий система социальных институтов «расплавляется» под воздействием невиданных ранее «импульсов освобождения». «Современная ситуация, – утверждает З. Бауман, – появилась из радикального таяния пут и кандалов, заслуженно или незаслуженно подозреваемых в ограничении индивидуальной свободы выбора и действий» [11. С. 11].

«Освобождение» пола тем не менее оставляет открытым вопрос о перспективах посттрадиционного общества, новизна которого продолжает одновременно и завораживать, и ужасать небывалым масштабом трансформаций, которые человечество просто не успевает осмыслить. По меткому выражению известного французского философа Жана Бодрийяра, «нет сегодня менее

надежной вещи, чем пол – при всей раскрепощенности сексуального дискурса» [12. С. 31]. Определенность классической модели половых различий сменяется «текучей» неопределенностью.

Однако в XXI в. неопределенность «преодоления», «плавления» и «освобождения» все больше вынуждена соприкасаться с реакционной повесткой дня [13. С. 854]. Религиозный фундаментализм и «неоконсервативный поворот» на мировой политической авансцене [14. С. 89; 15; 16] способствуют реанимации и ремифологизации «традиционных ценностей», представляя сложные культурные трансформации в контексте упрощенной этической дилеммы «целомудренного» прошлого и «развращенного» настоящего. В российском обществе «гендерная реакция» становится настоящим идеологическим флагом авторитарного политического режима. Как отмечает известный российский социолог Анна Тёмкина, «в современном российском обществе идеологические консервативные дискурсы продвигают понимание гендерных различий как природных и вечных. В условиях нехватки иных ресурсов и легитимности правил гегемонная маскулинность старается утвердить себя в дискурсе и практиках через гетеросексуальность и объективацию женщин, через гомофобию и призывы к традиционализации общества как к естественному порядку. Гендерный порядок и власть «натурализуются», пересекаясь с гражданством и национализмом, которые представляются вечными, неизменными, а потому «моральными» [17. С. 141].

Таким образом, тема пола становится настоящим «гордиевым узлом» современного общества, обозначающим границу и одновременно арену противоборства между классической бинарной моделью мира, социума и человека, с одной стороны, и неклассической тенденцией преодоления традиционной бинарной схемы – с другой. Как отмечал известный русский философ Сергей Булгаков, «болит древо жизни в сердцевине пола, и здесь нет вполне торжествующих победителей» [18. С. 260]. Отличие современной ситуации состоит в том, что «сердцевина пола» сегодня осознается не только в масштабе личной драмы отдельного человека, но и в масштабе общества в целом, более того, в масштабе судьбы западной цивилизации как таковой.

Социальные метаморфозы пола представляют собой один из самых острых вопросов современности. Однако их возникновение и распространение коррелирует в западноевропейской традиции с трансформацией самих способов концептуализации реальности, глубинных схем мышления. В целом эту трансформацию фундаментальных ментальных конструкций принято обозначать в современной философии термином «постметафизическое мышление» [19. С. 3; 20]. Основная черта данного типа мышления состоит в разработке различных стратегий преодоления традиционного философского стиля, базирующегося на эссенциализме и дуализме, оперирующего бинарными оппозициями. Как отмечает Евгений Борисов, «историческое самодистанцирование от классического наследия может рассматриваться как типологическая черта современной философии, позволяющая характеризовать ее как постметафизическую» [19. С. 3]. Одним из ключевых предметов критики для представителей постметафизического направления является дуалистический принцип выстраивания традиционной философской дискурсии, задающий ориентацию на трансцендентное в качестве фундаментального основания, так называемой, «насильственной иерархии» сущего [21. С. 7–8]. «Удвоение» реально-

сти, восходящее к философии знаменитого греческого идеалиста Платона и ставшее одной из самых значимых черт философии классического периода, представляется критикам как глубочайшее заблуждение, а базирующаяся на принципе «удвоения» бинаризация основных аспектов мира, общества и человека признается специфической «философской болезнью» [22. С. 158]. Как отмечает знаменитый французский философ Жиль Делез, «отравленный подарок платонизма заключается в том, что он ввел трансцендентность в философию, придал трансцендентности правдоподобный философский смысл...» [23. С. 184].

В целом «ниспровержение платонизма» раскрывается постмодерном не только как необходимость, назревшая в результате теоретического переосмысления основ западноевропейской метафизики, но и как данность, осуществляемая в современной действительности и требующая адекватной философской репрезентации. Особое значение в этом отношении имеют исследования Ж. Бодрийера, в которых человечество «постиндустриальной» эпохи рассматривается как общество, уже теряющее трансцендентность, где сама реальность представляет собой нагромождение самодостаточных, независимых от трансцендентных образцов симулякров, формирующих жизненную среду современного человека. По мысли Ж. Бодрийера, «территория больше не предшествует карте и не переживает ее. Отныне сама карта предшествует территории – процессия симулякров, – именно она порождает территорию» [12. С. 16].

Таким образом, современность представляет собой уникальное сочетание глубинных изменений в сфере общественной жизни, механизмов функционирования общественных институтов, с одной стороны, и фундаментальных ментальных схем – с другой. Дискурсивная подвижность, связанная с «плавлением» бинарного принципа дескрипции мира, социума и человека, оказывается созвучна изменению самой реальности, трансформации социального порядка. Особым образом это уникальное сочетание раскрывается относительно проблематики пола, которая, как было показано выше, представляет собой определенное средоточие метаморфоз. Очевидные и необратимые мутации в сфере семьи и половых отношений представляются случайными лишь в отрыве от контекста глубинных метаморфоз в способах концептуализации мира, социума и человека, а также тесно переплетающихся с ними изменений в способах тематизации категорий «мужское» и «женское». Исследование фундаментальных трансформаций онтологического статуса данных категорий в контексте смены философских парадигм способно прояснить принципиальное значение и основной смысл тех изменений в сфере пола и половых отношений, которые вызывают столько вопросов и тревог со стороны как просвещенных критиков, так и рядовых современников.

В соответствии с высказанными замечаниями необходимо обозначить две принципиальные философские установки, на которых, с точки зрения автора статьи, должно базироваться исследование категорий «мужское» и «женское» в современной философии.

1. Концептуализация пола в классической философской традиции не может быть признана корректной, поскольку основывается на дуалистических онтологических и антропологических предпосылках, а также содержит существенные внутренние противоречия. Невозможно создать дескриптивную

модель, адекватную многообразной, многоуровневой, динамичной современной реальности на основании бинарной теоретической схемы, поскольку анализируемые феномены будут подвергаться неизбежному распределению на доминирующие и доминируемые элементы согласно принципам выстраивания «насильственной иерархии». Бинарный принцип, «закрывающий в себе насилие» [24. С. 52], продуцирует механизмы маргинализации определенных социальных феноменов, что недопустимо в рамках исследования, претендующего на статус научного. Поэтому осмысление трансформации онтологического статуса категорий «мужское» и «женское» с необходимостью должно быть обращено к практикам и стратегиям дистанцирования от метафизического способа концептуализации пола и половых отношений. Происхождение бинаризма и степень его влияния не только на европейскую культуру, но и на человеческое мышление как таковое продолжают быть предметом полемики в научном сообществе. Как отмечает Анастасия Бакулина, «двоичность и попытки ее осмысления пронизывают всю историю человечества – от архаических культур до современной цивилизации, от бытового уровня до философских и религиозных систем» [25. С. 170]. Тем не менее преодоление бинарной структуры мышления вообще и относительно концептуализации таких социально значимых категорий, как «мужское» и «женское» в частности, безусловно, должно выступать важным принципом философского исследования.

2. Трансформация онтологического статуса категорий «мужское» и «женское» должна рассматриваться в тесной связи как с процессом дистанцирования от метафизического способа мышления, так и с процессом трансформации социальных практик в сфере пола и половых отношений. Преодоление бинарной и эссенциальной модели пола в современной философии и социальной теории не является случайным процессом, одним из множества альтернативных способов концептуализации половой дихотомии. Напротив, историчность классического типа рациональности, становящаяся все более очевидной с начала XX в., обнаруживает некую значимую корреляцию между способами концептуализации реальности и изменениями в рамках самой реальности. Классическая концепция пола выполняла определенную роль медиатора, транслирующего абстрактные постулаты дуалистической онтологической модели на социальные практики, бинаризируя допустимые социальные роли, формируя тела, «проговаривающие» две противоположные модели поведения. Как отмечает Пьер Бурдьё, «постепенная соматизация фундаментальных отношений, конституирующих социальный порядок, приводит к формированию двух типов «природы», т.е. двух систем натурализованных социальных различий, которые одновременно вписаны как в телесный экзис (в форме двух противоположных и взаимодополняющих типов поз, походки, осанки, жестов и тому подобное), так и в рассудок, воспринимающий все это сквозь серию дуалистических оппозиций» [26. С. 297]. Противопоставление и субординирование мужского и женского начал в телах и конфигурациях тел производило видимую и ощутимую демонстрацию абстрактных дуалистических предпосылок западной метафизики. Поэтому подвижность метафизической схемы исторически коррелирует с метаморфозами социальных практик пола, а следовательно, процесс трансформации онтологического статуса категорий «мужское» и «женское» должен быть

рассмотрен как необходимый элемент и дистанцирования от метафизики, и изменений в социуме. Другими словами, процесс денатурализации половых различий обозначает ослабление давления эссенциальной модели «мужского» и «женского» на социальные практики пола и вне данного контекста не может быть осмыслен.

Литература

1. Oláh L.S., Richter R., Kotowska I.E. The new roles of men and women and implications for families and societies. *Families and Societies*. 11(2014). 59 p. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2014/12/WP11OláhEtAl2014.pdf> (дата обращения: 23.01.18).
2. Климантова Г.И. Семья в системе социокультурных ценностей современной России // Материалы научно-практической конференции «Семья в системе ценностей поколений». М.: «Издательско-торговый Дом «ПЕРСПЕКТИВА», 2017. С. 5–8.
3. Lagree J.-C. Review essay: youth, families and global transformations. *Current sociology*. 2004. Vol. 52, № 1. Sage Publications. P. 103–110.
4. Попкова А.А. Трансформации семейных традиций в российских семьях XXI в. // Социальная безопасность и защита интересов семьи в условиях новой общественной реальности: сборник материалов 5-й Международной научно-практической конференции / под общ. ред. З.П. Замаараевой, М.И. Григорьевой. Пермь, 2013. С. 152–156.
5. Жамган Б.Э. Трансформация семейных ценностей в современной российской семье // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2015. № 2 (39). С. 95–99.
6. Попов Г.Н., Шевелёва Н.В. Семейные ценности современной молодежи (на примере студентов заочного отделения педагогического вуза) // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2017. № 4. С. 39–44.
7. Виноградова А.И., Петрова О.А. К вопросу о последствиях воздействия негативных факторов социокультурной среды на развитие духовности общества // Общество: Философия. История. Культура. Краснодар: Издательский дом «Хорс». 2016. № 8 С. 96–98.
8. Ефимов А.М. Влияние духовно-нравственного состояния общества на демографическую ситуацию // Инновационное развитие современной науки: сборник статей Международной научно-практической конференции: в 9 ч. / отв. ред. А.А. Сукиасян. Уфа: Башкирский государственный университет, 2014. С. 15–17.
9. Сорокин П.А. Американская сексуальная революция. М.: Проспект, 2006. 152 с.
10. Гидденс Э. Трансформация интимности. СПб.: Питер, 2004. 208 с.
11. Бауман З. Текущая современность / пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова. СПб.: Питер, 2008. 240 с.
12. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 387 с.
13. Connell R., Messerschmidt J.W. Hegemonic masculinity: rethinking the concept. *Gender and Society*. 2005. Vol. 19, № 6. P. 829–859.
14. Петелин Б.В. Политический консерватизм христианских демократов Германии в контексте европейских перемен XXI века // Исторические исследования. Журнал исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2016. № 5. С. 89–94.
15. Сургуладзе В.Ш. Дональд Трамп и ренессанс американского консерватизма // Международная жизнь. 2017. № 2. С. 73–86.
16. Япония: консервативный поворот: сб. ст. / отв. ред. Э.В. Молодякова, С.Б. Маркаръян. М.: АИРО-XXI, 2015. 279 с.
17. Темкина А. Коннелл Рэйвин. Гендер и власть: общество, личность и гендерная политика / авториз. пер. Т. Барчуновой; науч. ред. перевода И. Тартаковская, подготовка русской версии примечаний и библиографии О. Ечевской. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 432 с. // LABORATORIUM. Журнал социальных исследований. 2016. № 1. С. 137–142.
18. Булгаков С.Н. Свет Невечерний: Созерцания и умозрения. М.: Республика, 1994. 416 с.
19. Борисов Е.В. Основные черты постметафизической онтологии. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. 120 с.
20. Habermas J. Motive nachmetaphysischen Denkens // Habermas J. Nachmetaphysisches Denken. Frankfurt. M., 1988. P. 35–62.

21. Найман Е.А. Деконструктивная методология Ж. Деррида. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996. 100 с.
22. Делез Ж. Критика и клиника. СПб.: Machina, 2002. 240 с.
23. Делез Ж. Логика смысла. М.: Академия, 1995. 299 с.
24. Сербул А.А. «Смерть субъекта»: философско-культурологический анализ проблемы субъекта в постмодернистском дискурсе // Веснік Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. 2011. № 2. С. 51–56.
25. Бакулина А.В. Принцип двойности в природе и культуре // Вестник Вятского государственного университета. 2008. Т. 1, № 2. С. 170–172.
26. Бурдые П. Мужское господство // Бурдые П. Социальное пространство: поля и практики / пер. с фр.; отв. ред. перевода, сост. и послесл. Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. С. 286–365.

Khitruck Ekaterina B. Tomsk State University (Tomsk, Russia)

E-mail: lubomudr@vtomske.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/9

ON THE QUESTION OF THE TOPICALITY OF GENDER STUDIES IN PHILOSOPHY

Key words: male, female, gender studies, postmetaphysical thinking.

This article is devoted to the study of the specificity of conceptualization of the categories “male” and “female” in modern philosophy. In the article, modernity is seen as a unique combination of profound changes in the sphere of social life, the mechanisms of the functioning of public institutions, on the one hand, and fundamental mental schemes, on the other. Social metamorphoses of sex are one of the most acute issues of our time, and their emergence and dissemination correlates in the Western European tradition with the transformation of the ways of conceptualizing reality, deep thought patterns. In general, this transformation of the fundamental mental structures is commonly referred to in modern philosophy as the term “post-metaphysical thinking”. The main feature of this type of thinking is the development of various strategies to overcome the traditional philosophical style, based on essentialism and dualism, operating binary oppositions. Discursive mobility, associated with the “melting” of the binary principle of the description of the world, society and man, is consonant with the change of reality itself, the transformation of the social order. In a special way this unique combination is revealed regarding the problematic of sex, which is a definite focus of metamorphosis. Obvious and irreversible mutations in the sphere of family and sexual relations seem to be accidental only in isolation from the context of profound metamorphosis in the ways of conceptualizing the world, society and man, as well as the changes in the ways of thematization of categories “male” and “female” that are closely intertwined with them. The study of the fundamental transformations of the ontological status of these categories in the context of changing philosophical paradigms can clarify the fundamental importance and the main meaning of those changes in the field of sex and sexual relations that cause so many questions and concerns on the part of both enlightened critics and ordinary contemporaries.

References

1. Oláh, L.S., Richter, R. & Kotowska, I.E. (2014) The new roles of men and women and implications for families and societies. *Families and Societies*. 11. [Online] Available from: <http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2014/12/WP11OlahETA12014.pdf>. (Accessed: 23rd January 2018).
2. Klimantova, G.I. (2017) [Family in the system of socio-cultural values of modern Russia]. *Sem'ya v sisteme tseennostey pokoleniy* [Family in the Axiological System of Generations]. Proc. of the Conference. Moscow. pp. 5–8. (In Russian).
3. Lagree, J.-C. (2004) Review essay: youth, families and global transformations. *Current Sociology*. 52(1). pp. 103–110.
4. Popkova, A.A. (2013) Transformatsii semeynykh traditsiy v rossiyskikh sem'yakh XXI v. [Transformations of family traditions in Russian families of the 21st century]. In: Zamaraeva, Z.P. & Grigorieva, M.I. (eds) *Sotsial'naya bezopasnost' i zashchita interesov sem'i v usloviyakh novoy obshchestvennoy real'nosti* [Social security and protection of family interests in the new public reality]. Perm: National Research Perm State University. pp. 152–156.
5. Zhamgan, B.E. (2015) Transformatsiya semeynykh tseennostey v sovremennoy rossiyskoy sem'e [Transformation of family values in the modern Russian family]. *Vestnik Buryatskoy gosudar-*

stvennoy sel'skokhozyaystvennoy akademii im. V.R. Filippova – Bulletin of Buryat State Academy of Agriculture. 2(39). pp. 95–99.

6. Popov, G.N. & Sheveleva, N.V. (2017) Family values of modern youth (a case study of extramural students of Pedagogical University). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Bulletin of Tomsk State Pedagogical University*. 4. pp. 39–44. (In Russian). DOI: 10.23951/1609-624X-2017-4-39-44

7. Vinogradova, A.I. & Petrova, O.A. (2016) Concerning consequences of the impact of sociocultural environment negative factors on development of society spirituality. *Obshchestvo: Filosofiya. Istoriya. Kul'tura – Society: Philosophy, History, Culture*. 8 pp. 96–98. (In Russian).

8. Efimov, A.M. (2014) Vliyaniye dukhovno-nravstvennogo sostoyaniya obshchestva na demograficheskuyu situatsiyu [Influence of the spiritual and moral state of society on the demographic situation]. In: Sukiasyan, A.A. (ed.) *Innovatsionnoye razvitiye sovremennoy nauki* [Innovative development of modern science]. Ufa: Bashkir State University. pp. 15–17.

9. Sorokin, P.A. (2006) *Amerikanskaya seksual'naya revolyutsiya* [The American Sexual Revolution]. Moscow: Prospekt.

10. Giddens, E. (2004) *Transformatsiya intimnosti* [Transformation of intimacy]. St. Petersburg: Piter.

11. Bauman, Z. (2008) *Tekuchaya sovremennost'* [Flowing modernity]. Translated from English by Yu.V. Asochakov. St. Petersburg: Piter.

12. Baudrillard, J. (2000) *Simvolicheskiy obmen i smert'* [Symbolic exchange and death]. Moscow: Dobrosvet.

13. Connell, R. & Messerschmidt, J.W. (2005) Hegemonic masculinity: rethinking the concept. *Gender and Society*. 19(6). pp. 829–859. DOI: 10.1177/0891243205278639

14. Petelin, B.V. (2016) Political conservatism of Christian democrats of Germany in the context of the European changes of the 21st century. *Istoricheskie issledovaniya. Zhurnal Istoricheskogo fakul'teta MGU im. M.V. Lomonosova – History Studies. Journal of History Faculty of Lomonosov Moscow State University*. 5. pp. 89–94. (In Russian).

15. Surguladze, V.Sh. (2017) Donal'd Tramp i Rennans amerikanskogo konservatizma [Donald Trump and the Renaissance of American Conservatism]. *Mezhdunarodnaya zhizn' – International Affairs*. 2. pp. 73–86.

16. Molodyakova, E.V. & Markaryan, S.B. (2015) *Yaponiya: konservativnyy povorot* [Japan: A conservative turn]. Moscow: AIRO-XXI.

17. Temkina, A. (2015) Connel Ravin. Gender i vlast': obshchestvo, lichnost' i gendernaya politika [Gender and Power: Society, Personality and Gender Politics]. Translated from English by T. Barchunova. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. *LABORATORIUM. Zhurnal sotsial'nykh issledovaniy*. 1. pp. 137–142.

18. Bulgakov, S.N. (1994) *Svet Nevecherniy: Sozertsaniya i umozreniya* [Light of the Night: Contemplation and speculation]. Moscow: Respublika.

19. Borisov, E.V. (2009) *Osnovnye cherty postmetafizicheskoy ontologii* [The main features of post-metaphysical ontology]. Tomsk: Tomsk State University.

20. Habermas, J. (1988) *Nachmetaphysisches Denken* [Postmetaphysical Thinking]. Frankfurt; Moscow: Suhrkamp. pp. 35–62.

21. Nayman, E.A. (1996) *Dekonstruktivnaya metodologiya Zh. Derrida* [Derrida's deconstructive methodology]. Tomsk: Tomsk State University.

22. Deleuze, G. (2002) *Kritika i klinika* [Criticism and Clinic]. Translated from French by O. Volchek, S. Fokin. St. Petersburg: Machina.

23. Deleuze, G. (1995) *Logika smysla* [The Logic of Sense]. Translated from French by Ya. Svirsky. Moscow: Akademiya.

24. Serbul, A.A. (2011) “Smert' sub"ekta”: filosofsko-kul'turologicheskii analiz problemy sub"ekta v postmodernistskom diskurse [“Death of the subject”: philosophical and cultural analysis of the subject's problem in the postmodern discourse]. *Vestnik Paleskaya dzyarzhaynaga universiteta. Seryya gramadskikh i gumanitarnykh navuk*. 2. pp. 51–56.

25. Bakulina, A.V. (2008) Printsip dvoichnosti v prirode i kul'ture [The principle of binary nature and culture]. *Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo universiteta – Herald of Vyatka State University*. 1(2). pp. 170–172.

26. Bourdieu, P. (2005) *Sotsial'noe prostranstvo: polya i praktiki* [Social Space: Fields and Practices]. Translated from French by N.A. Shmatko. Moscow: Institute of Experimental Sociology; St. Petersburg: Aleteya. pp. 286–365.

СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316-47

DOI: 10.17223/1998863X/41/10

М.О. Абрамова, Е.В. Сухушина, А.Ю. Рыкун

ВОСПРОИЗВОДСТВО МАСКУЛИННОСТИ: СЕМЬЯ КАК ОСНОВНОЙ АГЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ¹

С помощью гендерной социализации мальчики усваивают образцы маскулинности. Сегодня семья, базовый агент социализации, находится в кризисе. Кризис характерен и для маскулинности и выражается в размывании традиционного канона, плюралистичной мужественности и противоречивых требованиях к мужчинам. Это влияет на процессы социализации подрастающего поколения мальчиков. Эмпирические данные получены с помощью социологического исследования – полуструктурированных интервью с молодыми мужчинами. Рассматривается, какие члены семьи оказывают влияние на воспитание мальчиков. Показывается, что роль семьи в социализации, а следовательно, и воспроизводстве маскулинности остается очень значимой.

Ключевые слова: маскулинность, мужественность, семья, социализация мальчиков, агенты социализации.

Понятие социализации и ее основные агенты

В научной литературе нет споров относительно того, что человек не рождается сразу готовым членом общества, а становится им впоследствии – благодаря социализации, процессу усвоения представлений, ценностей, норм. В соответствии с концепциями социального конструктивизма, интернализация реальности включает «перенимание-от-другого»: ребенок идентифицирует себя со значимыми другими, выступающими посредниками между ним и обществом, и интернализирует их роли и нормы, делая их своими. Социализация длится всю жизнь, однако наибольший интерес вызывает первичная социализация, происходящая в детстве. Установки и паттерны поведения, усвоенные в этот период жизни, наиболее прочны и стабильны, а основная структура вторичной социализации в целом сходна со структурой первичной [1].

Долгое время семья как агент социализации доминировала, при том родители не концентрировались на задачах воспитания подрастающего поколения. В крестьянских семьях обучение и включение в трудовую деятельность детей (чуть ли не с 3–4 лет) осуществлялись в рамках домохозяйств. В семьях ремесленников юноши покидали дом для обучения у мастеров, но когда период первичной социализации уже завершился. Позже – в буржуазных семьях XVIII–XIX вв. воспитание детей в первые годы жизни осуществлялось исключительно родителями, затем для этой роли нанимались учителя. Однако обучение проходило на дому в соответствии с родительскими норма-

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках проекта № 17-03-00842 «Настоящие» мальчики: современные вызовы социализации».

ми и правилами, а играть на улицах детям из этих семей не разрешалось: семья и улица противопоставлялись. Промышленная революция изменила уклад семьи: отец семейства большую часть времени начал проводить вне дома. Если женщины работали (что зависело от дохода отца, главы семьи), за маленькими детьми присматривали старшие братья и сестры, дедушки и бабушки, иные родственники и соседки, а также «воспитательницы» и детские учреждения. Старшие дети помимо школы были предоставлены улице, а также нередко работали на фабриках [2]. Тенденция индустриального общества – отток отцов на производства – приводит к жесткому разделению ролей в семье и фактическому выключению отца из процесса воспитания детей. Происходит переосмысление представлений о мужественности. Образ отца разделяется на два: первый – недоступный и далекий, второй – презируемый за это и бессильный [3].

Типичным становится говорить о кризисе семьи. Представление, что современное состояние семьи во многом патологично, зиждется на идеализации патриархального типа устройства, в первую очередь крестьянской семьи, а также парсонсианском подходе (семья как институт необходима в силу выполнения конкретных задач, а их невыполнение свидетельствует о глубокой институциональной дисфункции). Данный подход получает название «консервативно-кризисный». Иное представление: кризис – это трансформация модели семейного устройства, появление альтернативных типов семей. Такой подход называется эволюционным, или «либерально-прогрессистским». Он предполагает, что вариативность моделей семьи связана с социальными изменениями в обществе, выражающимися в смене ценностных парадигм [4]. Подчеркнем, что второй подход нам представляется более конструктивным.

В современном обществе число агентов социализации значительно больше, чем в традиционном: детский сад, школа, секции и кружки дополнительного образования, сверстники, «двор», а также СМИ, группы в социальных сетях, интернет-пространство в целом и др. Чем старше ребенок, тем слабее роль семьи и тем больше агентов социализации оказывает влияние на него. Не отрицая негативных явлений, происходящих с семьей (разводы, одноподродительские семьи и пр.), семья все же остается сегодня наиболее значимым агентом социализации. Она представляет собой самую первую группу, с которой дети встречаются, где в раннем возрасте они непрерывно контактируют со значимыми другими, да и позже именно здесь они проводят значительную часть времени, имея возможность наблюдать за ролями, которые выполняют родители.

Гендерная социализация и маскулинность

Социализация включает в себя такие составляющие, как культурная, политическая, профессиональная, а также гендерная. Под гендерной социализацией понимается процесс усвоения норм, правил поведения, социальных установок в соответствии с культурными представлениями о роли, положении и предназначении мужчины и женщины в обществе [5]. Получая представление о феминном и маскулинном, индивид узнает, как следует вести себя в соответствии с социальными ожиданиями к своему полу и в итоге овладевает гендерными ролями и нормами. Эмпирические исследования показывают, что нормы и правила поведения в семье, отношения в ней детей с

родителями крайне важны и иногда важнее иных объективных факторов, как, например, формальный статус родителей, в формировании подрастающего поколения. К примеру, чем более традиционные взгляды свойственны родителям, тем более традиционные взгляды демонстрируют и их дети [6].

К основным механизмам гендерной социализации относятся подражание, идентификация, внушение, убеждение и конформность. Если конформность (воспроизведение принятых в обществе гендерных норм, в том числе неосознанно) свойственна, скорее, взрослым, то подражание и идентификация являются первыми способами усвоения гендерных ролей: ребенок наблюдает за поведением родителей и воспроизводит в качестве образца поведение родителя его пола. Внушение и убеждение – способы воздействия родителей на ребенка, где внушение является эмоциональным воздействием, а убеждение основывается на логике [5].

При этом современные теории социализации подчеркивают важность роли самого ребенка в развитии гендерной идентичности и понимании гендерной роли. То есть социализация не является односторонним процессом: с одной стороны, родители передают ребенку свой социальный гендерно-ориентированный опыт, но с другой – ребенок его интериоризирует и воспроизводит, корректируя и трансформируя в соответствии с личностными характеристиками и предпочтениями [7].

Нормативный канон маскулинности (иначе – традиционная мужественность), воспроизводимая в течение долгого времени, включает, согласно Р. Бреннону [8], в качестве обязательных мужских черт «настоящего мужчины» четыре основные характеристики. Во-первых, это избегание чего-либо женского: мужское и женское противопоставляются, женщины «отличаются» от мужчин не только по своим физиологическим, но и психологическим, культурным характеристикам. Во-вторых, мужчина должен быть сильным и не может проявлять слабость, чему соответствует высказывание, что «мужчины/мальчики не плачут», а единственной легитимной эмоцией признается гнев. В-третьих, мужчина должен находиться в соревновательной позиции, причем он не только должен быть лучше женщин или стараться превосходить других мужчин, но и самого себя: «настоящий мужчина» не может довольствоваться полученным, он всегда должен стремиться достичь большего успеха. В-четвертых, мужчина должен быть всегда готов к подтверждению своей позиции готовностью применить насилие.

Изменения в обществе, в структуре общественного разделения труда приводят к ослаблению гендерной поляризации [Там же]. Дестабилизирует гендерные различия и феминистское движение: женщины присваивают области, считавшиеся мужскими, ставят под сомнение традиционное представление о гендерной сегрегации. Вопрос «Что есть мужчина?» актуализируется и является предметом переосмысления [3]. Таким образом, в конце XX в. обществу свойствен не только кризис семьи, но и кризис маскулинности [9, 10]. На место размытого традиционного канона приходит модель плюралистической мужественности [11–13].

Однако говорить о исчезновении традиционного канона маскулинности не приходится. Уильям Поллак вводит понятие «мальчишеский кодекс» [14], который, основываясь на правилах, очень близких по смыслу к описанной выше нормативной мужественности Р. Бреннона, навязывается мальчикам.

Во-первых, мальчик должен быть «крепким орешком», никогда не проявлять свою слабость; во-вторых, быть достаточно жестоким и агрессивным и готовым к противоборству; в-третьих, стремиться к достижению власти, статуса, влияния; в-четвертых, «не быть девчонкой», т.е. не показывать чувства, скрывать нежность и привязанность. Слишком раннее эмоциональное отделение мальчиков от матери – ключевая характеристика воспроизведения мальчишеского кодекса. Уже в старшем дошкольном возрасте от мальчиков ждут проявлений «мужественности», их лишают эмоциональной поддержки. В итоге во взрослом возрасте представителям мужского пола сложно выражать свои чувства и устанавливать близкие отношения как с партнером, так и с собственными детьми.

Результаты социологического исследования

Для рассмотрения процесса социализации мальчиков в обществе проведено социологическое исследование: полуструктурированные интервью с элементами биографического. Всего проведено 16 интервью со взрослыми мужчинами в возрасте от 25 лет до 41 года, часть из которых воспитывалась в полных семьях, часть – в материнских. Обращение к уже состоявшимся взрослым позволяет включить в анализ рефлексии самих «субъектов» и ретроспективно оценить процесс социализации.

Роль родителей в социализации мальчиков

Информанты подтверждают, что их родители играли существенную роль в их взрослении. При этом в первую очередь речь идет о матерях, которые традиционно осуществляют большинство воспитательных функций по отношению к ребенку. Случаи, когда матери прямо не участвуют в процессе социализации, связаны с глубоким социальным неблагополучием, социальным сиротством: в таких ситуациях отец тоже не берет на себя воспитание детей.

При этом информантам, выросшим с двумя родителями, не всегда легко отвечать на вопрос о том, как распределялись обязанности по воспитанию между отцом и матерью: трудности вызывает попытка обозначения зоны ответственности отца. Обнаруживается, что эта зона либо крайне мала, либо представляет случайный, разовый «набор».

Я даже не вспомню, что я делал совместно с отцом (пауза, думает). <...> Я больше участия помню как-то от мамы. Отец работал, делал какие-то свои вещи, приходил уставший. Либо что-то свое делал, либо садился за стол почитать книжку, чай попить и спать. Ааа, я вспомнил! Отец всегда по утрам готовил яичницу для всей семьи, он и меня научил готовить яичницу (смеется). Ну и что-то такое» (Мужчина, 27 лет).

Получается, что, несмотря на уже проявившийся либеральный тренд [15], заключающийся в более активном включении отца в жизнь и воспитание детей, для российских семей, когда наши информанты были детьми, данный тренд не был типичным. Исключения наблюдаются лишь в отдельных случаях, например в творческих семьях.

Мы достаточно часто общались: он меня брал на различные мероприятия, ну и просто я видел, как отец поступает в тех или иных ситуациях. <...> И в закулисе был, и в оркестровой яме даже сидел в театре музыкальной комедии... (Мужчина, 28 лет).

Можно говорить о типичности модели «отсутствующего отца». В рассказах информантов наблюдаются проявления так называемого «голода по отцу»: мужчины описывают свой опыт взаимодействия с отцом как явно недостаточный.

И, конечно, копировал отца. Потому что он для меня всегда был какой-то дефицитной фигурой, поэтому нужно было ловить момент» (Мужчина, 30 лет).

«Дефицитность» приводит к особой ценности фигуры отца. Одновременно присутствие матери в собственной жизни скорее обыденно и в итоге может вовсе обесцениваться.

От отца нам попросту больше нравились какие-нибудь сказки, играть во что-нибудь больше нравилось с ним. Ну вот, просто потому что. Как бы для нас не в новинку было, что мама это делает, а ну вот батя там пришел с работы, рассказал сказку, вот это угарно (смеется)» (Мужчина, 26 лет).

Особое место во взрослении занимают «серьезные разговоры с отцом», где предмет обсуждений – мировоззренческие (неповседневные) темы либо серьезные проступки детей. Отмечая немногочисленность разговоров, информанты считают их серьезно повлиявшими на становление своей личности (действие механизмов внушения и убеждения). И здесь также наблюдается противопоставление позиций матери и отца.

Если мама все время воспитывает, то по рукам ударит, то еще что-то, то отец занимается своими делами, работает и потом как-нибудь подойдет, скажет: «Так, сын, нам надо поговорить». Было несколько таких разговоров» (Мужчина, 30 лет).

С мамой как обычно – вспышка гнева, сиюминутная ругань какая-то и все: ах ты такой-сякой! А с папой – это надо сесть напротив, под испытывающим взглядом, он тебе начнет там что-то объяснять, где ты был не прав, да, что называется – грузить. Я вот этих бесед больше боялся, чем там, когда мама вспылит или еще что-то (Мужчина, 41 год).

Отмечается и то, что отцы значительно спокойнее относятся к занятиям ребенка, включая рискованные мероприятия, вызванные желанием познавать мир, и даже могут подталкивать к ним.

Мама как раз любит бить по рукам: «Так, сюда нельзя, то не делай. Да и вообще: „не дай бог, не расстраивай мать“». Папа как-то в этом отношении более спокойно ко всему этому относился. Если я что-нибудь не знаю там, порву, поцарапаюсь... Игры, понятно, были более опасные (смеется). Но он как-то пытался меня вытолкнуть в мир и показать, что с ним, с миром, можно что-то делать (Мужчина, 30 лет).

Наблюдаются и случаи неумения отца выстроить отношения с сыном, свидетельствующие о действии «мальчишеского кодекса». Становясь взрослыми, сыновья переосмысливают ситуацию, находя оправдание в отрицательном биографическом опыте отцов.

Он сам без отца рос, то есть там полная безотцовщина, и в школе он был... ну там, не самым успешным в плане учебы... тем более район такой, что ему говорили – по тебе тюрьма плачет. <...> Поэтому воспитание-то проявлялось, в итоге только и помню, что – подзатыльники, угол, ремень за любое непослушание, ну или как мне казалось – за любое. А ему было просто

как-то трудно подойти, потому что его самого примерно так воспитывали (Мужчина, 31 год).

В семьях, где есть отец, у мальчика имеется возможность «считывать» мужские роли с поведения отца. Сам факт присутствия отца рядом ценится (механизмы подражания и идентификация отрефлексированы мужчинами).

То есть я понимаю, что я сформировался как личность, таким, какой я есть, – именно в чем-то повторяя. То есть папа для меня был не то, что я с ним чем-то занимался. Просто он был для меня какой-то моделью, примером (Мужчина, 41 год).

Воспитание мальчиков в материнских семьях

Статистика свидетельствует, что в настоящее время в России почти 30% семей с детьми – неполные, в свою очередь, 90% семей с одним родителем – это материнские семьи [16]. Эта тенденция существует не только в России, но и во всем мире.

Мужчины в качестве последствий отсутствия рядом отца называют позднее освоение возможных моделей мужского поведения, необходимость вести самостоятельный поиск, а не научение посредством подражания отцовскому примеру.

Так вот сложилось, что все эти особенности мужского поведения мне пришлось осваивать конкретно самому, до чего-то доходить, то есть даже сейчас я чего-то не понимаю, не знаю, хотя мне уже 25 лет (Мужчина, 25 лет).

В неполных семьях обнаруживаются непростые межпоколенческие отношения между матерью и сыном. Информанты используют термин «гиперопека», говоря о стремлении матери защитить ребенка (в том числе даже от мнимой опасности), удерживать его около себя во имя безопасности.

То есть, естественно, это все гиперопека. Я уже потом все осознавал. Потому что единственный ребенок, она решила себя отдать ребенку, не строить отношения с другими мужчинами, потому что ребенок больной, его нужно защищать, охранять. И нужно ему отдать все. И вот до сих пор, это уже немножко заканчивается, но все равно еще есть: «Я тебе все отдала, а ты мне...» (Мужчина, 32 года).

Компенсируя несложившиеся отношения с представителями противоположного пола, матери порой стремятся создать «идеального мужчину», не учитывая индивидуальных особенностей ребенка и не давая возможности проявлять себя, раскрыв свои достоинства и, главным образом, недостатки. Так, один из информантов описал цель собственного воспитания матерью как попытку создать из него «мужчину для женщины», а не самостоятельную личность:

Ее воспитанием было воспитание интеллигентного мальчика такого, то есть я должен быть порядочный, аккуратный, опрятный, убираться в комнате, ничего лишнего не говорить, близким – вежливым, девочек не обижать. Ну и, значит, стандартный набор (Мужчина, 30 лет).

В итоге мужчины могут стремиться сопротивляться, выйти из-под контроля матери, конфликтовать с ней, что может продолжаться даже во взрослом возрасте.

Образ отца

Как правило, для мужчин, которые прожили под одной крышей с отцом все свое детство, характерен позитивный образ отца. Его внимание настолько значимо, что перевешивает даже серьезные недостатки, усложняющие жизнь семьи (включая, к примеру, алкоголизм).

Всегда было здорово, конечно. Кроме тех моментов, у него были проблемы с алкоголем. И бывает там, что он что-нибудь пообещает, куда-нибудь сводить, ты просыпаешься такой довольный, а он пьяный спит. Но это было, конечно, неприятно (Мужчина, 30 лет).

В семьях, где отцы ушли из семьи или вовсе не жили вместе, развод и уход мужчины из семьи порой воспринимается детьми и как «развод с ребенком», что приводит к разрыву отношений, формированию негативного образа отца.

Отца, получается, через год или через два женился на другой. Завел одного, потом второго ребенка <...>. С ним не общаюсь, и желания как бы нету. Ну, человек от меня отказался. Зачем? Для какой цели? (Мужчина, 30 лет).

Отцы могут прикладывать усилия по поддержанию отношений с сыновьями, но это не всегда ценится последними. Можно предположить наличие зависимости оценки отца от качества и плотности такого общения. Так, негативные оценки проявляются в ситуации нерегулярных взаимоотношений.

Были периоды в детстве, когда я к нему приезжал в гости. Не сказать, чтобы эти периоды мне чем-то запомнились, поскольку с ним было не особенно интересно, а ему со мной тем более. Он приезжал со мной гулять, а я приезжал к нему пару раз на каникулы <...> в младших классах, на неделю или две. Но очень быстро перестал это делать, потому что не нашел с ним общего языка (Мужчина, 25 лет).

При этом, напротив, положительное отношение к отцу может сформироваться даже несмотря на то, что ребенок никогда не жил с отцом под одной крышей, но тот стабильно поддерживал отношения с ним.

С отцом общался ну, постоянно, в принципе, ну несколько раз в неделю. <...> То есть в детстве он мог, допустим, каждый день брать меня на прогулку. Ну, соответственно, по мере взросления реже: три раза в неделю, два. Буквально вот в 5–7 минут ходьбы он жил. То есть, ну, в шаговой доступности (Мужчина, 31 год).

Одновременно мужчины, которые никогда не знали своего отца, высказывают нейтральное или даже равнодушное отношение: для этой группы интервьюируемых фигура биологического отца незначима, они не склонны заострять на ней внимание.

Вот сейчас я, да, с родным отцом встретился, а так до этого раньше у меня не было желания с ним встречаться. Просто мамка попросила, что надо как бы, что жизнь коротка... Воспоминания не «не очень», а их просто нет. А судить я кого-то не берусь. Каждому своя дорога, как дальше жить и строить, я имею в виду (Мужчина, 40 лет).

Роли других членов семьи

Хотя, рассуждая о семье, исследователи чаще всего говорят о нуклеарной семье, которая имеет структуру, основанную на отношениях: муж – жена и родители – дети [17], следует сразу отметить, что ситуация, когда в воспи-

тании мальчика принимают участие иные родственники, не является необычной. Помимо родителей, оказывающих влияние на воспитание уже взрослых мужчин, обнаруживаются представители трех поколений: старшего возраста (бабушки, дедушки), среднего возраста (дяди, тети) и одного поколения с интервьюируемыми (старшие братья – родные и двоюродные).

Активно участвующие в воспитании бабушки, иногда – дедушки, могли забирать внука на воспитание к себе, жить вместе с семьей своего сына/дочери одним домохозяйством или приезжать время от времени. Бабушки и дедушки оказывают «дидактическое» влияние, основные их методы – наставления. При этом влияние бабушек на семейный уклад могло оказываться более значимым, чем родителей, и в частности мамы.

Мнение бабушки в доме было главным... ее все боялись, она много кричала, в общем, мы с ней предпочитали не связываться (Мужчина, 25 лет).

При этом, изучая воспоминания мужчин, можно сделать следующий вывод: бабушка перестает восприниматься мальчиком положительно, как только начинает навязывать свои правила и выполнять неправомерные в глазах ребенка надзорные или контролирующие функции.

Ну и, в общем-то, когда мне говорили «бабушка едет к нам в гости», представлял: за малейшую оплошность она будет сидеть меня отчитывать, просто пропесочивать и читать нотации (Мужчина, 31 год).

Бабушка попортила нервы, потому что была советским учителем, партийным работником <...> И всякие такие вещи нужно было сделать прямо либо все очень хорошо, либо <...> как она считает. То есть нет другой точки зрения, нет другого понимания реальности, кроме как у них. Они знают, они пожилы. А ты тут вообще кто?! Мы тут лучше (Мужчина, 32 года).

Специфика влияния родственников среднего возраста заключается в приобщении к «образцам свободы» – нормам поведения и отношениям, более желанным, открытым, свободным и демократичным, чем принято дома.

Никаких нотаций, вообще никаких нотаций. Я мог делать что угодно, я помню даже: «А можно мне типа суспенки съесть не две ложки, а три?», потому что мне все запрещали. «Да ешь ты что хочешь, хоть банку съешь» (Мужчина, 31 год).

Особенное место в отдельных семьях в воспитании мальчиков играют старшие братья. В некоторых случаях именно старший брат становится воспитателем подрастающего мальчика, являясь неким проводником во взрослый мир, реализуя нередко запретные практики. Легитимность воспитания со стороны брата обеспечивается благодаря его чуть более высокому статусом (старшинство). С другой стороны, информанты отмечают неформальность такого воспитания, включающего в том числе жесткие и «непедагогичные» методы.

В основном моим воспитанием занимался брат. <...> Он за какие-нибудь косяки меня ругал и в некоторых случаях даже бил. Он был таким тираном в моих глазах <...>. Он учил меня простым пацанским понятиям. Мы жили в достаточно удаленном районе города, там был жуткий беспредел <...>. Он меня учил выживать в таком обществе. Он мне показал, как делать «fisk» из руки. <...> Ну и забирал меня иногда из детского сада (Мужчина, 27 лет).

Любопытно, что о старших сестрах информанты обычно не вспоминают. Возможно, это связано с тем, что даже в тех семьях, где девочки занимались

младшими, это воспринимается, скорее, как присмотр и уход, нежели воспитание и формирование личности.

Таким образом, несмотря на кризис семьи и расширение числа агентов социализации, роль семьи в социализации, а следовательно, и воспроизводстве маскулинности остается очень значимой. В воспитании могут принимать участие представители различных поколений, включая братьев и сестер, заканчивая бабушками и дедушками, они используют разные методы, и влияние их различно. При этом наиболее существенную роль в процессе социализации мальчика играют его родители, а особое место занимает отец. Вовлечение отца, в связи с дефицитностью его фигуры, ценится больше, чем забота матери, ему прощаются серьезные недостатки. Если отец не живет с семьей, ценность его фигуры падает в случае нерегулярности отношений с сыном.

Литература

1. Бергер П.Л. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / Т. Лукман; пер. с нем. Е. Руткевич. М.: Медиум, 1995. 323 с.
2. Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII–XX в.). М.: Владос, 1997. 299 с.
3. Бадентэр Э. Мужская сущность. М.: Новости, 1995. 304 с.
4. Федотова Ю. В. Проблема понимания кризиса семьи // Социологические исследования. 2003. № 11. С. 137–141.
5. Гендерная психология: практикум / Д.В. Воронцов, Л.В. Штылева, Н.П. Реброва и др.; под ред. И.С. Клециной. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2009. 496 с.
6. Crespi I. Socialization and gender roles within the family: A study on adolescents and their parents in Great Britain // MCFA Annals. 2004. Т. 3. № 2.
7. Carter M.J. Gender socialization and identity theory // Social Sciences. 2014. Т. 3, № 2. С. 242–263.
8. David D., Brannon R. (Eds.). The Forty-Nine Percent Majority: The Male Sex Role. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1976.
9. Кон И.С. Мальчик – отец мужчины. М.: Время, 2009. 704 с.
10. Кон И.С. Маскулинность в меняющемся мире: [Электронный ресурс] // Московско-Петербургский философский клуб. Электрон. дан. 2010–2016. URL: <http://philosophical-club.ru/?an=kon1> (дата обращения: 27.02.18).
11. Здравомыслова Е., Тёмкина А. Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе // О муже(Н)ственности: сб. ст. / сост. С. Ушакин. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 432–451.
12. Imms W.D. Multiple masculinities and the schooling of boys // Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'education. 2000. № 25 (2). P. 152–165.
13. Aboim S. Plural masculinities: The remaking of the self in private life. Routledge, 2016.
14. Поллак У. Настоящие мальчики. Как спасти наших сыновей от мифов о мальчишестве. М.: Ресурс, 2014. 560 с.
15. Рождественская Е.Ю. Отцовство: либеральный тренд от отца к папе? // Способы быть мужчиной. М.: Фонд им. Генриха Белля: Звенья, 2013. С. 60–76.
16. Социально-экономическое положение семей и тенденции их жизнедеятельности [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики Электрон. дан. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood (дата обращения: 27.02.18).
17. Здравомыслова О.М. Семья: из прошлого – в будущее. Интернет-конференция «Гендерные стереотипы в современной России», 1 мая – 6 июля 2006 г. URL: <http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/281530.html> (дата обращения: 27.02.18).

Abramova Maria O. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: abra@yandex.ru

Sukhushina Elena V. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: elsukhush@inbox.ru

Rykun Artyom Yu. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: a_rykun@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/10

REPRODUCTION OF MASCULINITY: FAMILY AS A PIVOTAL AGENT OF SOCIALIZATION**Key words:** Masculinity, manhood, family, boy's socialization.

Gender socialization teaches boys the patterns of masculinity. The family, the basic agent of socialization, is in crisis today. Model of masculinity is also in crisis (it's mean the erosion of the traditional canon, plural masculinity and conflicting demands on men). This affects influence on the processes of socialization of the younger generation of boys. Empirical data are obtained through a sociological survey - semi-structured interviews with young men. It is considered influence of different family members on the socialization of boys. It is presented that the role of the family in socialization, and, consequently, in the reproduction of masculinity remains is very significant.

References

1. Berger, P.L. (1995) *Sotsial'noe konstruirovaniye real'nosti: Traktat po sotsiologii znaniya* [Social construction of reality: A treatise on the sociology of knowledge]. Translated from German by E. Rutkevich. Moscow: Medium.
2. Zider, R. (1997) *Sotsial'naya istoriya sem'i v Zapadnoy i Tsentral'noy Evrope (konets XVIII–XX vv.)* [Social Family History in Western and Central Europe (the late 18th–20th centuries)]. Moscow: Vldos.
3. Badenter, E. (1995) *Muzhskaya sushchnost'* [The Masculine Essence]. Translated from French by I. Krupicheva. Moscow: Novosti.
4. Fedotova, Yu.V. (2003) Problema ponimaniya krizisa sem'i [The problem of understanding the family crisis]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 11. pp. 137–141.
5. Vorontsov, D.V., Shtyleva, L.V., Rebrova, N.P. et al. (2009) *Gendernaya psikhologiya* [Gender psychology]. 2nd ed. St. Petersburg: Piter.
6. Crespi, I. (2004) Socialization and gender roles within the family: A study on adolescents and their parents in Great Britain. *MCFE Annals*. 3.
7. Carter, M.J. (2014) Gender socialization and identity theory. *Social Sciences*. 3(2). pp. 242–263. DOI: 10.3390/socsci3020242
8. David, D. & Brannon, R. (eds) (1976) *The Forty-Nine Percent Majority: The Male Sex Role*. Reading, Mass.: Addison-Wesley.
9. Kon, I.S. (2009) *Mal'chik – otets muzhchiny* [The boy is the father of a man]. Moscow: Vremya.
10. Kon, I.S. (n.d.) *Maskulinnost' v menyayushchemsya mire* [Masculinity in a changing world]. [Online] Available from: <http://philosophicalclub.ru/?an=kon1>. (Accessed: 27th February 2018).
11. Zdravomyslova, E. & Temkina, A. (2002) Krizis maskulinnosti v pozdnesovetskom diskurse [The crisis of masculinity in the late Soviet discourse]. In: Ushakin, S. (2002) *O muzhe(N)stvennosti* [On masculinity/femininity]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. pp. 432–451.
12. Imms, W.D. (2000) Multiple masculinities and the schooling of boys. *Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'education*. 25(2). pp. 152–165. DOI: 10.2307/1585748
13. Aboim, S. (2016) *Plural masculinities: The remaking of the self in private life*. Routledge.
14. Pollack, W. (2014) *Nastoyashchie mal'chiki. Kak spasti nashikh synovey ot mifov o mal'chishestve* [Real Boys: Rescuing Our Sons from the Myths of Boyhood]. Translated from English by E. Zhalnina. Moscow: Resurs.
15. Rozhdestvenskaya, E.Yu. (2013) Otsovstvo: liberal'nyy trend ot ottsa k pape? [Paternity: a liberal trend from Daddy to father?]. In: Tartakovskaya, I.N. (ed.) *Sposoby byt' muzhchinoy* [Ways to be a man]. Moscow: Fond imeni Genrikha Bellya, Zven'ya. pp. 60–76.
16. Federal Service of State Statistics. (n.d.) *Sotsial'no-ekonomicheskoe polozheniye semey i tendentsii ikh zhiznedeyatel'nosti* [Social and economic situation of families and trends in their life activity]. [Online] Available from: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood. (Accessed: 27th February 2018).
17. Zdravomyslova, O.M. (2006) [Family: from the past to the future]. *Gendernye stereotipy v sovremennoy Rossii* [Gender stereotypes in modern Russia]. Inernet Conference. May 1 – July 7, 2006. [Online] Available from: <http://www.ecsoc-man.edu.ru/db/msg/281530.html>. (Accessed: 27th February 2018). (In Russian).

УДК 316.35

DOI: 10.17223/1998863X/41/11

**И.В. Атаманова, Н.В. Козлова, С.А. Богомаз, В.Г. Залевский,
Ю.Ю. Неяскина**

СПЕЦИФИКА ЛИЧНОСТНО-СРЕДОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ТРЕХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ¹

Представлены результаты сравнительного анализа ценностных ориентаций, особенностей средовой идентичности и параметров личностного потенциала студенческой молодежи трех российских городов (Томск, Барнаул и Петропавловск-Камчатский). Наблюдается определенный дисбаланс между ожидаемым (значимость базисных ценностей) и реальным (реализуемость базисных ценностей) в отношении потенциала городской среды в исследуемых городах. Анализ ценностных ориентаций, специфики средовой идентичности и степени выраженности параметров личностного потенциала студенческой молодежи показал высокий потенциал городской среды Томска в контексте личностно-профессионального становления, что соответствует его статусу образовательного и инновационного центра Сибири.

Ключевые слова: личностно-средовое взаимодействие, базисные ценности, ценностные ориентации, средовая идентичность, личностно-профессиональное становление.

Введение

Замедление темпов роста российской экономики в последние несколько лет, по мнению экономистов, может свидетельствовать о принципиальной невозможности следования прежней модели экономического развития, ориентированной на сырьевой экспорт и внутреннее потребление. Высококачественный человеческий капитал становится фокусом современных представлений о возможных путях и стратегиях дальнейшего развития российского общества, причем, как отмечает А.А. Аузан [1], эта капитализация человеческого ресурса предполагает наличие его определенных социокультурных характеристик, напрямую связанных с ценностями и поведенческими установками. В этой связи проблематика личностно-средового взаимодействия в контексте личностно-профессионального становления представителей молодого поколения российских городов приобретает особую актуальность. Именно с молодежью в России связываются перспективы развития науки и предпринимательства, экономики и государства в целом, поскольку эта группа населения оказывается наиболее чувствительной к тем изменениям, которые происходят в стране и в мире [2–4].

Личностно-профессиональное становление, понимаемое современными исследователями с позиции теории психологических систем [5] как процесс постепенного усложнения жизненного мира человека, включает в себя и трансформацию ценностей, существующих в культуре в конкретный социально-исторический период. В свою очередь, сформировавшаяся в опреде-

¹ Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 15-06-10803 «Психологические факторы средовой самоидентичности».

ленных условиях система ценностных ориентаций, образуя ядерный слой образа мира личности, может детерминировать успешность личностно-профессионального становления [6]. Следовательно, необходимо понимать, каким образом средовые факторы способствуют или препятствуют этому процессу.

Обращение к исследованию проблемы средовой идентичности в сложившихся социально-экономических и политических условиях обусловлено стремительностью и глобальностью происходящих в обществе изменений, касающихся всех сфер бытия человека. Е.П. Белинская подчеркивает множественность и потенциальность различных составляющих человеческого Я, выступающих детерминирующими паттернами постнеклассического понимания идентичности человека в постоянно меняющемся мире [7]. Кроме того, исследовательский интерес при изучении идентичности все больше смещается в сторону ее временных и пространственных характеристик. О.В. Лукьянов в своих работах выводит проблему идентичности в процессуально-динамический контекст через трактовку идентичности следующим образом: «Это не структура личности, личностная черта или качество, функционально обеспечивающее человеку тождественность самому себе, стабильному или меняющемуся, но сам процесс саморазвития, дающий устойчивость, которую человеку необходимо открыть, освоить, принять» [8. С. 22]. Другими словами, такое понимание идентичности человека позволяет рассматривать проблему в терминах становления как непрерывный процесс обнаружения себя в мире и мира в себе, постоянного сотворения себя и принятия себя нового.

В этой связи представляется важным рассмотреть личностный потенциал человека [9], который способен детерминировать специфику процесса личностно-профессионального становления в тех или иных средовых условиях [2–4]. Д.А. Леонтьев определяет личностный потенциал как «интегральную системную характеристику индивидуально-психологических особенностей личности, лежащую в основе способности личности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность деятельности и смысловых ориентаций на фоне давлений и изменяющихся внешних условий» [9. С. 10]. Глубинная сущность личностного потенциала человека «проявляется в связи *возможности и действительности*» [3. С. 129], т.е. находясь в определенных средовых условиях, человек способен трансформировать объективные возможности этой среды в свои субъективные возможности и затем реализовывать их в конкретные результаты, достигая поставленных целей. Фактически процесс личностно-профессионального становления и представляет собой поступательное движение в направлении превращения возможностей, обнаруживаемых человеком в окружающей его среде, в свершившиеся результаты своей деятельности.

Данная статья описывает результаты исследования, направленного на изучение ценностно-смыслового аспекта личностно-средового взаимодействия. Представляется теоретически и практически значимым понимание того, каким образом проявляется ценностное отношение к среде своего личностно-профессионального становления у вузовской молодежи и какие параметры личностного потенциала этому способствуют. Мы полагаем, что сравнительный анализ параметров личностного потенциала, ценностных ориентаций и особенностей средовой идентичности студенческой молодежи в

трех российских городах позволит выявить специфику личностно-средового взаимодействия в контексте личностно-профессионального становления этой категории молодых людей.

Материалы и методы исследования

Выборку исследования составили представители студенческой молодежи трех российских городов: Томска, Барнаула и Петропавловска-Камчатского. Общее количество участников исследования – 291 человек, из них 203 девушки и 88 юношей. Количество участников по каждому из городов: Томск – 117 человек (77 девушек и 40 юношей); Барнаул – 63 человека (49 девушек и 14 юношей); Петропавловск-Камчатский – 111 человек (77 девушек и 34 юноши). Средний возраст респондентов в общей выборке составил $22,6 \pm 5,35$.

Выбор городов объясняется их различием с точки зрения географических, экономических и социокультурных факторов. Томск и Барнаул, располагаясь в Западной Сибири, различаются скорее экономическими и социокультурными условиями. Томск в большей степени ориентирован на образование, развитие науки и технологий, продвижение инновационных проектов. Барнаул представляет собой региональный центр, связанный, прежде всего, с развитием производства и сельского хозяйства. Петропавловск-Камчатский в силу своего географического положения (территориальная удаленность и сейсмически опасная зона) и экономической специфики (приморский город с моноотраслевой экономикой) представляет значительный исследовательский интерес для понимания психологических особенностей личностно-средового взаимодействия.

Методическая база исследования включала ряд методов опроса, направленных на изучение реализуемости базисных ценностей в городской среде и специфики средовой идентичности студенческой молодежи, а также особенностей их ценностных ориентаций и личностного потенциала. К ним относятся: методики «Субъективная оценка значимости базисных ценностей» и «Субъективная оценка реализуемости базисных ценностей» (С.А. Богомаз), Шкала идентификации с городом (M. Lalli), Портретный ценностный опросник Ш. Шварца, опросник «Самоорганизация деятельности» (Е.Ю. Мандрикова), шкала «Самодетерминация личности» (К. Шелдон; в модификации Е.Н. Осина), Шкала удовлетворенности жизнью (Э. Динер; в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина).

Методика «Субъективная оценка реализуемости базисных ценностей» (СОРБЦ), разработанная С.А. Богомазом [10] на основе метода семантического дифференциала Ч. Осгуда, позволяет оценить специфику ценностных ориентаций человека в соответствующей социокультурной среде. Автор методики предлагает использовать данный инструмент для оценки как иерархии базисных ценностей городского жителя («Субъективная оценка значимости базисных ценностей», далее СОЗБЦ), так и степени реализуемости обозначенных ценностей в условиях города (СОРБЦ). Методика включает 20 базисных ценностей: «иметь хорошую работу», «быть здоровым», «быть материально обеспеченным», «иметь благополучную семью», «достичь успехов в профессии», «быть уважаемым», «достичь успехов в карьере», «любить и быть любимым», «стать свободным», «чувствовать себя в безопасности»,

«стать известным и знаменитым», «достичь желаемой цели», «жить полной жизнью», «найти смысл своей жизни», «получить обширные знания», «быть примером для других», «самоутвердиться в жизни», «быть уникальным и оригинальным», «иметь власть», «быть справедливым». Респондентам предлагается оценить степень значимости для них указанных ценностей (СОЗБЦ) или степень их реализуемости в условиях того или иного города (СОРБЦ) с помощью двухполюсной шкалы (от +3 до -3 баллов). Субъективная оценка реализуемости указанных ценностей позволяет судить о потенциале городской социокультурной среды в контексте личностно-профессионального развития респондентов, проживающих в той или иной местности.

Кроме того, для оценки степени выраженности средовой идентичности студенческой молодежи применялась Шкала идентификации с городом (M. Lalli). Данная методика позволяет выявить особенности идентификации с городом на основе пяти семантических блоков: «внешняя ценность», «общая привязанность», «связь с прошлым», «восприятие близости» и «целеполагание» [11].

Следующая методика – Портретный ценностный опросник (Ш. Шварц) – применялась для оценки характера ценностных ориентаций студенческой молодежи. Данный опросник дает возможность выявить степень важности для человека целого ряда ценностей через его цели, устремления и желания, а именно: «самостоятельность (поступки)», «самостоятельность (мысли)», «стимуляция», «гедонизм», «достижение», «власть (ресурсы)», «власть (доминирование)», «репутация», «безопасность (общественная)», «безопасность (личная)», «конформизм (правила)», «конформизм (межличностный)», «традиция», «скромность», «благожелательность (чувство долга)», «благожелательность (забота)», «универсализм (забота о других)», «универсализм (забота о природе)» и «универсализм (толерантность)» [12]. Выделенные 19 индивидуальных ценностей основываются на базовых условиях существования человека: потребностях самого организма, стремлении к социальному взаимодействию и потребности в принадлежности к какой-либо группе.

Ряд опросниковых методов был использован для изучения параметров личностного потенциала. Прежде чем приступить к обсуждению полученных результатов, отметим следующее. Опросник «Самоорганизация деятельности» был разработан Е.Ю. Мандриковой [13] и содержит шесть шкал: «плановность», «целеустремленность», «настойчивость», «фиксация», «самоорганизация», «ориентация на настоящее». Данная методика позволяет также вычислить суммарный балл, характеризующий человека в контексте его способности видеть и ставить цели, осуществлять планирование своей деятельности и проявлять упорство в достижении поставленных целей. Шкала «Самодетерминация личности» К. Шелдона, модифицированная Е.Н. Осиным [14], содержит три субшкалы («самотождественность», «самовыражение» и «воспринимаемый выбор»; их среднее арифметическое представляет собой «индекс самодетерминации») и позволяет оценить степень того, насколько человек самостоятелен в определении своего жизненного сценария. В данном исследовании для анализа результатов использовался только «индекс самодетерминации». Шкала удовлетворенности жизнью (Э. Динер) в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина [15] применялась для оценки степени удовлетворенности жизнью представителей студенческой молодежи, проживающих

в разных городах, на основе суммарного балла «индекс удовлетворенности жизнью».

Собранный с помощью описанных методик эмпирический материал обрабатывался статистически с помощью лицензионной программы Statistica 6.0. Использовались описательная статистика и однофакторный дисперсионный анализ (критерий Фишера). Выборка проверялась на нормальность распределения; для иллюстрации специфики межгрупповых различий по исследуемым параметрам в ходе обсуждения полученных результатов использовались средние значения (Mn).

Полученные результаты и их обсуждение

Далее представлены результаты статистического анализа в целом по выборке ($n = 291$) и отдельные показатели в сравнении по городам, в которых проводилось исследование. В соответствии с задачами данного исследования был проведен сравнительный анализ субъективной оценки респондентами потенциала городской среды через соотношение значимости и реализуемости базисных ценностей, показателей средовой идентичности студенческой молодежи в трех российских городах, их ценностных ориентаций и параметров их личностного потенциала.

Так, сравнение субъективной оценки значимости базисных ценностей и их реализуемости в городской среде позволяет выявить степень расхождения между идеальным и реальным представлением респондентов о **потенциале городской среды** в контексте их личностно-профессионального становления. На рис. 1 приведен сравнительный анализ степени значимости для участников исследования базисных ценностей и возможности их реализации в городской среде в целом по выборке ($n = 291$). Отметим, что почти три четверти анализируемых базисных ценностей оцениваются респондентами довольно высоко (средний балл составляет 5,00 и выше) как с точки зрения их личностной значимости, так и в контексте их реализуемости в условиях того или иного города. Это свидетельствует о том, что студенческая молодежь Томска, Барнаула и Петропавловска-Камчатского в целом позитивно оценивает потенциал этих городов, воспринимая их как социокультурное пространство, способствующее реализации их жизненных планов.

Однако при детальном анализе полученных профилей наблюдается определенный дисбаланс между ожидаемым и реальным в отношении потенциала городской среды в исследуемых городах. С одной стороны, около трети личностно значимых ценностей (например, «быть материально обеспеченным» ($Mn = 6,07$ балла), «иметь хорошую работу» ($Mn = 6,10$ балла), «чувствовать себя в безопасности» ($Mn = 6,14$ балла), «жить полной жизнью» ($Mn = 6,36$ балла), «достичь желаемой цели» ($Mn = 6,45$ балла), «быть здоровым» ($Mn = 6,49$ балла)) представляются респондентам «слабо» реализуемыми в условиях указанных городов. Подобные результаты были зафиксированы и ранее в рамках исследований, проводимых под руководством С.А. Богомаза (см., например, [3–4]). Представители так называемых «провинциальных» городов полагают, что такие средовые условия в меньшей степени позволяют достичь желаемого уровня материального благополучия, безопасности и здоровья, так же как и реализовать поставленные цели. Возможным объяснением такой диспропорции между степенью значимости ука-

занных базисных ценностей для представителей регионов и возможностью их реализации в соответствующих социокультурных средах является специфика социально-экономической ситуации в России, когда основные финансовые и человеческие ресурсы концентрируются в крупных городах.

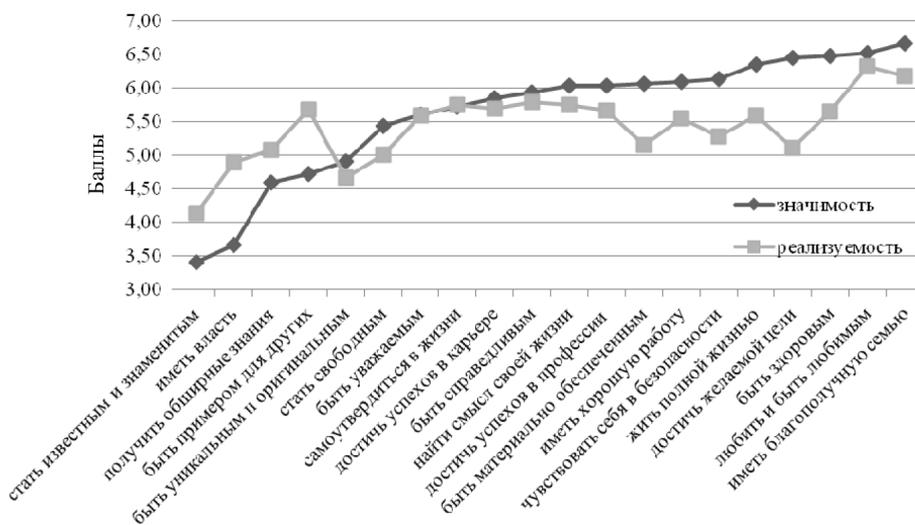


Рис. 1. Базисные ценности студенческой молодежи трех российских городов и их реализуемость (n = 291)

В то же время такие базисные ценности, как «иметь благополучную семью» и «любить и быть любимым», остаются в числе наиболее значимых для жителей регионов (Mn = 6,67 и 6,53 балла соответственно), что также согласуется с ранее полученными результатами [3–4]. Респонденты из исследуемых городов также высоко оценивают и реализуемость указанных базисных ценностей в них (Mn = 6,18 и 6,33 балла соответственно). Следует отметить, что такое смещение личностной значимости в сторону традиционных семейных ценностей характерно именно для представителей провинциальных городов в противовес жителям мегаполисов, где на первый план выходят ценности профессиональной реализации [16].

В отношении базисных ценностей, маркируемых наименее значимыми («стать известным и знаменитым» (Mn = 3,41 балла), «иметь власть» (Mn = 3,68 балла), «получить обширные знания» (Mn = 4,60 балла), «быть примером для других» (Mn = 4,72 балла)), потенциал городской среды с точки зрения их реализуемости оказывается довольно высоким, по мнению жителей этих городов (Mn = 4,14; 4,89; 5,08 и 5,69 балла соответственно). Другими словами, социокультурное пространство исследуемых городов субъективно воспринимается способствующим проявлению индивидуальности, но этот аспект не входит в число жизненных приоритетов студенческой молодежи провинциальных городов.

Проведенный однофакторный дисперсионный анализ (критерий Фишера) позволил выявить **специфику потенциала городской среды в трех российских городах** (Томск, Барнаул, Петропавловск-Камчатский) как в отношении значимости тех или иных базисных ценностей (рис. 2), так и с точки зрения их реализуемости в условиях города (рис. 3).

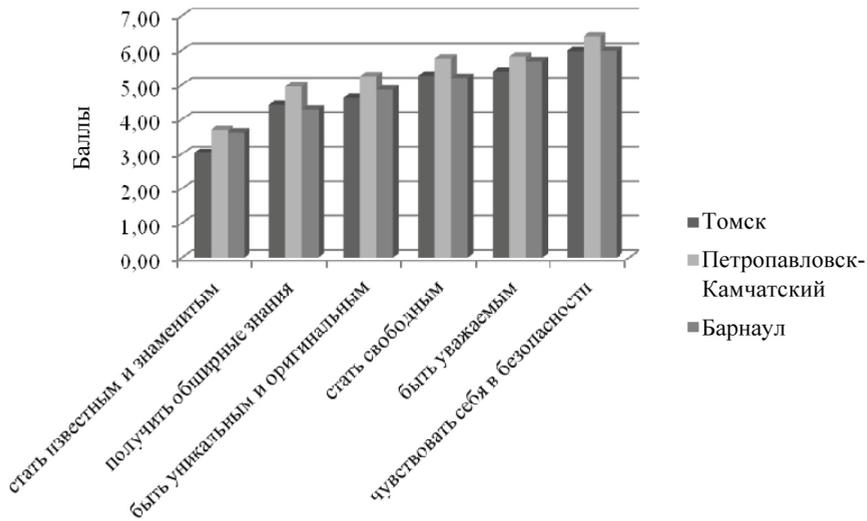


Рис. 2. Значимые различия между городами по отдельным показателям методики СОЗБЦ

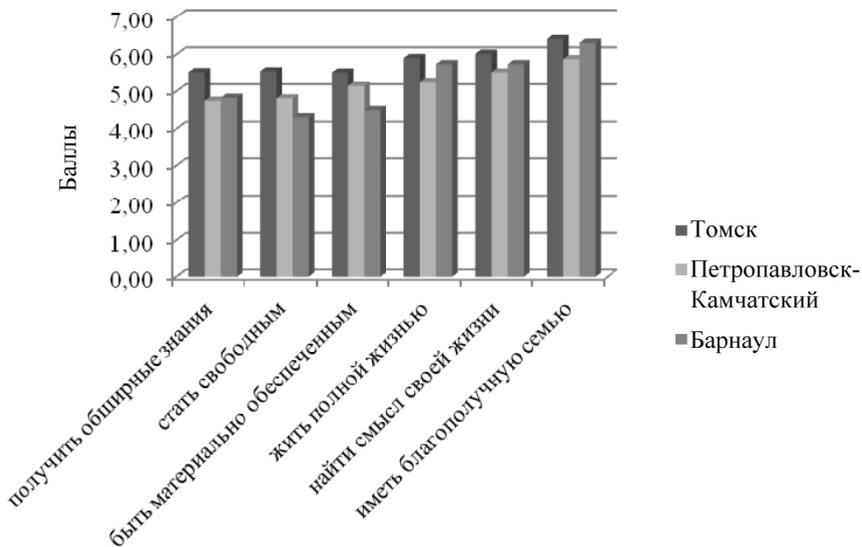


Рис. 3. Значимые различия между городами по отдельным показателям методики СОЗБЦ

Статистически достоверные различия ($p < 0,05$) по степени значимости базисных ценностей между исследуемыми городами были получены в отношении следующих показателей методики СОЗБЦ (рис. 2): «стать известным и знаменитым» ($F = 4,274$; $p = 0,015$), «получить обширные знания» ($F = 4,609$; $p = 0,011$), «быть уникальным и оригинальным» ($F = 3,714$; $p = 0,026$), «стать свободным» ($F = 3,953$; $p = 0,020$), «быть уважаемым» ($F = 3,396$; $p = 0,035$) и «чувствовать себя в безопасности» ($F = 4,340$; $p = 0,014$). Отметим, что представители студенческой молодежи *Петропавловска-Камчатского* демонстрируют большую степень личностной значимости указанных базисных ценностей (здесь и далее приведены соответствующие средние значения в

баллах: $Mn = 3,70; 4,95; 5,25; 5,77; 5,83; 6,41$) в сравнении с **Томском** или **Барнаулом**. На наш взгляд, этому может способствовать географическая и экономическая специфика Камчатки. Возможно, студенческой молодежи, проживающей территориально обособленно, проявление своей индивидуальности, обретение знаний о мире и достижение определенной степени свободы представляется важным и значимым. Кроме того, для студенческой молодежи Петропавловска-Камчатского вопросы безопасности имеют приоритетное значение, что также можно объяснить спецификой региона – сейсмически опасная зона и территория с моноотраслевой экономикой.

Наименьшие показатели по степени значимости таких базисных ценностей, как «стать известным и знаменитым», «быть уникальным и оригинальным» и «быть уважаемым», были получены для выборки из **Томска** ($Mn = 3,03; 4,64; 5,26$ балла соответственно). Возможным объяснением этому может быть специфика социокультурного пространства этого сибирского города – признанного образовательного и научного центра, куда приезжают учиться жители Западной и Восточной Сибири, ближнего и дальнего зарубежья. Вероятно, студенческая молодежь Томска менее амбициозна в проявлении своей индивидуальности и оригинальности в сравнении со студентами Барнаула или Петропавловска-Камчатского, определяя для себя другие жизненные приоритеты.

Степень различий субъективной оценки реализуемости отдельных базисных ценностей в исследуемых городах, полученной по методике СОРБЦ, показана на рис. 3. Статистически достоверные различия ($p < 0,05$) по реализуемости базисных ценностей в условиях своего города были выявлены в отношении следующих показателей по методике СОРБЦ: «получить обширные знания» ($F = 9,785; p = 0,000$), «стать свободным» ($F = 11,325; p = 0,000$), «быть материально обеспеченным» ($F = 5,906; p = 0,003$), «жить полной жизнью» ($F = 4,726; p = 0,010$), «найти смысл своей жизни» ($F = 3,105; p = 0,046$) и «иметь благополучную семью» ($F = 4,505; p = 0,012$).

Анализ полученных гистограмм (см. рис. 3) показывает, что **Томск** (в сравнении с Петропавловском-Камчатским и Барнаулом) представляется студенческой молодежи в большей степени способствующим реализации базисных ценностей, связанных с получением знаний ($Mn = 5,53$ балла), достижением материального благополучия ($Mn = 5,51$ балла), обретением определенной степени свободы ($Mn = 5,55$ балла) и смысла жизни ($Mn = 6,02$ балла), а также реализации семейных ценностей ($Mn = 6,41$ балла). Учитывая, что в общей выборке (см. рис. 1) наибольший разрыв между ожидаемым и реальным наблюдался как раз в отношении материальной обеспеченности и возможности жить полной жизнью, логично предположить, что студенты из Томска видят гораздо больше возможностей для самореализации в своем городе, чем их сверстники из Барнаула и Петропавловска-Камчатского.

Обращает на себя внимание и то, что студенты из **Петропавловска-Камчатского** (см. рис. 3) полагают, что их город позволяет им достичь желаемого уровня материального благосостояния ($Mn = 5,14$ балла) и обрести определенную свободу ($Mn = 4,81$ балла), но в меньшей степени (в сравнении с Томском и Барнаулом) способен помочь им реализовать свое стремление жить полной жизнью ($Mn = 5,23$ балла) и обрести ее смысл ($Mn = 5,52$ балла), а также реализовать семейные ценности ($Mn = 5,23$ балла). Студенты из **Бар-**

наула, напротив, считают, что их город в меньшей степени способствует реализации таких базисных ценностей, как «стать свободным» ($Mn = 4,31$ балла) и «быть материально обеспеченным» ($Mn = 4,50$ балла). Подобную картину можно также объяснить социальной и экономической спецификой исследуемых городов. Удаленность Камчатки от материковой части страны хоть и позволяет проживающим там людям обеспечить определенный материальный уровень жизни, но создает определенные трудности с точки зрения полноценной жизни и самореализации. Барнаул же, по мнению респондентов, предоставляет гораздо меньше возможностей для достижения материального благополучия и обретения определенной степени свободы.

Мы также сравнили Томск, Барнаул и Петропавловск-Камчатский в отношении показателей **идентификации с городом**, полученных с помощью Шкалы идентификации с городом (M. Lalli). Степень различий между этими городами представлена на рис. 4. Отметим, что статистически достоверные различия ($F = 13,161$; $p = 0,000$) между указанными городами были выявлены только по показателю «внешняя ценность».

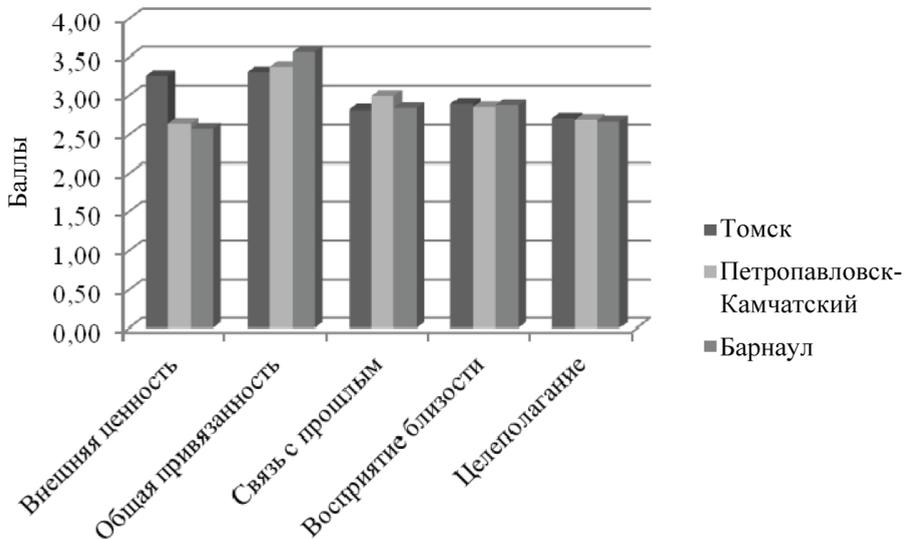


Рис. 4. Различия между городами по показателям (в баллах) Шкалы идентификации с городом (M. Lalli)

Другими словами, в **Томске** ($Mn = 3,26$ балла) обнаруживается высокая степень внешней привлекательности города для проживающей в нем студенческой молодежи в сравнении с **Барнаулом** ($Mn = 2,58$ балла) и **Петропавловском-Камчатским** ($Mn = 2,64$ балла). Аналогичные результаты были получены и в исследовании О.И. Муравьевой с коллегами [17]. Томск, по их мнению, занимает промежуточную позицию между крупными региональными центрами и провинциальными городами в силу своего статуса образовательного и инновационного центра, что способствует привлечению в город молодежи с высоким интеллектуально-личностным потенциалом из Сибирского федерального округа, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Полученный для Томска результат по показателю «внешняя ценность» также

согласуется и с представлением томских студентов о высоком потенциале городской среды в контексте реализуемости базисных ценностей, что обсуждалось выше.

Также следует отметить, что такой показатель идентификации с городом, как «общая привязанность», роднит все три исследуемых города ($Mn = 3,31$ балла для **Томска**; $Mn = 3,38$ балла для **Петропавловска-Камчатского** и $Mn = 3,56$ балла для **Барнаула**). Статистически достоверных различий по этому параметру не было выявлено. Однако именно этот показатель вносит большой вклад в структуру идентичности с городом у студенческой молодежи, что также подтверждается исследованиями О.И. Муравьевой с коллегами [17]. Жители провинциальных городов, идентифицируя себя с городом, в большей степени ориентируются на чувство привязанности к нему. Им важно воспринимать этот город «своим».

Нам также важно было изучить характер *ценностных ориентаций* студенческой молодежи в Томске, Барнауле и Петропавловске-Камчатском. Для реализации этой цели применялся Портретный ценностный опросник Ш. Шварца. Рис. 5 показывает статистически достоверные различия ($p < 0,05$) между исследуемыми городами по отдельным показателям использованной методики: «самостоятельность (поступки)» ($F = 4,878$; $p = 0,008$), «власть (ресурсы)» ($F = 4,472$; $p = 0,012$), «репутация» ($F = 5,551$; $p = 0,004$) и «универсализм (забота о природе)» ($F = 4,758$; $p = 0,009$).

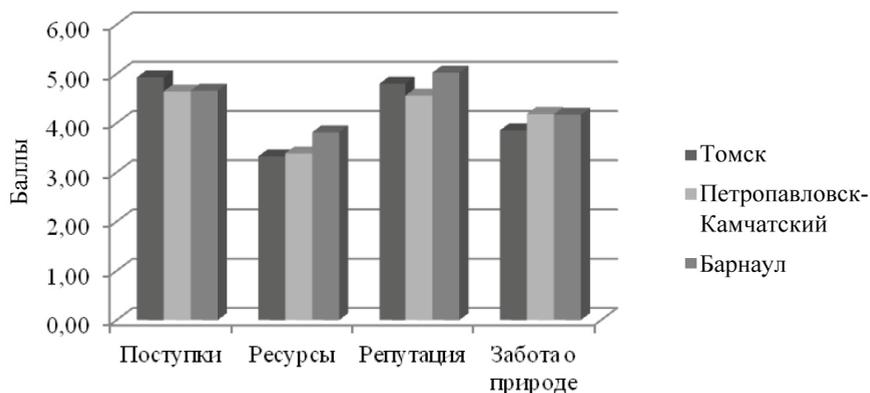


Рис. 5. Значимые различия между городами по отдельным показателям методики Ш. Шварца

Выявленные различия позволяют говорить о том, что для студенческой молодежи **Томска** большую ценность представляет свобода определять свои собственные действия ($Mn = 4,93$ балла), что согласуется и с высокой оценкой томскими студентами потенциала городской среды в контексте обретения этой самой свободы. Для студентов из **Барнаула** более ценной оказалась возможность осуществлять влияние за счет как контроля над материальными и социальными ресурсами ($Mn = 3,81$ балла), так и поддержания публичного имиджа ($Mn = 5,03$ балла). Возможно, ценность такого влияния обусловлена представлением о низкой степени реализуемости базисных ценностей, связанных с обретением свободы и достижением материального благополучия, в

сложившихся социокультурных условиях. Стремление сохранить природу в большей степени ценно для студенческой молодежи **Барнаула** ($Mn = 4,17$ балла) и **Петропавловска-Камчатского** ($Mn = 4,19$ балла), что, вероятно, связано с уникальностью и разнообразием природных ресурсов Алтайского края и Камчатки.

Далее мы обратились к сравнению степени выраженности параметров **личностного потенциала** у представителей студенческой молодежи трех исследуемых городов. Статистически достоверные различия ($p < 0,05$) были выявлены только по отдельным показателям (рис. 6): «целеустремленность» (параметр самоорганизации деятельности) – $F = 4,136$; $p = 0,017$ и «индекс самодетерминации» – $F = 4,214$; $p = 0,016$. Интерпретируя полученные результаты, можно отметить следующее. Студенты из **Томска** ($Mn = 34,77$ балла) и **Барнаула** ($Mn = 35,17$ балла) показывают более высокие значения в сравнении с **Петропавловском-Камчатским** ($Mn = 32,50$ балла) по такому параметру самоорганизации деятельности, как «целеустремленность». Этот показатель вносит свой вклад в оценку личностного потенциала человека, характеризуя его с точки зрения видения и понимания своих целей, способности осознать пути их достижения [13]. Следовательно, можно говорить о том, что студенческая молодежь Томска и Барнаула в большей степени способна осознать свои цели и прилагать конкретные усилия для их реализации в сравнении со своими сверстниками из Петропавловска-Камчатского. Вместе с тем по показателям «настойчивости» (этот параметр самоорганизации важен для понимания того, в какой степени человек способен прилагать волевые усилия для завершения начатого) студенты исследуемых городов практически не различаются. И это может указывать на имеющиеся у студенческой молодежи провинциальных городов дефициты в отношении реализации поставленных целей.

Обратимся теперь к другому параметру личностного потенциала, показавшему статистически достоверные различия по исследуемым городам, что уже отмечалось выше. «Индекс самодетерминации» является важным показателем степени личностной зрелости человека, определяя меру его способности действовать относительно свободно, вне зависимости от внешних и внутренних условий осуществления деятельности [18]. Рис. 6 показывает, что студенческая молодежь **Томска** ($Mn = 14,77$ балла) превосходит своих сверстников из **Барнаула** ($Mn = 13,87$ балла) и **Петропавловска-Камчатского** ($Mn = 13,96$ балла) по этому параметру личностного потенциала, обнаруживая тем самым большую способность томичей самостоятельно детерминировать свою деятельность. Отметим также, что в Томске наблюдается и самый высокий показатель по реализуемости в условиях города такой базовой ценности, как «стать свободным». Таким образом, учитывая полученные результаты по субъективной оценке реализуемости базисных ценностей (см. рис. 3), можно утверждать, что студенческая молодежь Томска, обладая большей самостоятельностью в выборе своей деятельности, определенным уровнем целеустремленности и обнаруживая больше возможностей для реализации значимых для себя ценностей, в большей степени способна реализовать свой личностный потенциал в условиях этого города.

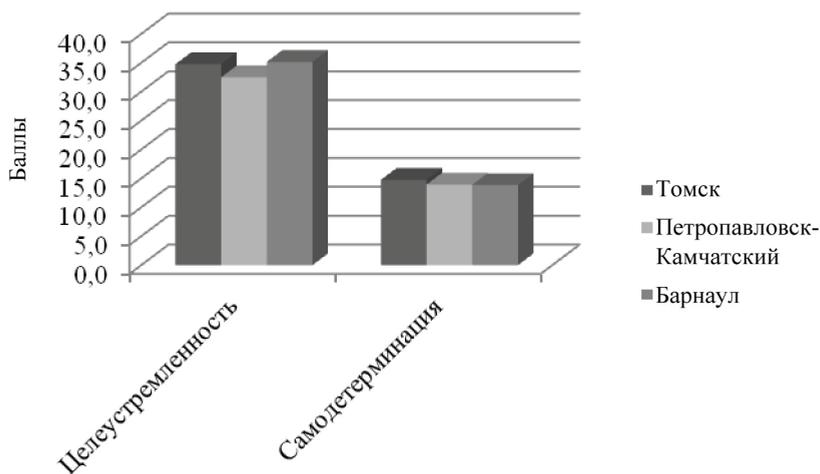


Рис. 6. Значимые различия между городами по показателю «целеустремленность» Опросника самоорганизации деятельности и суммарному индексу Шкалы самодетерминации личности

Заключение

Таким образом, проведенный сравнительный анализ ценностных ориентаций, особенностей средовой идентичности и параметров личностного потенциала студенческой молодежи трех российских городов позволил выявить определенную специфику личностно-средового взаимодействия.

Во-первых, студенческая молодежь Томска, Барнаула и Петропавловска-Камчатского в целом позитивно оценивает потенциал этих городов, воспринимая их как социокультурное пространство, способствующее реализации их жизненных планов. Однако наблюдается определенный дисбаланс между ожидаемым (значимость базисных ценностей) и реальным (реализуемость базисных ценностей) в отношении потенциала городской среды в исследуемых городах. По мнению представителей так называемых «провинциальных» городов, такие средовые условия в меньшей степени позволяют достичь желаемого уровня материального благополучия, безопасности, здоровья и реализовать поставленные цели. Возможным объяснением такой диспропорции между степенью значимости указанных базисных ценностей для представителей регионов и возможностью их реализации в соответствующих социокультурных средах является специфика социально-экономической ситуации в России, когда основные финансовые и человеческие ресурсы концентрируются в крупных городах.

Во-вторых, была выявлена определенная специфика потенциала городской среды в исследуемых городах как в отношении значимости отдельных базисных ценностей, так и с точки зрения их реализуемости в условиях города. Были получены статистически достоверные различия ($p < 0,05$) по степени значимости таких базисных ценностей, как «стать известным и знаменитым», «получить обширные знания», «быть уникальным и оригинальным», «стать свободным», «быть уважаемым» и «чувствовать себя в безопасности». Отметим, что представители студенческой молодежи Петропавловска-Камчатского демонстрируют большую степень личностной значимости ука-

занных базисных ценностей, возможно, в силу географического и социально-экономического положения своего региона. С точки зрения реализуемости базисных ценностей Томск представляется студенческой молодежи в большей степени способствующим реализации базисных ценностей, связанных с получением знаний, достижением материального благополучия, обретением определенной степени свободы и смысла жизни, а также реализации семейных ценностей, что также отражает социокультурные условия Томска – признанного образовательного и инновационного центра Сибирского региона.

В-третьих, была обнаружена высокая степень внешней привлекательности Томска для проживающей в нем студенческой молодежи в сравнении с Барнаулом и Петропавловском-Камчатским. Данный результат подтверждает статус города как образовательного и инновационного центра, что способствует привлечению молодежи с высоким интеллектуально-личностным потенциалом из Сибирского федерального округа, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Полученный для Томска результат по показателю «внешняя ценность» (методика М. Lalli) также согласуется и с представлением томских студентов о высоком потенциале городской среды в контексте реализуемости базисных ценностей.

В-четвертых, анализ характера ценностных ориентаций и степени выраженности параметров личностного потенциала позволяет утверждать, что студенческая молодежь Томска, обладая большей самостоятельностью в выборе своей деятельности, определенным уровнем целеустремленности и обнаруживая больше возможностей для реализации значимых для себя ценностей в условиях города, в большей степени способна использовать потенциал городской среды в контексте своего личностно-профессионального становления.

В-пятых, проведенное исследование открывает перспективу комплексного изучения психологической готовности к деятельности современной молодежи как с точки зрения оценки потенциала городской среды в отношении личностно-профессионального становления молодых людей, так и с позиции их ценностных ориентаций и реализации личностного потенциала. Полученные результаты и исследовательские подходы могут быть положены в основу программ психологического сопровождения личностно-профессионального становления современной молодежи с учетом средовой специфики.

Литература

1. Аузан А.А. О возможности перехода к экономической стратегии, основанной на специфике человеческого капитала в России // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. № 2 (26). С. 243–248.
2. Бохан Т.Г., Баланев Д.Ю., Мацута В.В., Щёткина Н.Н., Таскина И.А., Фрокол А.С. Личностная готовность к инновационному поведению молодежи народов Сибири // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 348. С. 110–114.
3. Атаманова И.В., Стариченко О.Н., Богомаз С.А. Психологические особенности магистрантов и аспирантов, обучающихся в вузах с ориентацией на классическое и инженерное образование // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 367. С. 128–135.
4. Bogomaz S.A., Kozlova N.V., Atamanova I.V. University students' personal and professional development: The socio-cultural environment effect // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. № 214. P. 552–558.
5. Ключко В.Е. Самоорганизация в психологических системах: проблемы становления ментального пространства личности (введение в трансспективный анализ). Томск: Томский государственный университет, 2005. 174 с.

6. Козлова Н.В., Овчинникова Ю.В. Особенности образа мира личности на разных этапах лично-профессионального становления // Сибирский психологический журнал. 2016. № 62. С. 96–112. DOI: 10.17223/17267080/62/8

7. Белинская Е.П. Изменчивость Я: кризис идентичности или кризис знания о ней? // Психологические исследования. 2015. Т. 8, № 40. С. 12. URL: <http://psystudy.ru> (дата обращения: 10.12.2016).

8. Лукьянов О.В. Тенденции понимания личностной идентичности в системно-антропологическом ракурсе // Сибирский психологический журнал. 2009. № 34. С. 18–23.

9. Леонтьев Д.А., Мандрикова Е.Ю., Осин Е.Н., Плотникова А.В., Рассказова Е.И. Опыт структурной диагностики личностного потенциала // Психологическая диагностика. 2007. № 1. С. 8–31.

10. Богомаз С.А., Мацуга В.В. Субъективная оценка реализуемости базисных ценностей в городской среде // Сибирский психологический журнал. 2012. № 46. С. 67–75.

11. Микляева А.В., Румянцева П.В. Городская идентичность жителя современного мегаполиса: ресурс личностного благополучия или зона повышенного риска? СПб.: Речь, 2011. 160 с.

12. Шарц Ш., Бутенко Т.П., Седова Д.С., Литатова А.С. Уточненная теория базовых индивидуальных ценностей: применение в России // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 9, № 2. С. 43–70.

13. Мандрикова Е.Ю. Опросник самоорганизации деятельности. М.: Смысл, 2007. 15 с.

14. Osin E., Boniwell I. Self-determination and well-being. Poster presented at the Self-Determination Conference, Ghent, Belgium, 2010.

15. Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. Апробация русскоязычных версий двух шкал экспресс-оценки субъективного благополучия // Материалы III Всероссийского социологического конгресса. М.: Институт социологии РАН; Российское общество социологов, 2008. URL: http://www.isras.ru/abstract_bank/1210190841.pdf (дата обращения: 27.02.18)

16. Богомаз С.А., Литвина С.А., Неякина Ю.Ю., Рассказова Е.И. Особенности восприятия городской среды в Москве, Томске и Петропавловске-Камчатском // От истоков к современности: 130 лет организации психологического общества при Московском университете: юбилейная конференция: в 5 т. М., 2015. Т. 3. С. 120–122.

17. Муравьева О.И., Литвина С.А., Кружкова О.В., Богомаз С.А. Особенности структуры идентичности с городом молодежи российских городов // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2017. № 1. С. 63–80.

18. Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2011. 680 с.

Atamanova Inna V. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: iatamanova@yandex.ru

Kozlova Natalia V. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: akme_2003@mail.ru

Bogomaz Sergey A. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: bogomazsa@mail.ru

Zalevsky Vladislav G. Altai Regional Institute of Professional Development of Educators (Barnaul, Russian Federation)

E-mail: salevsky@mail.ru

Neyaskin Yulia Yu. V. Bering Kamchatka State University (Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation)

E-mail: neyasknaju@yandex.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/11

SPECIFICITY OF PERSONALITY-ENVIRONMENT INTERACTION ON THE EXAMPLE OF STUDENTS FROM THREE RUSSIAN CITIES

Key words: personality-environment interaction, basic values, system of values, environmental identity, personal and professional development.

High quality human capital is becoming the focus of modern ideas about the possible ways and strategies for further development of the Russian society. The capitalization of the human resource involves the presence of certain socio-cultural characteristics directly related to one's values and behavioural attitudes. In this regard, the issues of personality-environment interaction in the context of young people's personal and professional development are of particular relevance. The paper presents the results of comparative analysis of value orientations, features of environmental identity and param-

eters of personal potential in students of three Russian cities (Tomsk, Barnaul and Petropavlovsk-Kamchatsky). The research tools included a number of questionnaires aimed at studying subjective evaluation of basic values realizability in the urban environment and specific features of university youth's environmental identity, as well as their value orientations and parameters of personal potential. There was a certain imbalance between the expected (the significance of basic values) and the real (the realizability of basic values) in relation to the urban environment potential in the cities examined. According to representatives of the so-called provincial cities, such environmental conditions to a lesser degree allow them to achieve a desired level of material well-being, safety, health and to implement their goals. A possible explanation for this disparity between the degree of significance of these basic values for young people in the regions and the possibility of their realization in their sociocultural environments is the specificity of the socio-economic situation in Russia, when major financial and human resources are concentrated in megapolises. Analysis of the study participants' value orientations, specifics of their environmental identity and parameters of their personal potential showed a rather high potential of the urban environment in Tomsk in the context of students' personal and professional development that corresponds to its status of an educational and innovative centre of Siberia. The study results and research approaches can be the basis for psychological support programs to enhance modern youth's personal and professional development, taking into account the environmental specifics.

References

1. Auzan, A.A. (2015) On the Possibility of Transition to an Economic Strategy Based on the Specifics of Human Capital in Russia. *Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii – Journal of the New Economic Association*. 2(26). pp. 243–248. (In Russian).
2. Bokhan, T.G., Balanev, D.Yu., Matsuta, V.V., Shchetkina, N.N., Taskina, I.A. & Frokol, A.S. (2011) Personal availability of Siberian youth to innovative behaviour. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 348. pp. 110–114. (In Russian).
3. Atamanova, I.V., Starichenko, O.N. & Bogomaz, S.A. (2013) Psychological features of master and doctoral students at universities oriented towards classical and engineering education. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 367. pp. 128–135. (In Russian).
4. Bogomaz, S.A., Kozlova, N.V. & Atamanova, I.V. (2015) University students' personal and professional development: The socio-cultural environment effect. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 214. pp. 552–558. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.759
5. Klochko, V.E. (2005) *Samoorganizatsiya v psikhologicheskikh sistemakh: problemy stanovleniya mental'nogo prostranstva lichnosti (vvedenie v transspektivnyy analiz)* [Self-organisation in psychological systems: Problems of formation of the person's mental space (introduction to transpective analysis)]. Tomsk: Tomsk State University.
6. Kozlova, N.V. & Ovchinnikova, Yu.V. (2016) Special features of a world image on the process of personal and professional formation. *Sibirskiy psikhologicheskii zhurnal – Siberian Journal of Psychology*. 62. (In Russian). pp. 96–112. DOI: 10.17223/17267080/62/8
7. Belinskaya, E.P. (2015) The variability of self: an identity crisis or a crisis of knowledge about it? *Psikhologicheskie issledovaniya – Psychological Studies*. 8(40). pp. 12. [Online] Available from: <http://psystudy.ru>. (Accessed: 10th December 2016). (In Russian).
8. Lukyanov, O.V. (2009) Tendentsii ponimaniya lichnostnoy identichnosti v sistemno-antropologicheskom rakurse [Tendencies of person's identity interpretation in the anthropological approach]. *Sibirskiy psikhologicheskii zhurnal – Siberian Journal of Psychology*. 34. pp. 18–23.
9. Leontiev, D.A., Mandrikova, E.Yu., Osin, E.N., Plotnikova, A.V. & Rasskazova, E.I. (2007) Opyt strukturnoy diagnostiki lichnostnogo potentsiala [Structural diagnostics of personal potential]. *Psikhologicheskaya diagnostika*. 1. pp. 8–31.
10. Bogomaz, S.A. & Matsuta, V.V. (2012) Sub"ektivnaya otsenka realizuemosti bazisnykh tsennostey v gorodskoy srede [Subjective assessment of basic values' realizability in the urban environment]. *Sibirskiy psikhologicheskii zhurnal – Siberian Journal of Psychology*. 46. pp. 67–75.
11. Miklyaeva, A.V. & Rumyantseva, P.V. (2011) *Gorodskaya identichnost' zhitelya sovremennoy megapolisa: resurs lichnostnogo blagopoluchiya ili zona povyshennogo riska?* [Urban identity of a modern megapolis resident: a resource of personal well-being or a zone of high risk?]. St. Peterburg: Rech'.
12. Shvarts, Sh., Butenko, T.P., Sedova, D.S. & Lipatova, A.S. (2012) Utochnennaya teoriya bazovykh individual'nykh tsennostey: primeneniye v Rossii [A refined theory of basic individual values: Its application in Russia]. *Psikhologiya. Zhurnal Vyshey shkoly ekonomiki*. 9(2). pp. 43–70.

13. Mandrikova, E.Yu. (2007) *Oprosnik samoorganizatsii deyatel'nosti* [Self-organization activity questionnaire]. Moscow: Smysl.

14. Osin, E. & Boniwell, I. (2010) *Self-determination and well-being*. Poster presented at the *Self-Determination Conference*. Ghent, Belgium.

15. Osin, E.N. & Leontiev, D.A. (2008) *Aprobatsiya russkoyazychnykh versiy dvukh shkal ekspressotsenki sub"ektivnogo blagopoluchiya* [Approbation of Russian-language versions of two scales of express assessment of subjective well-being]. Proc. of the Third All-russian Sociological Congress. Moscow: Institute of Sociology, RAS; Russian Society of Sociologists. [Online] Available from: http://www.isras.ru/abstract_bank/1210190841.pdf. (Accessed: 27th February 2018).

16. Bogomaz, S.A., Litvina, S.A., Neyaskina, Yu.Yu. & Rasskazova, E.I. (2015) *Osobennosti vospriyatiya gorodskoy sredy v Moskve, Tomsk i Petropavlovsk-Kamchatskom* [Perception of the urban environment in Moscow, Tomsk and Petropavlovsk-Kamchatsky]. In: Bogoyavlenskaya, D. (ed.) *Ot istokov k sovremennosti: 130 let organizatsii psikhologicheskogo obshchestva pri Moskovskom universitete* [From the Beginnings to the Present: 130 years of the Moscow University Psychological Society]. Vol. 3. Moscow: Kogito-tsentr. pp. 120–122.

17. Muravieva, O.I., Litvina, S.A., Kruzhkova, O.V. & Bogomaz, S.A. (2017) Russian young city-dwellers: structural features of urban identity. *Vestnik Novosibirskogo gosudar-stvennogo pedagogicheskogo universiteta – Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin*. 1. pp. 63–80. (In Russian). DOI: 10.15293/2226-3365.1701.05

18. Leontiev, D.A. (2011) *Lichnostnyy potentsial: struktura i diagnostika* [Personal potential: Its structure and diagnostics]. Moscow: Smysl.

УДК 316.3

DOI: 10.17223/1998863X/41/12

И.В. Демичев

ДИНАМИКА СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ¹

В данной статье на основании теоретической модели сложной системы идентичностей рассматривается проблема динамики отношений между ними. Выделяются три уровня анализа динамики, образуемые фундаментальными, частными и актуальными группами факторов, влияющих на социокультурную динамику. На каждом уровне формулируются по три возможных обобщения направления динамики, характеризующих состояние отношений между идентичностями системы.

Ключевые слова: *идентичность, динамика идентичности, конструктивизм.*

В современной гуманитарной науке тема коллективной идентичности и ее динамики представляет интерес для многих. Большинство исследователей сходятся во мнении о неустойчивом состоянии российской идентичности, связанном с противоречиями как в содержании (различия в оценках советского и дореволюционного прошлого; различия в региональном и профессионально-стратовом аспектах), так и в соотношении различных компонентов (политико-идеологического, этнического, конфессионального и т.д.) [1, 2]. В свете данных дискуссий считаем целесообразным проанализировать основные факторы динамики идентичности. В работе идентичности рассматриваются в рамках теории конструктивизма как некие социальные конструкты [3], формирующие сложную систему коллективных идентичностей, в которой выделяются типы идентичностей (территориальные, профессионально-стратовые, национальные, конфессиональные) и виды (фокусные, вторичные, атрибутивные). Отношения между этими идентичностями и распределение по видам системы являются динамичными, и возможен их переход из одного вида в другой. На основе данных отношений формируются режимы функционирования идентичностей, которые сводятся к стабильному и нестабильному режимам. При нестабильном режиме функционирования может быть режим акцентированной идентичности и режим инерционной идентичности. В первом случае идентичности присваивается обязательный статус, а при втором режиме идентичность сводится в большинстве своем лишь к внешней атрибутике. Данные установки могут быть и внутри одной идентичности, и в соответствии с тем, какие установки преобладают в нем, формируется общий режим функционирования этой идентичности. Отношения между элементами системы зависят от этих установок, комплементарные и взаимные установки приводят к гармоничному состоянию системы идентичностей, некомплементарность и невзаимность приводят к установлению напряженности и конфликтности отношений между данными видами коллективных идентичностей и всей системы в целом.

¹ Работа подготовлена в рамках исполнения Государственного задания «Этноконфессиональный фактор в формировании российской гражданской идентичности в Республике Башкортостан».

На основании этого можно перейти к описанию динамики системы идентичностей. Существует огромный соблазн свести ее к количественной оценке самоопределений по национальному и конфессиональному признаку, а также к описанию работы соответствующих организаций, однако этого совершенно недостаточно. Динамика идентичностей, по понятным основаниям, касается не только самоназвания: все их элементы (образы, маркеры, стереотипы поведения, формы солидарности) подвержены изменениям, которые зависят как от состояния социокультурной общности, так и от коллективного и группового самосознания ее членов, а кроме того, от функционирования специализированных и неспециализированных институционально-дискурсивных структур, влияющих на идентичность, коллективное и групповое сознание и общность в целом. Однако в этом случае проблема динамики идентичностей оказывается слишком размытой и не поддается рациональному анализу.

Можно выделить три группы факторов динамики, сказывающихся на системе идентичностей данной социокультурной общности, каждая из которых отвечает за логику и направленность изменений на своем уровне.

В первую очередь это группа факторов, которая отвечает за основные процессы, протекающие в общности в целом, обозначим их как фундаментальные. Здесь отмечаются наиболее общие тенденции развития отношений – институциональных и дискурсивных, определяющие не конкретику, а общие условия, в которых существуют и функционируют идентичности, а также обеспечивающие их структуры, от них зависят как общее состояние аудиторий и сообществ, репрезентирующих себя и отвечающих на репрезентацию, так и более конкретные формы, например эстетические и когнитивные, которые обуславливают общее состояние индивидуального, группового и коллективного сознания всех членов общности.

Во вторую очередь это группа факторов, которая касается существования, деятельности и трансформаций входящих в данную общность сообществ – в данном случае их самих, поскольку во многом формы и функционирование идентичностей определяются не столько отвлеченными установками, сколько реальностью и рефлексией отношений между сообществами и внутри них. Соответственно, факты отношений между ними, между подгруппами сообществ и т.п. способны направить в ту или иную сторону процесс воспроизводства идентичности, а также влияют на внутреннее их членение. Эту группу факторов можно обозначить как частную.

Наконец, в третью очередь это группа факторов, которая касается уже непосредственно институционально-дискурсивных структур сообществ и общности в целом, в рамках которых происходит формирование, рефлексия, трансляция и актуализация установок, образов, маркеров и других элементов идентичностей, а также реагирование на это со стороны данной и всех остальных аудиторий носителей идентичностей, членов сообществ. Это наиболее активный и изменчивый уровень рассмотрения динамики системы идентичностей, поскольку здесь соответствующие вопросы наиболее наглядно выражены, хотя и вряд ли представляют собой некоторую целостность. В то же время именно факторы данной группы наиболее подвержены оперированию. Соответственно, этот уровень имеет смысл обозначить как актуальный.

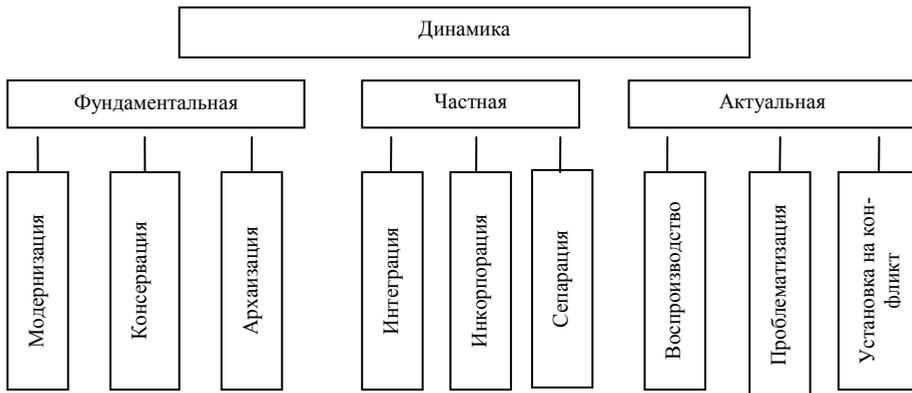


Рис. 1. Факторы и тенденции динамики идентичностей

Необходимо отметить, что эти три группы факторов нельзя рассматривать отдельно друг от друга: это уровни анализа динамики идентичностей, каждый из которых как определяется другими, так и оказывает на них влияние. Так, фундаментальный уровень, с одной стороны, определяет саму логику и генеральную тенденцию, в рамках которой могут развиваться эффекты частного уровня, выражаемые в деятельности организаций и структур, – и все вместе они определяют динамику системы идентичностей, образуя некоторую равнодействующую. С другой стороны, в зависимости от того, как отражены и выражены установки идентичностей и отношения между ними в среде актуальных структур, а также на какие их варианты склонны ориентироваться широкие аудитории сообществ данной социокультурной общности, зависит, какие отношения между ними будут проявляться на уровне частных факторов, а уже установки, зафиксированные здесь, оказывают влияние на протекающие в общности фундаментальные процессы. В этом смысле вектор зависимости «от фундаментального к актуальному» отражает объективный (интерсубъективный) характер, а вектор зависимости «от актуального к фундаментальному» – оперативный.

Не вдаваясь в подробный анализ самих групп выделенных факторов, которые носят дискуссионный и проблематичный характер, можно отметить варианты образуемых ими тенденций, которые будут сказываться на специфике функционирования системы идентичностей социокультурной общности и ее сообществ.

На фундаментальном уровне можно выделить, во-первых, стабильное состояние системы, когда ее институционально-дискурсивные структуры устойчивы, их изменения не выходят за пределы самопогашаемых флуктуаций, а сообщества, организованные ими, успешно воспроизводятся и не входят в конфликт друг с другом. В этом случае и система идентичностей будет проявлять устойчивость, гася нежелательные изменения за счет собственных механизмов поддержания порядка, а сама установка на изменения не будет рассматриваться носителями как правомочная. Во-вторых, это нестабильные состояния общности, которые можно подразделить на два существенно отличающихся друг от друга вида. Следует отметить, что вне зависимости от них нестабильный режим функционирования общности в любом случае будет реализовывать установки на изменения, возможности системы по подавле-

нию изменений будут исчерпаны, а флуктуации, входя во взаимный резонанс, будут приобретать устойчивый характер. Оба эти режима отличаются друг от друга общей направленностью изменений, но по итогам предполагают некоторую новую форму снятых противоречий между элементами системы, ложащуюся в основу некоторого нового стабильного режима функционирования общности.

Различия между ними касаются направленности изменений на расширение возможностей системы или, наоборот, их сокращение – создание таких структур и отношений, которые окажутся в состоянии генерировать, распределять и употреблять больший или меньший объем материальных, социальных и культурных благ. Поэтому эти процессы можно обозначить как модернизационный в первом случае или архаизирующий – во втором. Следует оговориться, что в любом случае при нестабильном режиме функционирования общности будут проявляться интенции обоих направлений [4], поскольку они вызываются попытками адаптации системы к изменившимся условиям существования общности, а значит, связаны с перераспределением благ в ее рамках. При этом части структур и областей общности будут по-разному обеспечиваться ими – и там, где благ будет недостаточно для воспроизводства структуры отношений, будут развиваться архаизирующие процессы, а там, где благ будет достаточно, будут развиваться процессы модернизационные. В таких частях социокультурной общности будут также по-разному разворачиваться и процессы трансформации идентичностей, что в значительной мере усложняет анализ общей ситуации и неизбежно порождает дополнительные напряженности в их системе. Общую же оценку состояния социокультурной общности можно давать, ориентируясь на сравнительную мощность обеих тенденций – смотря по тому, какая из них может и способна лечь в основу предполагаемой будущей стабильности.

Для примера вновь обратимся к отечественной истории XX в., где вначале явно отражалась модернизационная тенденция перехода от аграрного общества к индустриальному. Противоречия этого перехода выразились в феномене революции и обусловили переход от Российской Империи к Советскому Союзу в институциональном плане, а попутно – практически полностью изменили систему идентичностей: от этнических и сословных они перешли к национальным, а конфессиональные идентичности оказались в значительной части утраченными. После разрешения противоречий модернизации к 50-м гг. СССР перешел в режим стабильного воспроизводства социокультурной системы. Однако позднее, уже в 70-е гг., обозначился новый кризис, связанный с падением отдачи инвестиций, научно-техническими инновациями и изменениями в общественном сознании уже зрелого индустриального городского типа общества. Именно в рамках этого кризиса стали одновременно развиваться и новые модернизационные установки, и установки архаизаторские [5]. Аналогично и на уровне частных факторов динамики системы можно выделить несколько обобщенных типов их влияния. Поскольку этот уровень рассмотрения касается отношений между сообществами, можно обозначить возможные общие направления этих отношений – на интеграцию, инкорпорацию или сепарацию. Интеграция в этом смысле будет оценкой установок сообществ на взаимное объединение, такое, что они выступают вариациями большой общности, соответственно, их идентичности

также будут представлять собой вариацию общей идентичности. Инкорпорацией будет выступать склонность сообществ к включению в систему общности при сохранении собственной самостоятельности. Сепарация – установка на исключение сообщества из системы. Очевидно, что эти установки, как и в случае с факторами фундаментальной динамики, могут по-разному проявляться в разных сообществах: одни будут склонны к интеграции, другие – к инкорпорации, третьи – к сепарации. В стабильном состоянии эти ориентации скомпенсированы и, как правило, доминируют интеграция и инкорпорация, в нестабильном – активно начинает развиваться установка на сепарацию и инкорпорацию, поскольку элементы системы, сообщества начинают не только рефлексировать само нестабильное состояние, но и в любом случае негативно его оценивать. Более того, элементы, ориентированные на разные виды нестабильной динамики, будут сепаратно настроены относительно друг друга. Аналогично для того, чтобы оценить общую ситуацию в общности, следует ориентироваться на некоторую равнодействующую, складывающуюся из установок частных сообществ системы.

Опять же обращаясь к советскому периоду отечественной истории, можно отметить в этом плане, что в целом модель национальных отношений имела характер инкорпорационный, что выражалось в форме национально-территориальных республик и автономий СССР. Однако, как уже отмечалось выше, к 60-м гг. стала складываться интеграционная модель, на которую опиралось союзное руководство и которая выразилась в тезисе о «новой исторической общности, советском народе». Эта общность мыслилась многонациональной, однако упор делался на общих ценностях, образе жизни, политико-идеологических установках и т.п., которые полагались общими для всех советских людей. Следует отметить, что в данном случае нет смысла разделять и противопоставлять идеологическую установку советского руководства и общественные настроения, поскольку данная установка вполне была воспринята советским народом и обнаруживается даже сейчас. Параллельно этой модели стала складываться и обратная ей сепарационная установка, постулировавшая отделение национальных и республиканских сообществ от союзного центра и советского общества в целом, которой в последующем воспользовалось руководство союзных республик при распаде СССР и которая породила череду национальных конфликтов в конце перестройки и на постсоветском пространстве.

Следует оговориться, что это именно отношения общностей, а не только их представителей или каких-то организаций, установки группового и коллективного сознания членов этих сообществ. Именно поэтому и следует выделять следующий уровень динамики системы идентичностей – актуальный, на котором в качестве факторов выступают организованные группы и структуры, обеспечивающие функционирование идентичностей. Разделяя сообщества и организации, необходимо отметить, что, с одной стороны, организации всегда существуют в рамках сообществ и выступают их некоторой рефлексивной частью, а с другой – сообщества ориентируются на различные организации в их составе в зависимости от того, насколько транслируемые ими установки находят отклик и поддержку у соответствующих сообществ. На этом уровне можно относительно наглядно показать не только внешние отношения между сообществами – хотя по большей части именно на этом со-

средоточиваются оргструктуры. Здесь анализу могут быть подвергнуты обеспеченность данной идентичности институционально-дискурсивными структурами, внутренние субидентичности, уровень их рефлексивности и адекватности как собственному положению, так и состоянию системы, внешнему окружению и т.п.

Сообщества и их подгруппы могут проявлять три варианта ориентаций, касающихся идентичности: самовоспроизводство в наличных условиях, проблематизацию собственного положения и формирование конфликтности в отношении других сообществ или общности в целом. Аналогично ранее рассмотренным примерам это может относиться как к внутренним структурам сообществ, так и к сообществам как таковым и общности в целом. В то же время нельзя не подчеркнуть, что в сообществах всегда будут подгруппы, которые проблематизируют статус и склонны к противопоставлению остальным сообществам и все зависит от уровня их поддержки со стороны аудиторий данного сообщества: если основная масса членов сообщества удовлетворена наличным положением, она не будет поддерживать проблематизирующие и конфликтные группы, и наоборот.

В этом смысле можно рассмотреть кризис национальных отношений позднего СССР как наглядную иллюстрацию взаимодействия частного и актуального уровней динамики на примере того, как под действием активности организаций с «национальной (украинской, грузинской, даже русской) антисоветской» идеологией менялся настрой советских наций с инкорпоративного на сепарационный. В условиях современного Башкортостана схожие отношения можно проследить, например, в конфессиональных сообществах – активное противостояние суфийских и салафитских групп [6] уже в определенной мере влияет на ориентацию идентичностей мусульманской уммы республики [7], хотя еще рано говорить, что образовался некоторый общий вектор.

Понятно, что при любом состоянии общности, образуемом фундаментальной динамикой, все три варианта актуальной динамики будут реализовываться, но будут делать это по-разному. В общем виде установка на самовоспроизводство сообществ в стабильной системе будет основной, а остальные так или иначе будут подавляться структурами обеспечения упорядоченности. Но в нестабильной системе эта же установка в случае модернизационной динамики будет выступать инерционным, а позднее – архаическим фактором; в случае архаизирующей динамики, наоборот, фактором стабилизации отношений. Проблематизация статуса, по сути, выступает исходной посылкой для любых изменений отношений между сообществами, поскольку ставит под сомнение эти отношения и предполагает некоторую их трансформацию. В этом смысле проблематизация неизбежна в условиях нестабильной системы и можно сказать, что сама ведет к дестабилизации. В свою очередь, установка на конфликт также свойственна нестабильной системе и выражается в условиях, когда проблематизированные статусы не удалось согласовать на новом, приемлемом для сторон уровне.

В целом социокультурная динамика представляет собой равнодействующую, образуемую всей совокупностью отмеченных факторов, и будет выражаться как во внутреннем перераспределении установок сообществ, так и в смене соотношений типов их идентичностей, что, в свою очередь, будет ска-

зываются на изменении отношений между элементами системы идентичностей общности.

Так, дестабилизация социокультурной системы будет означать, что аудитории во все возрастающем объеме оказываются неудовлетворенными наличным положением – и либо стремятся восстановить прежние отношения, либо создать некоторые новые. Это неизбежно сдвигает режимы функционирования идентичностей от инерционного к стабильному, а от него – к акцентированному, поскольку проблематизация статуса вызывает рефлексию собственного положения и самосознания. В свою очередь, это усиливает установки на инкорпорацию, по мере развития конфликтности – на сепарацию сообщества, что сказывается на статусном конфликте между фокусной и вторичными идентичностями. Последние пересматривают свое отношение к первой в пользу большего дистанцирования, а первая, стремясь сохранить свое положение, усиливает давление на вторые, подчиняя, а далее – подавляя их.

В целом в этих условиях комплементарные отношения между идентичностями системы сдвигаются в сторону напряженных, а связи между ними ослабевают, несмотря на высокую степень взаимной диффузии их содержания (образов, маркеров, стереотипов поведения и т.п.). Можно даже утверждать, что в таких условиях чем больше будет диффузия, тем больше будут акцентироваться отличия и с тем большей настойчивостью они будут отстаиваться, что в значительно меньшей степени будет способствовать конструктивному разрешению противоречий и нормализации отношений.

Литература

1. Костина А.В. Кризис современной идентичности и доминирующие стратегии идентификации в границах этноса, нации, массы // Религия, культура, образование. 2009. №4. С. 167–175.
2. Федотова Н.Н. Глобализация и изучение идентичности // Знание, понимание, умение. 2011. № 1. С. 72–80.
3. *Нации и национализм* / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрохидр; пер с англ. Л.Е. Переяславцевой, М.С. Панина, М.Б. Гнедовского. М.: Практикс, 2002. 416 с.
4. Буранчин А.М., Вахитов Р.Р., Демичев И.В. Социокультурные аспекты модернизационных процессов в Республике Башкортостан. Уфа: Дизайн-пресс, 2014.
5. Абдрахманов Д.М., Буранчин А.М., Демичев И.В. Архаизация российских регионов как социальная проблема. Уфа: Мир печати, 2016. 404 с.
6. Бердин А.Т. Тенденции и проблемы развития современной уммы Башкортостана: фактор салафизма // Социум и власть. 2016. № 3 (59). URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-i-problemy-razvitiya-sovremennoy-ummy-bashkortostana-faktor-salafizma> (дата обращения: 23.06.2017).
7. Юсупов Ю.М., Бердин А.Т. К вопросу о структуре мусульманской уммы: религиозные группы в Республике Башкортостан // Проблемы востоковедения. Уфа. 2017. № 1. С. 30–35.

Demichev Ilya V. Institute of strategic research of Republic Bashkortostan (Ufa, Russian Federation)

E-mail: senmerv@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/12

DYNAMICS OF THE COMPLICATED SYSTEM OF IDENTITIES

Key words: identity, dynamics of identity, constructivism.

The article is devoted to the analysis of factors of the dynamics of group identity. Identities are considered in the frame of theory of constructivism and structural-functional approach according which they presented as complicated system of identities divided into types, forms and modes of functioning. Three groups of factors affect on the dynamics of this system. First group of factors are identi-

fied as fundamental and they refer to the general conditions of functioning of identities. Second group of factors (particular) applies to the existence, functioning and transformation of communities which are the part of the general one and result from their interrelations. Third group of factors – topical – are the most inconstant and formed peculiarly from institutional-discursive structures of communities and society as a whole as well as from reaction of to this phenomenon of carriers of identity. It is necessary to analyze these three groups of factors altogether because each of them is identified through other and has an impact on each other. These three groups of factors can form several trends of dynamics of the system of identities. On a fundamental level stable and unstable state of the system can be distinguished. Unstable state of the system is divided into two types – “modernizational” and “archaizational”. The differences between them is based on the directions of modification where first is widening of potential of the system and the second is its reduction. Similarly on the level of particular factors of the dynamics of the system some generalized types of them can be distinguished. Since on this level interrelations of communities are analyzed, the trends of this relations can be identified – integration, incorporation and separation. On topical level communities and its sub-groups can develop three options of state: self-reproduction in present conditions, dissatisfaction with own state and generating conflict towards other communities and society as a whole. As a whole sociocultural dynamics represent reluctant which made by totality of described factors and will express in both situations – in internal redistribution of attitudes of communities and in shifts of types of identities. This all in its turn will affect on changes of relations among the elements of the system of identities.

References

1. Kostina, A.V. (2009) Krizis sovremennoy identichnosti i dominiruyushchie strategii identifikatsii v granitsakh etnosa, natsii, massy [The crisis of modern identity and the dominant identification strategies within the borders of the ethnos, nation, masses]. *Religiya, kul'tura, obrazovanie*. 4. pp. 167–175.
2. Fedotova, N.N. (2011) Globalisation and study of identity. *Znanie, ponimanie, umenie – Knowledge, Understanding, Skill*. 1. pp. 72–80. (In Russian).
3. Anderson, B., Bauer, O. & Hrochidr, M. (2002) *Natsii i natsionalizm* [Nations and Nationalism]. Translated from English by L.E. Pereyaslavtseva, M.S. Panin, M.B. Gnedovsky. Moscow: Praksis.
4. Buranchin, A.M., Vakhitov, R.R. & Demichev, I.V. (2014) *Sotsiokul'turnye aspekty modernizatsionnykh protsessov v Respublike Bashkortostan* [Sociocultural aspects of modernisation processes in the Republic of Bashkortostan]. Ufa: Dizayn-press.
5. Abdrakhmanov, D.M., Buranchin, A.M. & Demichev, I.V. (2016) *Arkhaizatsiya Rossiyskikh regionov kak sotsial'naya problema* [Archaization of Russian regions as a social problem]. Ufa: Mir pechati.
6. Berdin, A.T. (2016) Tendencies and problems of the development of present-day Bashkortostan Ummah: A factor of Salafism. *Sotsium i vlast' – Society and Power*. 3(59). [Online] Available from: <http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-i-problemy-razvitiya-sovremennoy-ummay-bashkortostana-faktor-salafizma>. (Accessed: 23rd June 2017). (In Russian).
7. Yusupov, Yu.M. & Berdin, A.T. (2017) K voprosu o strukture musul'manskoy ummy: religi-oznye gruppy v Respublike Bashkortostan [On the structure of the Muslim Ummah: Religious groups in the Republic of Bashkortostan]. *Problemy Vostokovedeniya – The Problems of Oriental Studies*. 1. pp. 30–35.

УДК 316.74

DOI: 10.17223/1998863X/41/13

Н.Н. Зарубина, А.В. Носкова, С.Л. Темницкий

ДОВЕРИЕ К СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ: ВЗГЛЯД УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ¹

Обсуждается проблема доверия к социальным наукам в России. Рассмотрены факторы и последствия современного ослабления доверия. Описаны методология и результаты эмпирического исследования данной темы среди студентов московских и региональных университетов. Показано, что важными факторами повышения доверия к социальным наукам являются рост престижа ученых, их открытость широким слоям населения.

Ключевые слова: доверие к социальным наукам, студенты университетов, интерес к науке, показатели доверия.

Актуальность и постановка задачи

В последние годы тема доверия поднимается во многих исследовательских областях и рассматривается в различных контекстах. Одним из них стало доверие к социальным наукам². Именно о нем идет речь в данной статье.

По мнению известного социолога П. Штомпки, доверие представляет собой некую «ставку», «залог» в отношении действий других, предположение, что их результаты не нанесут вреда и/или будут полезны. Доверие к науке как институту, производящему знание, – это представление о том, что ее развитие полезно или, по крайней мере, не дисфункционально для общества, его отдельных институтов, групп и индивидов. Доверие к науке в социологии рассматривается в нескольких аспектах: доверие к *знаниям*, производимым наукой, – их достоверности, пользе для общества, а также к методам, используемым для получения достоверных знаний; доверие к *добросовестности ученых*, основанное на представлениях об их достаточной квалификации, объективности, бескорыстии и т.д.; доверие к *организации науки* [1. С. 392–393].

В последние десятилетия отмечается общее снижение доверия к социальному знанию, как в России, так и в мире в целом [2]. У этого явления есть причины *универсальные*, общие для многих стран, и специфические *только для России*. Они могут быть *внешними*, обусловленными социальными трансформациями, в том числе снижением «культуры доверия» в обществе [1. С. 300–306], и *внутренними*, обусловленными состоянием института науки и научного сообщества. К универсальным причинам П. Штомпка относит переход науки в постакадемическую стадию, сопровождающийся фиска-

¹ Проект «Институциональное доверие к научному знанию в условиях новых рисков и уязвимостей в системе безопасности современной России». Грант РФФ № 16-18-10411.

² Под социальными науками понимаются дисциплины, имеющие объектом исследования общество и общественные отношения и пользующиеся для их изучения научными методами, позволяющими воспроизводить результаты познания при соблюдении правил исследования, – социология, экономика, политология. В данной статье понятия «социальная наука» и «социальные науки» отождествляются.

лизацией и коммерциализацией научных исследований, ростом внешнего контроля деятельности ученых со стороны государства и корпораций и утратой академической автономии, бюрократизацией науки [1. С. 404–405].

В России универсальные причины снижения доверия к науке дополняются внутренними факторами. Из них основными полагаем: состояние аномии и нормативной несогласованности внутри самого института науки; резкое сокращение финансирования научных исследований и падение доходов ученых на фоне общего повышения значимости размера оплаты труда как формы мотивации [3. С. 134]. В результате отказа на рубеже 1990-х гг. от единой марксистской методологии социальных исследований возникла ситуация «методологической аномии» и интенсивного заимствования западных подходов, что породило представление об отставании отечественного социального знания от зарубежного. По мнению самих же ученых, представляющих социально-гуманитарные дисциплины, отечественная социальная наука оказалась на позиции «рецепциониста, собирающего интеллектуальные продукты из импортных деталей, нередко устаревших» [4. С. 6]. Массовая научная эмиграция сформировала представление о приоритете зарубежной научной карьеры перед российской. Научные работники стали превращаться в замкнутое, «геттоизированное» сообщество, живущее по своим законам и имеющее собственные проблемы, мало понятные «непосвященным», а потому не вызывающее доверия.

Подрыв доверия к социально-гуманитарной сфере научного знания для нашей страны в итоге означает деформацию национального самосознания, так как именно эти науки «напрямую смыкаются с проблемами национальной интеллектуальной традиции, исторической и культурной идентичности нации и государства» [Там же]. Среди других дисфункциональных последствий: отчуждение от научных результатов при принятии управленческих решений, снижение запроса на научные разработки со стороны государства, а также других институтов и организаций; сокращение численности научных кадров; распад системы популяризации научных исследований; падение привлекательности занятия научными исследованиями; ослабление интереса к науке среди студенческой молодежи – главного потенциала научных кадров. Последнее обстоятельство обращает на себя особое внимание в ситуации, когда социологи фиксируют деградацию высшего образования в России, а также низкое «качество» студентов, обучающихся в университетах [5]. Вместе с тем следует отметить, что студенты университетов являются заинтересованными потребителями результатов научных исследований – через передачу знаний они непосредственно взаимодействуют с представителями научного сообщества и их научными практиками.

В этой связи актуальной исследовательской задачей является эмпирическая оценка доверия студентов к социальному знанию через призму восприятия молодыми людьми социальной науки, а также через систему установок на науку как будущую профессиональную деятельность.

Основы методики эмпирического исследования

В рамках эмпирического исследования мы интерпретировали ряд базовых понятий следующим образом. *Доверие к науке* – это трехуровневая социальная установка, т.е. эмоциональная, когнитивная и поведенческая реакция

студентов на науку как на источник производства знаний и сферу профессиональной деятельности. *Восприятие науки* – это когнитивная конструкция «образа» науки, сформированная на основе системы оценок, мнений и диспозиций. *Интерес к научному знанию* – осознанная познавательная потребность, информационная составляющая установки на доверие к науке. В табл. 1 представлена система основных понятий и показателей для измерения доверия студентов к социальным наукам.

Таблица 1. Понятия и показатели доверия студентов к социальным наукам

Понятие (разделы анкеты)	Показатель
Восприятие отечественной социальной науки	Престиж науки; оценка развития социальной науки в России, ее соответствие мировому уровню; уровень доверия к результатам исследований; оценка значимости науки для национальной безопасности страны
Интерес к социальной науке	Наличие/отсутствие интереса к социальной науке; чтение научной литературы; использование научных данных в образовательной деятельности, информированность о научных проектах университета; установка на участие в научных проектах; вовлеченность в научные мероприятия; членство в студенческих научных обществах; достижения из сферы социальных наук, вызывающие интерес; установка на науку как сферу будущей профессиональной деятельности; знание имен российских ученых – представителей социальных наук
Доверие к информации в Интернете	Доверие к интернет-информации, место научно-познавательных порталов среди посещаемых интернет-ресурсов, сравнительная оценка уровня доверия к русскоязычным и иностранным сайтам, способы проверки получаемой информации, оценка факторов повышения доверия к научно-познавательным порталам
Отношение к социальным наукам	Оценка факторов повышения доверия к социальным наукам; отношение к личности социального ученого; определение характеристик социально ответственного ученого; доверие к различным отраслям социальных наук в проективной ситуации; ассоциативный ряд понятий, связываемый с фигурами экономиста, политолога, социолога (социального ученого в целом)
Потенциал связи будущей жизни с научной деятельностью	Место научно-исследовательской деятельности среди возможных профессиональных сфер после окончания вуза; установка на научную карьеру; экономические и социальные мотивы построения научной карьеры; представления о ценностном значении профессии ученого; оценка факторов, способных привлечь выпускников вузов к научной деятельности, мотивация отказа от карьеры ученого

В соответствии с замыслом данного исследования в апреле – мае 2017 г. был проведен опрос 400 студентов московских и региональных университетов (табл. 2), обучающихся по разным специальностям (социологи, экономисты, политологи, педагоги, культурологи и др.). Из них: бакалавры 1-го и 2-го курса – 45%; 3-го и 4-го курса – 41%, магистранты и студенты первого курса аспирантуры – 14%. Выборка квотно-целевая. Отбор предполагал, что в опрашиваемых вузах преподаются социология, экономика и политология. Получаемая студентами специальность при отборе не контролировалась. Придавалось значение наличию у студентов интереса к социальным наукам. Для этого часть выборки реализовывалась на днях студенческой науки, студенческих научных конференциях. Реализованная выборка не претендует на репрезентативность (перенос) по отношению к представленным вузам, а предназначена только для целевого сравнения отношения студентов разных категорий к социальным наукам. Такая выборка соответствует представлени-

ям о качественной, а не о количественной репрезентативности. С учетом аналитико-экспериментальной направленности исследования важно было обеспечить качественное представительство изучаемых социальных объектов [6. С. 98].

Таблица 2. Характеристики выборки, %

Вуз	Всего	Пол		Форма обучения	
		Муж.	Жен.	Бюджет	Договор
МГИМО	20	23	77	51	49
МГУ	18	30	70	61	39
НИУ ВШЭ	14	29	71	58	42
Другие московские вузы	26	45	55	42	58
Региональные вузы	22	40	60	53	47
Число опрошенных	400	139	261	207	193

Некоторые результаты исследования

Восприятие студентами социальной науки. Результаты исследования указывают на противоречивость сформированного в сознании студентов «образа» социальных наук. С одной стороны, налицо вера в «силу науки». На это указывает большая доля тех, кто согласился с утверждениями: «сильная наука – гарант безопасности страны» (73%) и «рекомендации ученых должны внедряться в социальную практику» (77%). С другой стороны, распределение ответов на вопрос о быстром «устаревании социального знания» иллюстрирует осознание студентами уязвимости социальной науки в ситуации динамично меняющихся реалий (табл. 3).

Картина восприятия состояния и развития социального знания в нашей стране тоже неоднозначна. Это подтверждают примерно равные положительные и отрицательные оценки, а также большая доля студентов, «затруднившихся с ответом», при тестировании утверждений «российская социальная наука соответствует мировому уровню развития»; «результатам большинства исследований можно доверять»; «российская социальная наука быстро развивается» (табл. 3).

Распределение ответов на вопрос о престиже социальной науки в России косвенно указывает на то, что студенты ощущают наличие институциональных проблем в нынешнем состоянии социальных наук в стране. Так, 57% опрошенных согласились с суждением, что «престиж социальной науки в России низкий».

Таблица 3. Характеристика восприятия социальной науки, %

Утверждения	Согласны	Не согласны	Затруднились с ответом
Российская социальная наука соответствует мировому уровню	30	36	34
Сильная наука – гарант безопасности страны	73	8	19
Рекомендации ученых должны внедряться в социальную практику	77	4	19
Результатам большинства социальных исследований можно доверять	33	21	46
Социальная наука в России динамично развивается	30,5	21,5	48
Современное социальное знание быстро устаревает	54	12	33
Престиж социальной науки в современной России низкий	57	16	27

В контексте «встраивания национальной социально-гуманитарной науки в мировую академическую культуру» [4. С. 6] важным исследовательским вопросом стало сопоставление уровня доверия к знаниям, производимым отечественными и западными учеными – представителями социальных наук. Результаты исследования показали, что студенты не дифференцируют западную и отечественную социальную науку с позиции доверия к ней – нет уничижения нашей науки и возвеличивания западной. Более 60% опрошенных студентов считают, что большинству научных результатов, производимых и российской, и западной социальной наукой, можно доверять. Около 30% опрошенных ответили, что доверять можно совсем небольшому числу исследований. И только около 2% опрошенных отметили, что доверять научным исследованиям абсолютно нельзя (рис. 1).

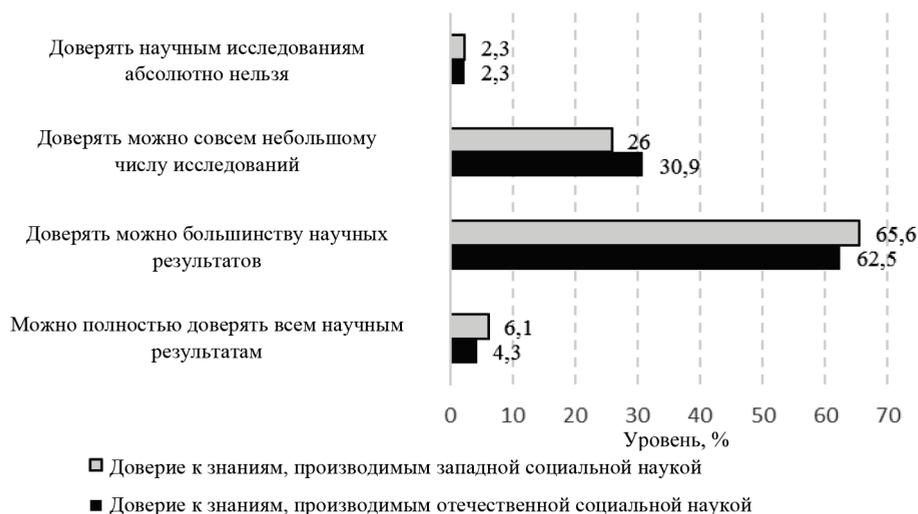


Рис. 1. Уровень доверия к знаниям, производимым западными и российскими учеными

Иными словами, уровень доверия к знаниям, производимым российскими и западными учеными, достаточно высокий. Однако на фоне достаточно высокого уровня доверия к научным знаниям (даже веры в силу науки) интерес студентов к науке выражен слабо. В идеале каждый студент университета *должен* проявлять интерес к науке. Это один из главных когнитивных маркеров, отличающий обучающегося в университете от того, кто выбрал учебные заведения другого типа. Интерес к социальным наукам – это и своеобразный показатель уровня интеллекта, нацеленности студента на развитие своего сознания и эрудиции. Интерес к науке измерялся с помощью серии вопросов: «Интересуетесь ли вы социальной наукой?»; «Хотели бы Вы участвовать в научно-исследовательских проектах сейчас?»; «Принимали ли вы участие в днях студенческой науки?» и др. По результатам исследования, доля тех, кто выразил интерес к социальным наукам, составила 56,3% (она соответствует доле студентов, опрошенных на научных мероприятиях). Примерно треть студентов (27,6%) указала на отсутствие такого интереса и 16% затруднились с ответом. Доля тех, кто сообщил о своем желании участвовать в научно-исследовательских проектах во время обучения в университете, составила тоже около половины всех опрошенных – 48,3%, а доля тех, кто не хочет за-

ниматься научной деятельностью, – 31,5%, еще 19,8% опрошенных затруднились ответить. Доля тех, кто в будущем хочет связать свою профессиональную жизнь с наукой, составила 16,3%, не желает – 57,6%, остальные 26,1% затруднились с ответом.

Корреляционный анализ ответов «интересующихся наукой» студентов выявил ряд статистически значимых связей различных сторон проявления интереса к науке с повседневными практиками молодых людей.

Анализ данных показал, что среди независимых переменных, обуславливающих интерес к социальной науке, доминирует принадлежность к курсу обучения. Так, 75% магистрантов и аспирантов указали на свою заинтересованность в науке. Среди младшекурсников (1–2-й курсы) их доля составила 56% (как и в среднем по выборке), а среди студентов 3–4-го курса только 50%. На наличие интереса влияет форма обучения. У обучающихся на бюджетной основе он существенно выше.

Особый исследовательский интерес вызвала группа критически настроенных студентов – это те молодые люди, которые по всем суждениям о социальной науке занимали критическую позицию. Аналитические поиски выявили основные факторы, опосредующие формирование негативной картины восприятия социальной науки, – это «низкий уровень удовлетворенности качеством образования» и «неуверенность в завтрашнем дне». Анализ связи данных факторов с рядом оцениваемых суждений показал, что при высоком уровне неудовлетворенности качеством образования и неуверенности в завтрашнем дне все оценки резко снижаются (табл. 4). При этом наиболее критично такие студенты оценивают потенциал конкурентоспособности российских вузов социально-гуманитарного профиля в сравнении с западными университетами.

Таблица 4. Согласие с утверждениями о социальной науке в зависимости от удовлетворенности качеством образования и уверенности студентов в завтрашнем дне, %

Суждения	Удовлетворенность качеством образования в вузе			Уверенность в завтрашнем дне	
	Удовлетворены	Не удовлетворены	Затруднились с ответом	Есть	Нет
Российская социальная наука соответствует мировому уровню развития	33	24	25	36	16
Социальная наука в России динамично развивается	34	13	33	35	21
Российские вузы социально-гуманитарного профиля смогут на равных конкурировать с западными университетами	43	16	24	40	22
Комментарии в СМИ повышают качество и достоверность информации	39	30	47	43	30
Среди знакомых студентов есть те, кто хотел бы поступить в аспирантуру	58	42	48	57	45

Факторы повышения доверия к социальным наукам. Важным исследовательским вопросом стало выявление факторов, соответствующих повышению доверия к социальным наукам. Для этого студентам предлагалось указать на значимые, по их мнению, факторы повышения доверия к социальным наукам в обществе. В табл. 5 представлена иерархия выявленных по оценкам студентов факторов. Видно, что из первых пяти позиций в рейтинге три из них (1, 3, 4) – это факторы, которые можно обозначить как связь научного сообщества

с общественностью – PR. На втором месте факторы качества научной деятельности (2 и 5). Менее важное значение студенты придают внутрицеховому потенциалу роста доверия – это следующие пять факторов рейтинга (6–10). Замыкают выявленную иерархию факторы преимущественно государственного воздействия на рост доверия к социальным наукам. Исключить идеологическое воздействие, усилить контроль – это прерогатива создаваемых государством институтов, прежде всего таких, как ФАНО.

Таблица 5. Иерархия факторов повышения доверия к социальной науке в зависимости от наличия интереса к социальной науке у студентов (% от числа ответивших, предоставлялась возможность выбора нескольких вариантов ответа)

№	Фактор	В целом	Интерес к социальной науке		
			есть	нет	з/о
1	Умение ученых доходчиво объяснить сложные для понимания вещи	53	53	47	59
2	Более глубокое обоснование сделанных выводов	47	44	53	52
3	Популяризация науки в обществе	40	45	30	41
4	Общедоступность результатов научного познания	35	37	30	36
5	Наличие конкретных научных задач	33	31	38	34
6	Достойная оплата труда ученых	32	32	29	31
7	Повышение имиджа ученого	32	35	25	31
8	Предотвращение «утечки мозгов»	31	31	28	36
9	Ограждение научных сообществ от участия в них политиков, чиновников и бизнесменов	22	24	15	27
10	Омоложение состава ученых	18	18	19	17
11	Деидеологизация науки	17	19	14	16
12	Усиление контроля за научной деятельностью ученых	16	15	16	16
	Количество ответивших	397	223	110	64

Примечание. Выбор числа ответов не ограничивался. Это объясняется разнонаправленностью разработанных подсказок, имеющих взаимоисключающий характер. В среднем по выборке было дано 3,8 ответа из 12 возможных.

Мы предположили, что дифференцирующую роль в выборе факторов играет наличие у студентов интереса к социальным наукам. Однако значимые различия в распределении ответов между интересующимися и не интересующимися наукой студентами обнаружались только по трем позициям. Студенты, выражающие интерес к социальной науке, в большей мере выделяют факторы, связанные с популяризацией науки, общедоступностью результатов научного познания, а также повышение имиджа ученого, а в меньшей мере – роль более глубокого обоснования сделанных выводов (табл. 5).

В целом выявленная по оценкам студентов иерархия факторов повышения уровня доверия к социальной науке показывает, что есть проблема закрытости и недоступности научных достижений для широкой общественности. Ученые не могут объяснить широким слоям населения сложные для понимания социальные теории, довести до простых людей результаты своих изысканий доступным языком, заинтересовать людей своими исследованиями. Иными словами, ученые, по мнению студентов, должны двигаться к «публичной науке» [7].

Результаты факторизации средств повышения доверия к социальной науке. Иная проекция факторов повышения доверия к социальной науке была получена в результате факторного анализа по методу главных компонент с

использованием вращения Varimax. Было выделено пять факторов, в совокупности объясняющих 52,4% дисперсии признаков роста доверия к социальной науке: материальный, результативный, политический, имиджевый, фактор связи с общественностью. «Материальный», наиболее информативный фактор (12,5% объясненной дисперсии), имеет наивысшие факторные нагрузки¹ с компонентами «Предотвращение утечки мозгов» и «Достойная оплата труда ученых».

«Результативный» (10,4%) – образован в результате высоких факторных нагрузок с компонентами «Наличие конкретных научных задач, направленных на решение социально значимых проблем» и «Более глубокое обоснование сделанных выводов, полнота получаемого знания». «Политический» (9,9%) получен по результатам высоких факторных нагрузок с компонентами «Деидеологизация науки» и «Ограждение научных сообществ от участия в них политиков, чиновников и бизнесменов». «Имиджевый» (9,9%) – результат высоких факторных нагрузок с компонентами «Повышение имиджа ученых, престижа профессии ученого» и «Омоложение состава ученых». Фактор «PR» (9,7%) образован на основе фактурных нагрузок с компонентами «Умение ученых доходчиво объяснить сложные для понимания вещи для широких слоев населения» и «Общедоступность результатов научного познания». Эти факторы были сохранены как новые аналитические переменные по методу регрессии, затем разбиты на квартили. Максимальное выражение фактора сконцентрировано в четвертом квартиле². С учетом сильной связи между курсом обучения и интересом к социальной науке в качестве дифференцирующей переменной был взят курс обучения. Степень выраженности обнаруженных факторов в зависимости от принадлежности к курсу обучения отображена в табл. 5.

Таблица 5. Факторы роста доверия к социальной науке в зависимости от курса обучения, %

Фактор	Курс обучения		
	1–2	3–4	МиА
Материальный	26	28	14
Результативный	27	25	21
Политический	21	28	32
Имиджевый	21	25	39
PR	21	28	29

Примечание. МиА – магистры и аспиранты.

Данные табл. 5 иллюстрируют различия в видении факторов повышения доверия между магистрантами и аспирантами, с одной стороны, и бакалаврами – с другой. Первые придают большее значение имиджевой компоненте доверия, а меньшее – материальной. Поскольку именно магистры и аспиранты в два раза чаще, чем студенты старших курсов, рассматривают науку в качестве возможной сферы будущей профессиональной деятельности (27 и 13%), следует учитывать факт имиджевой составляющей как весомое, но ре-

¹ Факторные нагрузки указывают на силу связи выявленных факторов с тестируемыми переменными повышения доверия к социальной науке. Диапазон изменения факторной нагрузки: от 0 (нет связи) до 1 (функциональная связь) – указан в скобках. В скобках указывается информативность фактора в %, т.е. какая доля дисперсии тестируемых переменных объясняется данным фактором.

² Использовалась следующая процедура: преобразование переменных, ранжирование с назначением дробных рангов и разбиением на четыре равные квартили.

же артикулируемое по сравнению с оплатой труда ограничение на пути молодежи в науку.

Заключение

В нынешней сложной ситуации, в которой оказались российские ученые, проблема доверия к социальным наукам имеет важное научно-практическое значение. Результаты исследования этой проблемы среди студентов подтверждают, что оторванность ученых от общества, а также неэффективность существующих институциональных каналов распространения результатов исследований в широкие слои населения приводят к угасанию интереса к социальным наукам. Усиление интереса студентов к науке связано с повышением качества высшего образования. «Открытость» социальных наук, повышение социального престижа ученых являются значимыми условиями вовлечения молодежи в науку.

Литература

1. *Штомпка П.* Доверие – основа общества. М.: Логос, 2012. 445 с.
2. *Weingart P.* The Loss of Trust and How to Regain It: Performance Measures and Entrepreneurial Universities // *Trust in Universities* / ed. L. Engwall, P. Scott. London: Portland Press Ltd., 2013. P. 83–95.
3. *О чем мечтают россияне: Идеал и реальность* / ред. М.К. Горшков, Р. Крумм, Н.Е. Тихонова. М.: Весь мир, 2013. 400 с.
4. *Савельева И.* Присутствие или отсутствие // *Национальная гуманитарная наука в мировом контексте: опыт России и Польши* / ред. Е. Аксер, И.М. Савельева. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 386 с.
5. *Денисова-Шмидт Е.В., Леонтьева Э.О.* Категория «необучаемых» студентов как социальный феномен университетов (на примере дальневосточных вузов) // *Социологические исследования*. 2015. № 9. С. 86–93.
6. *Ядов В.А.* Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание социальной реальности. 5-е изд. М.: Омега-Л, 2011. 567 с.
7. *Буравой М.* Приживется ли публичная социология в России // *Laboratorium. Журнал социальных исследований*. 2009. № 1. С. 162–170. URL: <http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/article/viewFile/130/197> (дата обращения: 10.07.2017).

Zarubina Natalia N. Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)

E-mail: n.zarubina@inno.mgimo.ru

Noskova Antonina V. Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)

E-mail: a.noskova@inno.mgimo.ru

Temnitsky Alexander L. Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)

E-mail: a.temnitskiy@inno.mgimo.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/13

A TRUST TO SOCIAL SCIENCES: THE STUDENTS' LOOK

Key words: trust to social sciences, students of the universities, interest in science, trust indicators.

The article deals with the problem of trust to social sciences in Russia. The paper consists of three parts. In the first one, the authors discuss the theoretical aspects of the sociological study of trust to the social sciences. The authors note the declining of trust to social knowledge in the last decades both in Russia, and in the whole world. Based on the P. Sztompka theory of trust to science, we analyze the universal reasons and specific Russian factors of weakening of trust to social knowledge and describe its consequences. Special attention is paid to the university students as a target group of social knowledge consumers and as the main actor of new generation of social scientists reproduction. In the

second part, the methodology of empirical research of trust to social sciences among university students is described. The aim of the empirical research is to investigate the level of trust among the students through their perception of social science and their attitude to the science as a possible future profession. We present the system of predictors for the empirical research of the trust level. In the third part, the data of poll of 400 students of Moscow and regional universities studying the social disciplines are interpreted. The following important issues concerning students' attitude to this subject are considered: students' perception of social sciences; comparison of level of trust to social knowledge created by the Russian and western scientists; students' interest to social sciences; factors of increase of trust to social sciences. The findings of the study show contradiction of the "image" of social sciences created in consciousness of students. On the one hand, they have the belief in "the science force". On the other hand, students reveal vulnerability of social science in a situation of dynamically changing realities that is seen in the fast obsolescence of social knowledge. Perception of the development of social knowledge in Russia is also ambiguous. According to the survey data, students don't differentiate the western and Russian social science regarding the trust to the science. More than 60% of the interviewed students consider that they can trust to majority of the scientific results made by both the Russian, and western social scientists. Though we have rather high level of trust to scientific knowledge, the students' interest in science is low. The results of empirical estimation of factors of trust increase confirm that the closure of scientific findings and lack of institutional channels of distribution of social knowledge and results of researches to the general population lead to the decrease of public interest in social sciences. On the contrary, the "openness" of social sciences and the raising the social prestige of scientists are the significant conditions of engaging youth in science.

References

1. Sztompka, P. (2012) *Doverie – osnova obshchestva* [Trust is the foundation of society]. Translated from Polish by N. Morozova. Moscow: Logos.
2. Weingart, P. (2013) The Loss of Trust and How to Regain It: Performance Measures and Entrepreneurial Universities. In: Engwall, L. & Scott, P. (2013) *Trust in Universities*. London: Portland Press Ltd. pp. 83–95.
3. Gorshkov, M.K., Krumm, R. & Tikhonova, N.E. (eds) (2013) *O chem mechtayut rossiyane. Ideal i real'nost'* [What do Russians dream about? Ideal and Reality]. Moscow: Ves mir.
4. Savelieva, I. (2010) Prisutstvie ili otsutstvie [Presence or absence]. In: Akser, E. & Savelieva, I.M. (eds) *Natsional'naya gumanitarnaya nauka v mirovom kontekste: opyt Rossii i Pol'shi* [National Humanities in the World Context: The Experience of Russia and Poland]. Moscow: HSE.
5. Denisova-Shmidt, E.V. & Leontieva, E.O. (2015) Un-teachable'students as a social phenomenon in Universities: the Far Eastern case. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 9. pp. 86–93. (In Russian).
6. Yadov, V.A. (2011) *Strategiya sotsiologicheskogo issledovaniya: opisanie, ob'yasnenie, ponimanie sotsial'noy real'nosti* [Strategy of sociological research: description, explanation, understanding of social reality]. 5th ed. Moscow: Omega-L.
7. Burawoy, M. (2009) Can "Public Sociology" Travel as far as Russia? *Laboratorium. Zhurnal sotsial'nykh issledovaniy – Laboratorium. Social Research Journal*. 1. pp. 162–170. [Online] Available from: <http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/article/viewFile/130/197>. (Accessed: 10th July 2017). (In Russian).

УДК 101.1:316

DOI: 10.17223/1998863X/41/14

Р.А. Заякина

ГЕНЕЗИС ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ В СЕТЕВОМ ПОДХОДЕ¹

Раскрываются истоки возникновения топологического вектора исследования социальных сетей. Прослеживается зарождение социальной топологии как методологической линзы сетевого подхода, обосновываются основания разделения нематематической топологии на топологию пространства и топологию формы. Исследуются механизмы применения топологического инструментария в основных направлениях сетевого подхода: анализе социальных сетей, реляционной социологии, акторно-сетевой теории.

Ключевые слова: социальная топология, анализ социальных сетей, реляционная социология, акторно-сетевая теория.

Говоря о генезисе и становлении социальной топологии, подчеркнем, что это далеко не устоявшийся взгляд, имеющий множество спорных теоретических моментов и методологических лакун. Причины такого положения дел очевидны, ведь «топологическая линза» для «нематематиков» относительно новый инструмент. Собственно, и сама математическая топология представляет собой динамично развивающуюся и довольно молодую отрасль. Условным отграничивающим началом обособления топологической мысли в математике является работа Иоганна Бенедикта Листинга «Предварительные исследования по топологии», датируемая 1847 г. Важно подчеркнуть, что в отличие от геометрии как количественной науки о пространственных образах топология задумывается Листингом как наука качественная, независимая «от отношений мер и величин» [1. С. 35].

Такая задумка сразу же порождает известный диссонанс: знаковая система математики того времени не способна предложить необходимые топологу объекты. Для пояснения своих мыслей Листинг вынужден использовать, например, результаты оптических экспериментов с выпуклыми / вогнутыми зеркалами и линзами [Там же. С. 53–60]; спирали часовых механизмов и крылья ветряных мельниц [Там же. С. 75]; выходящие стебли растений [Там же. С. 76–77] и поля шахматной доски [Там же 1. С. 109]. В масштабах времени, необходимого для развития зародившейся науки, проблема отсутствия объектов исследования разрешается довольно быстро: уже в 1858 г. появляется лента Мебиуса, спустя 24 года – бутылка Клейна и тессеральная поверхность диска Пуанкаре. Кроме того, складывается и уникальный топологический глоссарий, подвергшийся после рецепции в науки о человеке и обществе глубокому переосмыслению и научной обработке.

Предельно упрощая, в интересующем нас развитии математической топологии можно выделить два исследовательских акцента: на пространство, в

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-06-00087 «Социальная сеть: топологическая интерпретация социальной реальности».

котором размещены объекты, и саму форму объектов. Изучение общих свойств топологических пространств восходит к «теории множеств» Георга Кантора, интерес второго акцента сводится к возможности разбиения пространственного комплекса (одномерных и многомерных образований) на конечное число симплексов (простейших элементов) и изучение их поведения под влиянием различных операций. Теоретической опорой здесь является понятие гомеоморфности как неизменности свойств объектов при их непрерывной деформации (подробнее см.: [2. С. 10]). Констатацию такого деления определим исходной точкой развития топологического дискурса в нематематических науках.

Наиболее проработанным топологическим взглядом в науках о человеке и обществе является пространственный вектор топологии. Его основания конкретизированы К. Левиным в работе «Принципы топологической психологии», вышедшей в 1936 г. [3]. Пытаясь графически представить взаимодействия субъекта с окружением, автор вводит топологическую терминологию, а именно: регионы и границы, включение, пересечение/непересечение, принципы связанности, одновременности и пр. [4. С. 55]. При этом используется метод наглядно-пространственного изображения. Намечающуюся традицию интерпретации нематематической топологии как топологии пространства во второй половине XX в. развил Пьер Бурдьё. Через понятие социального поля он выстраивает символическое пространство позиций, определяемых посредством многомерной системы свойств, придающих социальному агенту особые характеристики (см., например: [5. С. 15]). Благодаря этому традиция понимания социальной топологии как пространственного исследования положения объекта, заключенного в определенные социальные границы, прочно укореняется в социологическом знании.

Иной взгляд относительно понимания и применения топологического языка предложен нематематическим наукам французским математиком Р. Томом. В 1968 г. он публикует фундаментальный труд «Структурная устойчивость и морфогенез», где излагает свои размышления по поводу возникновения, изменения и разрушения биологических объектов, исследуя генезис и устойчивость их форм [6]. Двумя годами позже подобный аналитический путь Р. Том прорабатывает при объяснении еще более абстрактных (лингвистических) форм в работе «Топология и лингвистика» [7]. Смоделировав в первом случае биологические формы, во втором – морфологии-архетипы, он наделяет их внутренней размерностью, что позволяет мыслить заданные объекты как топологические пространства и производить с ними аналитические операции, основанные на фигуральности, эквивалентности и изоморфных процессах, используя язык пространственной деформации форм. Безусловно, работы Р. Тома не направлены на специальное осмысление социальных феноменов. Однако именно благодаря этим работам указывается возможный путь разрешения общефилософских проблем качественной оценки объектов сложной природы, к каковым с полной уверенностью можно отнести и социальные объекты. Таким образом, только в 70-е гг. прошлого столетия топология впервые преподносится нематематическим наукам как метод работы с формой объекта при помощи анализа ее изменений и процедур деформации.

Параллельно с социальной топологией развивается и сетевой подход. Громко заявив о себе через анализ социальных сетей в середине прошлого столетия, в его завершении он существенно обогащается такими направлениями, как реляционная социология и акторно-сетевая теория [8]. При этом все указанные направления демонстрируют эвристический потенциал в применении топологического инструментария. Очевидно, эта тенденция обусловлена объективными причинами, кроющимися в самой сетевой проблематике. Именно она устанавливает исследовательский путь, направленный на раскрытие особых пространственных форм изучаемых социальных объектов, их оригинальных объемных и глубинных характеристик.

В современном сетевом подходе, как и в теоретической социологии вообще, господствует пространственно-топологический взгляд. В первую очередь данное замечание касается исследований, относящихся к анализу социальных сетей и, как правило, применяющих топологические приемы при подчеркивании контекста соотношений позиций акторов и сетевых структурных образований в пространстве. Для этого используются техники визуализации сетевых конфигураций посредством составления «топологических карт», отображающих расположение элементов, их взаимодействия и изменения в масштабах исследуемого феномена. Отметим, что глубокого интереса к теоретической проработанности топологического ракурса исследований у представителей анализа социальных сетей нет. Вероятно потому, что данное направление сетевого подхода обладает своим математическим аппаратом, который результативно справляется с конкретным классом задач. Топологические же метафоры (а в пределе – топографические) привлекаются в большей степени для наглядности (см., например: [9]).

Переходя к реляционной социологии, заметим, что здесь исследователи пытаются отводить топологии особое методологическое место. Так, Чарльз Тилли призывает коллег преодолевать ошибочное противопоставление качественных исследовательских приемов количественным [10]. Он указывает на значимость отношений, связывающих количественные и качественные социологические данные: от прямого к аналогичному приведению аргументов и от численного к топологическому соответствию. Естественно, топологический метод определяется автором как количественный инструмент анализа социальных сетей, ведь он напрямую связан с построением графов. Просто численному представлению соответствует метод моделирования, а топологическому – схематизации. При этом топология также мыслится как пространственная, что следует из презентации топологического метода как алгоритма построения диаграмм или графиков расположения соединительных линий, указывающих на пространственные характеристики «близости, одновременности, сходства или причинно-следственных связей» социальных объектов [10. С. 599].

Напомним, что реляционная социология радуется за использование качественных методов. Это продиктовано, прежде всего, онтологическими воззрениями, определяющими сетевые домены через язык, скопление интерактивных дискурсов, индивидуальных ожиданий и нарративов. Однако исключительно качественная методология для социологии, скорее, чистая идея, о чем открыто заявлял еще М. Эмирбайер [11]. Спустя более десятилетия после выхода статьи Ч. Тилли Н. Кроссли и Дж. Эдвардс предложили

разрабатывать количественно-качественный (смешанный) подход к исследованию социальных сетей [12]. Авторы сосредоточиваются на обосновании общей методологии, обходя конкретизацию возможных методов и ограничиваясь вопросами когерентности и границ использования исследовательских техник, относящихся к количественным или качественным приемам. При этом представители реляционного направления основываются на заимствовании достижений смежных теоретических течений (прежде всего, анализа социальных сетей). Как же исследователи планируют применять указанную методологию и удастся ли им преодолеть количественное поименование сетевых связей и маркирование сетевых положений – это пока открытый вопрос. Очевидно лишь то, что топологии в строящемся методологическом каркасе будет отведено определенное и, по всей видимости, не последнее место. Ведь условия, «складывающие» реляционные механизмы сетей, изучаются, как и ранее, через закономерности связей и ассоциации между этими «узорами» и прочими социальными факторами. Сегодня же топологические модели если и строятся в недрах реляционной социологии, то пространственно-описательные, по возможности удаленные от иллюстративности анализа социальных сетей (подробнее см.: [13]).

Уникальное звучание топологическому дискурсу задает концепция одного из ярчайших представителей акторно-сетевой теории Дж. Ло. Здесь через топологическое осмысление различных форм пространственности, от которых в конечном счете зависит гомеоморфность объектов, обнаруживается близость к топологии социальных форм. Ло определяет сетевую пространственность посредством мыслительного пересечения различных пространственных систем. Происходит концептуализация «пространственных объектов», онтологически возможных только благодаря устойчивым и неразрывным связям как внутри себя, так и с другими объектами. Само производство объектов имеет пространственные следствия, а их использование – пространственные возможности (подробнее: [14. С. 25–26]). Постулируя существование объекта в пространственной множественности (выделяются пространства регионов, сетей и потоков), Ло выводит на первый план категорию изменчивости. Так, имея возможность передвижения в пространстве регионов, объект будет неизменен в пространстве сетей, при необходимости изменяясь в пространстве потоков. При этом пространство регионов (единственное существующее в евклидовом пространстве) не имеет никакого примата, более того, зачастую оно само формируется за счет сетей и потоков [15].

Любой сетевой объект сохраняет свою гомеоморфность только при условии устойчивости внутрисетевых отношений. Любые «переделки», отбор или изъятие частей сетевого целого приводят к рассогласованию законов существования и в конце концов к разрушению самого объекта (см., например: [16]). Идею существования пространства потоков Ло объясняет на примере такого феномена нестабильной техники, как зимбабвийский втулочный насос [15. С. 234–236]. Главная мысль заключается в невозможности существования объекта без множества сопутствующих условий, основным из которых является его способность к постоянным преобразованиям. В данном случае именно эта способность наиболее близка по значению к понятию эффективности и в конечном счете – к понятию гомеоморфности. Более того, насос фактически «распоряжается» вмешательством людей, выступая механизмом

социальной инженерии. Таким образом, через понимание множества пространств существования социальный объект обретает внутреннюю размерность. Последняя же устанавливает примат символической социальной формы [17].

Изложенное выше позволяет перейти к следующим заключениям:

– *во-первых*, при определенных (и весьма существенных) оговорках все же следует признать, что социальная топология наследует словарь, исследовательские акценты и базовые тенденции развития математической топологии;

– *во-вторых*, преломляясь в специфическом опыте становления нематематической топологии, социальная топология в первую очередь сосредоточивается вокруг исследования положения объектов в символическом пространстве, много позднее – вокруг изучения пространственных форм;

– *в-третьих*, в сетевом подходе решающую роль в выборе тех или иных способов применения топологической методологической линзы играет символическое «соглашение» исследователей описанных направлений по главным онтологическим и теоретическим вопросам.

В заключение нельзя обойти вниманием вопрос: возможно ли расширить общие топологические представления всех направлений сетевого подхода и создать единый действенный исследовательский инструмент, вбирающий в себя ключевые наработки и топологии пространства, и топологии формы? Полагаем, да, и путь преодоления противоречий ясен: он лежит через понимание топологии в качестве символической конфигурации сетевых акторов, наделенных как внутренней размерностью топологической формы, так и размещающихся в многомерном пространстве социальных процессов, отношений, практик и позиций, функционально взаимосвязанных.

Литература

1. Листинг И.Б. Предварительные исследования по топологии / пер. с нем. Э. Кольмана. М.; Л.: Гостехтеоретиздат, 1932. 116 с.
2. Зейферт Г., Трельфалль В. Топология / пер. с нем. под ред. П.С. Александра. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 448 с.
3. Lewin K. Principles of topological psychology. New York; London: McGraw-Hill book company, inc., 1936. 360 p.
4. Зейгарник Б.В. Теория личности К. Левина. М.: Изд-во МГУ, 1981. 118 с.
5. Бурдые П. Социология социального пространства / пер. с фр. Н.А. Шматко. СПб.: Алетейя, 2007. 288 с.
6. Том Р. Структурная устойчивость и морфогенез / пер. с англ. Е. Борисова. М.: Логос, 2002. 280 с.
7. Том Р. Топология и лингвистика // Успехи математических наук. 1975. Т. 30, № 1(181). С. 199–221.
8. Мальцева Д.В. Сетевой подход в социологии: генезис идей и применение. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. 220 с.
9. Beyhan B. Inter-Firm Social Networks Created by Mobile Laborers: A Case Study on Siteleler in Ankara // Journal of Social Structure. 2011. № 12 (1). P. 1–33.
10. Tilli Ch. Observations of Social Processes and their Formal Representations // Sociological Theory. 2004. Vol. 22, № 4. P. 595–602.
11. Emirbayer M. Manifesto for a Relational Sociology // American Journal of Sociology. 1997. Vol. 103, № 2. P. 281–317.
12. Crossley N., Edwards G. Cases, Mechanisms and the Real: The Theory and Methodology of Mixed-Method Social Network Analysis // Sociological Research Online. 2016. Vol. 21. Iss. 2, № 13.

13. Заякина Р.А. Топологические представления в реляционной сетевой теории // Вестник Челябинского государственного университета. Философские науки (Вып. 42). 2016. № 10 (392). С. 78–83.

14. Вахштайн В.С. Пересборка города: между языком и пространством // Социология власти. 2014. № 2. С. 9–38.

15. Ло Дж. Объекты и пространства // Социология вещей: сб. ст. / под ред. В.С. Вахштайна. М.: Территория будущего, 2006. С. 223–243.

16. Law J. What's Wrong with a One-World World [Электронный ресурс]. URL: <http://heterogeneities.net/publications/Law2011WhatsWrongWithAOneWorldWorld.pdf> (дата обращения: 01.05.2017).

17. Заякина Р.А. Развитие топологических воззрений в недрах акторно-сетевой теории // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 7. Философия. Социология и социальные технологии. 2017. Т. 16, № 1. С. 20–27.

Zayakina Raisa A. Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation)

E-mail: raisa_varygina@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/14

GENESIS OF TOPOLOGICAL VIEWS THROUGH NETWORK APPROACH

Key words: social topology, social network analysis, relational sociology, actor-network theory.

The article is devoted to theoretical reflection of the source of the topological area of social network research. The article traces the paths of social topology development as a special methodology lens used within the network approach and originated from mathematical topology. The divisions of non mathematical topology into two branches – topology of space described in works by Kurt Lewin and Pierre Bourdieu, and topology of form defined by Rene Thom – have been substantiated in this work. According to the above-mentioned division, the mechanisms of topological tool application are studied in the works of the scientists who represent such main areas of the network approach as: analysis of social networks, relational sociology, and actor-network theory. It has been found that the followers of social network analysis and relational sociology are inclined to use the topological tools for determining the position of the object in a symbolic social space and emphasize its interrelations with other objects (topology of space). Moreover, the former makes use of topology as a clear method for constructing the so-called spatial maps, graphs, and plots, the latter – as a descriptive method which is far from illustrativeness. The works of John Lo, a supporter of actor-network theory, are devoted to topological instruments used for investigating the objects of network nature which possess inner dimensionality (the topology of form). Through understanding that a social object exists in the majority of spaces (regions, networks and flows are to be mentioned), a symbolic social form is constituted. On the basis of the conclusions drawn analytically, it is claimed that social topology takes the main research traits from mathematical topology and concentrates its interest both on studying the location of objects in symbolic space and spatial forms research. The decisive role in choosing the means of topology-methodology lens application belongs to a symbolic agreement on the main ontological and theoretical issues between the researchers of different areas. It is concluded that common topological views can be extended through the understanding of topology as a synthetic instrument incorporating best practices of topology both of space and form on the main ontological and theoretical issues.

References

1. Listing, I.B. (1932) *Predvaritel'nye issledovaniya po topologii* [Preliminary research on topology]. Translated from German by E. Kolman. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe tekhniko-teoreticheskoe izdatelstvo.

2. Zeyfert, G. & Trelfall, V. (2001) *Topologiya* [Topology]. Translated from German by P.S. Aleksandrov. Izhevsk: Regul'yarnaya i khaoticheskaya dinamika.

3. Lewin, K. (1936) *Principles of Topological Psychology*. New York, London: McGraw-Hill.

4. Zeygarnik, B.V. (1981) *Teoriya lichnosti K. Levina* [Theory of Personality by K. Levin]. Moscow: Moscow State University.

5. Bourdieu, P. (2007) *Sotsiologiya sotsial'nogo prostranstva* [Sociology of Social Space]. Translated from French by N.A. Shmatko. St. Petersburg: Aleteyya.

6. Tom, R. (2002) *Strukturnaya ustoychivost' i morfogenez* [Structural stability and morphogenesis]. Translated from English by E. Borisov. Moscow: Logos.

7. Tom, R. (1975) Topologiya i lingvistika [Topology and Linguistics]. *Uspekhi matematicheskikh nauk*. 1(181), pp. 199–221.
8. Maltseva, D.V. (2017) *Setevoy podkhod v sotsiologii: genesis idey i primenenie* [Network approach in sociology: Genesis of ideas and application]. Novosibirsk: Novosibirsk State Technical University.
9. Beyhan, B. (2011) Inter-Firm Social Networks Created by Mobile Laborers: A Case Study on Sitelers in Ankara. *Journal of Social Structure*. 12(1), pp. 1–33.
10. Tilli, Ch. (2004) Observations of Social Processes and their Formal Representations. *Sociological Theory*. 22(4), pp. 595–602. DOI: 10.1111/j.0735-2751.2004.00235.x
11. Emirbayer, M. (1997) Manifesto for a Relational Sociology. *American Journal of Sociology*. 103(2), pp. 281–317. DOI: 10.1086/231209
12. Crossley, N. & Edwards, G. (2016) Cases, Mechanisms and the Real: The Theory and Methodology of Mixed-Method Social Network Analysis. *Sociological Research Online*. 21(2). DOI: 10.2383/24750
13. Zayakina, R.A. (2016) Topologicheskie predstavleniya v relyatsionnoy setevoy teorii [Topological representations in the relational network theory]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofskie nauki*. 10(392), pp. 78–83.
14. Vakhshayn, V.S. (2014) Reassembling the City: Between Language and Space. *Sotsiologiya Vlasti – Sociology of Power*. 2, pp. 9–38. (In Russian).
15. Law, J. (2006) Ob"ekty i prostranstva [Objects and spaces]. In: Vakhshayn, V.S. (ed.) *Sotsiologiya veshchey* [Sociology of Things]. Moscow: Territoriya budushchego, pp. 223–243.
16. Law, J. (2011) *What's Wrong with a One-World World*. [Online] Available from: <http://heterogeneities.net/publications/Law2011WhatsWrongWithAOneWorldWorld.pdf>. (Accessed: 1st May 2017).
17. Zayakina, R.A. (2017) The development of topological ideas within the actor-network theory. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 7. Filosofiya. Sotsiologiya i sotsial'nye tekhnologii – Science Journal of Volgograd State University. Philosophy. Sociology and Social Technologies*. 16(1), pp. 20–27. (In Russian). DOI: 10.15688/jvolsu7.2017.1.2

УДК 316.3

DOI: 10.17223/1998863X/41/15

В.В. Маленков

ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ОБРАЗ РОССИИ В ДИНАМИКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ ТЮМЕНИ¹

Темпоральный образ страны рассматривается в статье как важнейшая составляющая структуры нации, нациеформирующий элемент современного рефлексивного общества. Сделан акцент на выявлении массовых представлений жителей Тюмени о прошлом, настоящем и будущем России. Эмпирической основой являются данные анкетного опроса 2015 и 2017 гг., что позволило сделать выводы относительно изменения настроений за два прошедших года.

Ключевые слова: нация, историческая память, темпоральный образ страны.

Значительную часть национально-гражданской идентичности составляет темпоральный образ страны, в которой проживает человек. Данный образ представляет осознание прошлого, настоящего и будущего страны и отождествление с ним. В зависимости от степени идентификации с историческими конструктами некоторой преобладающей части граждан на макроуровне общества формируется темпоральная структура нации. В этом смысле можно говорить о нациях прошлого, настоящего и будущего. По всей видимости, формирование российской нации проходит сегодня в русле приоритета прошлого над будущим, т.е. будущее транслируется в виде модели хорошего прошлого [1. С. 150]. Безусловно, социальная и культурная память является важным элементом любого современного общества. Как отмечал Ю.М. Лотман, «иногда «прошедшее» культуры для ее будущего состояния имеет большее значение, чем ее «настоящее» [2. С. 615]. Однако заикливание на прошлом и отсутствие должного внимания к будущему в форме целеполагания, моделей развития, масштабной рефлексии о будущем приводит к упадку, архаизации.

Следует отметить, что в конкурентных обществах горизонтального типа на формирование темпоральной стратегии нации оказывают влияние множество субъектов, представляющих государство и гражданское общество. В российском же публичном пространстве вертикального типа ключевую роль в формировании темпоральной структуры макросообщества играет идеологический аппарат государства, в результате чего у нас, по мнению В.А. Ачкасова, наблюдается «ограниченность репертуара «политически пригодного» прошлого и использование его исключительно для легитимации текущих решений и действий власти» [3. С. 189]. В рамках официально признанной версии прошлого современность интерпретируется в терминах восстановления утраченного величия страны, политическое использование [4] великодержавного нарратива направлено на обоснование настоящего и создание ощущения его возврата в реальность российского нациестроительства.

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-78-20062 «Жизненные стратегии молодежи нового рабочего класса современной России».

В результате массовое сознание россиян наполнено стереотипизированными представлениями о прошлом нашей страны. Разные исторические эпохи имеют свои особые мифологизированные образы, актуализируемые в зависимости от существующих «политических трендов». Изучению массовых представлений о прошлом России посвятили свои работы О.В. Головашина [5], Л.Д. Гудков [6], Б.В. Дубин [7], Т.В. Евгеньева и А.В. Селезнева [8], В.А. Касамара и А.А. Сорокина [9] и др.

Методика исследования

Эмпирической базой данной статьи послужили данные, полученные в результате проведения мониторингового исследования. Первый замер осуществлен в марте – апреле 2015 г., второй – в марте – апреле 2017 г. Методом сбора данных являлся анкетный опрос. Объектом исследования выступили жители Тюмени в возрасте от 17 до 77 лет. Объем репрезентативной по признакам пола и возраста выборки в обоих замерах составил 1600 респондентов.

В процессе анализа данных были выделены четыре возрастные группы на основании поколенного подхода. В первую группу (советское поколение) включены респонденты, родившиеся до 1972 г. Вторая группа (позднесоветское поколение) состояла из родившихся в 1973–1984 гг. В третью группу (постсоветская переходная генерация) вошли родившиеся с 1985 по 1993 г. Четвертая группа (постсоветское поколение) охватила молодежь 1994–2000 гг. рождения [10. С. 66]. Выделение поколенческих групп основано на опыте непосредственного взаимодействия с базовыми советскими и постсоветскими институтами, определившими политическую и гражданскую социализацию [11, 12].

Темпоральная идентичность: Россия прошлая, современная или будущая

Темпоральная идентичность представляется здесь как отождествление страны с тем или иным ее временным (темпоральным) образом. По этому основанию можно выделить три модели идентичности: ретроспективная идентичность (апелляция к «идеальному прошлому» страны), идентичность «здесь-и-сейчас» (апелляция к настоящему, отказ определять страну через прошлое и будущее), перспективная идентичность (апелляция к «идеальному будущему» страны). Первая модель предполагает идеализацию некоей исторической эпохи, «воображаемого» в массовом сознании периода в истории, который определяет Россию в качестве исторического субъекта.

При этом необходимо учитывать, что массовая историческая память, в отличие от системного взгляда профессионального историка, представляет некую мозаику разбросанных образов, не всегда четко зафиксированных во времени. Отсюда абстрактная апелляция к истории в форме «вот раньше...», «когда-то...» и т.д.

Для изучения массовых представлений о темпоральной идентичности России был сформулирован ряд вопросов, первый из которых направлен на фиксацию представлений о России в контексте прошлого, будущего и настоящего, где прошлое было представлено тремя «воображаемыми историческими концептами»: «Святая Русь», «Российская империя», «Советский Союз». Необходимо отметить, что, во-первых, ограниченный ряд исторических концептов обусловлен тем, что преобладающая часть респондентов именно

их указывает в качестве «идеализированных эпох» в истории России. Во-вторых, данные концепты используются в исследовании как категории исторической политики и как воображаемые исторические модели в общественном сознании, исторической памяти общества, но не как обозначение периодов, которыми оперирует историческая наука.

Так, концепт «Святая Русь» вообще не является научно-историческим, а скорее «связан с дискурсами протонационального или национального самосознания» [13. С. 319]. Надо признать, что он весьма размыт, имеет множество коннотаций. Но в массовом сознании образ Святой Руси отсылает к периоду от Крещения Руси до петровских преобразований. Концепты «Российская империя» и «Советский Союз» также в исследовании выступают как доминантные идеальные модели-образы исторического сознания российского общества. Поскольку исследование является социологическим, описывающим категории общественного сознания, а не историческим, именно в этом контексте мы и используем данные понятия.

Использование для обозначения будущего России таких признаков, как «Великая», «возрожденная», объясняется необходимостью его идеализации в контексте формулируемого вопроса.

По результатам замера 2017 г. большинство респондентов ассоциировали себя с современной Россией. Вероятно, здесь работает тот же механизм идеализации, что и в отношении прошлого и будущего. Данную модель идентификации можно обозначить как отказ от необходимости возврата к идеальному прошлому, а не идеализацию настоящего страны. Характерно, что по сравнению с 2015 г. данный тип идентификации (здесь-и-сейчас) даже несколько усилился – с 38,5% в 2015 г. до 44,5% в 2017 г.

Ретроспективная идентичность, напротив, существенно теряет свои прежние позиции. С прошлым страны ассоциировали себя 26,5% опрошенных (в 2015 г. – 37,1%). В частности, со Святой Русью – 6,8% (в 2015 г. – 10,9%), с Российской империей – 8,1% респондентов (в 2015 г. – 12,0%), с Советским Союзом – 12,6% (в 2015 г. – 14,2%).

С будущей возрожденной Великой Россией себя идентифицировали лишь 15,3%. Однако по сравнению с 2015 г. (11,4%) намечился рост данного показателя на 3,9%.

Следует отметить также, что количество безразличных, не ассоциирующих себя ни с каким из предложенных темпоральных образов России, уменьшилось на 5,1% – с 12,3% в 2015 г. до 7,2% в 2017 г.

Таким образом, можно констатировать: а) значение будущего несколько усилилось в 2017 г. по сравнению с 2015 г. «Великое» будущее России для респондентов более реалистично, нежели двумя годами ранее. С пятого места в ранговой таблице данная позиция переместилась на второе; б) значение Советского Союза в структуре темпоральной идентичности уменьшилось незначительно, однако данная позиция со второго места переместилась на третье в иерархии ассоциаций; в) изменилось значение отдаленного прошлого, хотя на изменение места в ранговой таблице это практически не повлияло. Российская империя как часть образа России осталась на четвертом месте, а Святая Русь переместилась с шестого места на пятое.

Вместе с тем позиции разных поколенческих групп практически по всем рассматриваемым переменным весьма существенно различаются. Результаты

исследования в разрезе поколений представлены в табл. 1. В частности, степень ассоциации со Святой Русью заметно уменьшилась у трех младших поколений, но несколько увеличилась в поколении советском. Российская империя усилила позиции в структуре темпоральной идентичности самого младшего и самого старшего поколения, однако ослабила позицию в средних поколениях. Степень ассоциации с Советским Союзом довольно существенно уменьшилась во всех группах, кроме самой старшей, в которой, наоборот, немного усилилась (с 25,7% в 2015 г. до 28,8% в 2017 г.).

Таблица 1. С каким образом России ассоциируют себя респонденты, %

Вариант ответа	Постсоветское поколение		Постсоветская переходная генерация		Позднесоветское поколение		Советское поколение	
	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017
Святая Русь	13,1	8,3	11,2	6,1	9,5	2,0	8,8	10,2
Российская империя	16,3	6,9	11,2	12,2	8,3	11,8	8,8	1,7
Советский Союз	4,1	1,4	10,3	8,2	27,2	15,7	25,7	28,8
Будущая возрожденная Великая Россия	8,8	9,7	13,1	14,3	14,2	19,6	10,5	16,9
Современная Россия	38,8	52,8	40,7	44,9	35,5	45,1	36,8	33,9
Безразлично, ни с каким	18,1	13,9	11,2	6,1	4,7	5,9	7,6	1,7
Затруднились ответить	1,2	–	2,3	–	0,8	–	0,8	–
<i>Всего</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Усиление идентичности с современной Россией не коснулось самого старшего поколения. В остальных же группах оно наблюдается, особенно среди представителей постсоветского поколения, где степень идентификации с современной Россией выросла на 14,0%. Неким абсолютным трендом стало усиление ассоциации с «будущей возрожденной Великой Россией» во всех без исключения поколенческих группах. Вместе с тем более отчетливо данная тенденция проявилась в старших поколениях – позднесоветском и советском, где рост данной ассоциативной связи более существен по сравнению с двумя младшими группами.

Идеальное прошлое России

Существенным компонентом структуры темпорального образа России являются представления о наиболее успешном периоде в истории страны как важной части картины идеального прошлого. Зафиксированные цифры двух замеров могут свидетельствовать об изменении данной картины.

В отличие от предыдущего вопроса, предполагающего ответ на закрытый перечень предложенных вариантов, данный был открытым. Респонденты вписывали свои варианты ответа в пустые строки. При обработке полученных данных осуществлялась их систематизация. Например, период правления Л.И. Брежнева респонденты могли маркировать как «Брежнев», «брежневский период», «застой», «1964–1982» и т.д. В предложенной далее табл. 2 данный период обозначен как «Период правления Брежнева («застой»)». Поскольку упоминания советского периода встречались в ответах наиболее часто, мы выделили в отдельную строку вариант «СССР» (варианты ответа «СССР», «Советский Союз», «советское время», «советы» и т.д.) и другие периоды, упоминаемые отдельно, но принадлежащие советской эпохе («Великая Отечественная война», «хрущевская оттепель» (период правления Н.С. Хрущева) и т.д.

Таблица 2. Мнение респондентов о самом успешном периоде в истории России

Вариант ответа	Ответившие, %		Ранг	
	2015	2017	2015	2017
СССР	23,4	20,9	1	1
Россия 2000-х (современная Россия)	21,2	16,6	2	3
Победа в Великой Отечественной войне	11,6	9,6	3	6
Правление Петра I	10,2	18,2	4	2
Дореволюционный период	9,4	12,8	5	4
Период правления Брежнева («застой»)	7,8	10,2	6	5
Девяностые годы XX в.	3,8	1,1	7	10
«Хрущевская оттепель»	3,2	2,1	8–9	8–9
«Перестройка»	3,2	–	8–9	–
От образования СССР до начала ВОВ	2,4	0,5	10	11
Путинская Россия	2,2	5,9	11	7
Послевоенный период (1945–1953 гг.)	1,4	2,1	12	8-9

Аналогичным образом систематизировались и другие ответы. Варианты ответа, где упоминается имя нынешнего президента России («Путин», «путинская Россия», «правление Путина»), обозначены как «Путинская Россия». Данный вариант отделен от «Современной России», в которой объединены ответы, где упоминается период с 2000 г. и вплоть до дня проведения опроса.

В таблицу не вошли ряд периодов. В частности, не упоминается в ответах респондентов период от революции 1917 г. до образования СССР. Нет среди ответов респондентов и периода 1991–1993 гг. Вариант «Девяностые годы XX века» включает 1994–1999 гг. Упоминание правителей и периоды до 1917 г. объединены в категорию «Дореволюционная Россия», поскольку упоминания отдельных периодов и правителей не превышают одного процента.

По результатам исследования можно зафиксировать следующие тенденции. Во-первых, произошло существенное уменьшение доли считающих советский период наиболее успешным в истории России. Если в 2015 г. количество указавших на это составляло 53,0% (более половины респондентов), то в 2017 г. аналогичное мнение высказали уже 45,4%. При этом непосредственно советский период (СССР, Советский Союз и т.д.) отметили 20,9% (в 2015 г. – 23,4%). Сократилось упоминание Великой Отечественной войны, «хрущевской оттепели» и довоенного периода с момента образования СССР. Вместе с тем увеличилось упоминание периода правления Брежнева и послевоенного периода (1945–1953 гг.).

Во-вторых, доля респондентов, считающих наиболее успешным период с 2000 г. по настоящее время, немного сократилась – с 23,4 до 22,5%. При этом доля отметивших 2000-е гг. как успешные без упоминания личностей сократилась более существенно – с 21,2 до 16,6%. Вместе с тем упоминание В.В. Путина в связи с обозначением успешного периода (путинский период, путинское правление, Путин и т.д.) несколько выросло – с 2,2 до 5,9%.

В-третьих, довольно значительно выросла доля упоминающих более далекое прошлое как успешное. Так, дореволюционный период отметили в совокупности 31,0% (в 2015 г. – 19,6%). Из этого 18,2% приходится на правление Петра I (в 2015 г. – 10,2%) и 12,8% (в 2015 г. – 9,4%) на все остальные упоминания дореволюционной истории России (Российская империя, царская Россия, отдельные правители и т.д.).

В-четвертых, девяностые годы XX в. успешными признали лишь 1,1% (в 2015 г. – 3,8%). Перестройку не отметил никто (в 2015 г. – 3,2%).

Советский период в темпоральной структуре современной России

Советский период остается важной вехой, влияющей на процесс конструирования прошлого и будущего России. В последние несколько лет происходили активная «национализация ностальгии по СССР, трансформация образа СССР в положительную сторону, активное его использование в процессе нациестроительства» [14. С. 138]. В этой связи важно проследить изменения в массовых представлениях людей относительно возможности восстановления в том или ином виде советской системы. В анкете предлагались две взаимосвязанные позиции – необходимость отказа от попыток восстановления в том или ином виде советской системы и, наоборот, необходимость восстановления позитивного опыта советского времени.

Доля полностью согласных и несогласных с утверждением о необходимости отказа от попыток восстановления в каком-либо виде советской системы, как и двумя годами ранее, не сильно различается. В целом по выборке 22,4% респондентов полностью согласны с данным тезисом (в 2015 г. – 20,8%) и 24,6% несогласны (в 2015 г. – 21,6%). Таким образом, наблюдается некоторый рост числа и полностью согласных, и полностью несогласных. Вместе с тем доля частично согласных немного уменьшилась – с 56,8 до 53,0%.

По сравнению с результатами, полученными в 2015 г., доля полностью согласных с предложенным утверждением несколько увеличилась в младших поколенческих группах и довольно существенно сократилась в старших (табл. 3). Доля несогласных также выросла в младших группах и уменьшилась в старших. Несмотря на корректировку процентных показателей, младшие возрастные группы по данному вопросу опять показали более консервативную позицию. Фактически получается, что чем больше опыт жизни респондентов в советское время, тем более негативная реакция у них на возможность восстановления советской системы.

Таблица 3. Степень согласия с утверждением: «Современная Россия должна отказаться от попыток восстановления в том или ином виде советской системы», %

Вариант ответа	Постсоветское поколение		Постсоветская переходная генерация		Позднесоветское поколение		Советское поколение	
	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017
Полностью согласны	22,1	23,3	21,2	26,0	25,8	15,2	34,8	27,7
Согласны частично	53,3	47,9	60,3	46,0	50,8	63,6	43,2	53,2
Несогласны	24,6	28,8	18,5	28,0	23,4	21,2	22,0	19,1
<i>Всего</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Позитивно оценили возможность восстановления в России всего хорошего, что было в СССР, 18,6% (в 2015 г. – 22,1%), не поддержали данное утверждение 40,7% (в 2015 г. – 29,4%) и столько же респондентов отметили двойственную позицию, частично согласившись (в 2015 г. – 48,5%). Таким образом, в целом по выборке доля несогласных с необходимостью восстановления положительных свойств советской системы возросла на порядок, а согласных с этим уменьшилась.

Таблица 4. Степень согласия с утверждением: «Россия должна восстановить все хорошее, что было в СССР»

Вариант ответа	Постсоветское поколение		Постсоветская переходная генерация		Позднесоветское поколение		Советское поколение	
	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017
Полностью согласны	24,3	24,7	20,9	28,0	24,0	16,7	13,4	2,1
Согласны частично	50,8	43,8	45,7	50,0	42,5	39,4	30,9	27,7
Не согласны	24,9	31,5	33,4	22,0	33,5	43,9	55,7	70,2
<i>Всего</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Выделенные поколенческие группы по-разному оценивают необходимость восстановления позитивного опыта советского периода (табл. 4). Доля несогласных с этим на порядок выше в старших группах. Так, если в 2015 г. не поддерживали данный тезис 55,7% представителей советского поколения, то в 2017 г. таковых уже 70,2%. В группе позднесоветского поколения также уровень поддержки тезиса упал, а отрицательную позицию высказали на 10,4% больше респондентов. Данная тенденция в части повышения уровня отрицательной оценки возможности усвоения советского прошлого касается и постсоветского поколения. Постсоветская переходная генерация в этом вопросе довольно сильно отличается от других исследованных групп и демонстрирует усиление консервативной тенденции в выстраивании темпоральных представлений. В целом же, как и в 2015 г., в более молодых поколенческих группах наблюдается более консервативная позиция по данному вопросу.

Представления об идеальной политической системе

На протяжении всего постсоветского периода трансформации России не утихают споры относительно того, какая политическая система является лучшей, западная или советская, какую из них следовало бы взять за образец. Современная же система вплоть до начала двухтысячных чаще всего подвергалась вполне обоснованной критике. В нулевые годы современная российская политическая система многим даже стала нравиться. Эпоха дорогой нефти, сопровождаемая подъемом уровня жизни, стала ассоциироваться гражданами страны с качеством политической системы. В любом случае данная система стала способной противостоять, по крайней мере на уровне социальных предпочтений, как западной, так и советской модели.

Сравнивая результаты опросов 2017 и 2015 гг., можно отметить их достаточно несущественные различия. В целом по выборке количество считающих советскую систему лучшей уменьшилось незначительно – с 22,9% в 2015 г. до 22,0% в 2017 г. Современная российская политическая система представляется лучшей для 31,8% опрошенных, т.е. меньше на 3,6%, чем в 2015 г. (35,4%). Немного повысилась доля тех, кто считает лучшей политическую систему образца демократических западных стран – с 14,1% в 2015 г. до 14,8% в 2017 г. Вместе с тем выросла и доля затруднившихся с ответом: в 2015 г. – 27,9%, в 2017 г. – 30,9% (почти треть респондентов).

Поддержка советской политической системы немного уменьшилась в средних поколенческих группах (табл. 5), на порядок уменьшилась (почти на 10,0%) у представителей самого старшего (советского) поколения и немного увеличилась (на 1,1%) у постсоветского поколения.

Таблица 5. Какая политическая система лучшая, %

Вариант ответа	Постсоветское поколение		Постсоветская переходная генерация		Позднесоветское поколение		Советское поколение	
	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017
Советская	14,0	15,1	20,6	20,0	29,6	27,3	37,4	27,7
Российская (в ее нынешнем виде)	35,5	26,0	37,3	26,0	37,3	37,9	29,8	38,3
Демократия по образцу западных стран	17,8	26,0	16,4	20,0	7,7	7,6	9,4	4,3
Затруднились ответить	32,7	32,9	25,7	34,0	25,4	27,3	23,4	29,8
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Современная политическая система России в двух старших поколенческих группах оценивается более положительно, нежели в младших. Спустя два года представители младшего поколения оценили ее существенно ниже прежнего, тогда как представители самого старшего поколения, напротив, существенно выше. У позднесоветского поколения данный показатель поменялся несущественно.

Доля высоко оценивающих политическую систему западного образца среди двух более молодых поколений существенно выросла, в то же время среди самого старшего поколения существенно снизилась. У позднесоветского поколения данный показатель остался практически на прежнем уровне.

Таким образом, можно констатировать сохранение ключевых тенденций, выявленных в 2015 г. Во-первых, продолжение линии на политизацию истории страны, реализацию модели исторической политики, соответствующей административно-мобилизационной логике вертикально-интегрированного персоналистского политического режима. При этом очевидны признаки потери ее мобилизующей силы, нарастания на уровне общественного сознания скепсиса относительно данной линии по причине расхождения ее с реальностью, осознание ее как набора имитационных практик.

Во-вторых, в темпоральной конструкции образа России сохраняется приоритет прошлого. Однако в 2017 г. зафиксировано повышение степени идентификации респондентов с настоящим России и ее будущим. Это позволяет говорить о тенденции исчерпания энергетики прошлого в мобилизационно-консолидирующей политике, что, вероятно, выльется в ближайшее время в ее изменение в сторону повышения внимания к будущему, конструированию соответствующего нарратива «сверху».

В-третьих, сохранение консервативного тренда в конструировании национального нарратива об идеальном прошлом страны как на уровне политического дискурса, так и на уровне массовых представлений граждан. При этом консервативные настроения более выражены у молодых поколенческих групп, что, в частности, проявляется в оценке роли советского исторического опыта в конструировании будущего России. Однако ресурс «изобретающего воспоминания» [15, 16] о советском времени как о наиболее успешном периоде в истории России, по всей видимости, идет на убыль.

Литература

1. Крокинская О.К. Культурная память и опыт в практиках конструирования будущего обыденным сознанием // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. Т. 19, № 4 (87). С. 142–158.

2. Лотман Ю.М. Память культуры // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2001. С. 614–621.
3. Ачкасов В.А. Роль «исторической политики» в формировании российской идентичности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. Т. 18, № 2 (79). С. 181–192.
4. Малинова О.Ю. Политическое использование прошлого как инструмент символической политики: эволюция дискурса властвующей элиты в постсоветской России // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. 2012. Т. 8, № 4. С. 179–204.
5. Головашина О.В. Образ Советского Союза в социальной памяти современных россиян (на материалах эмпирического исследования) // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 11. С. 193–198.
6. Гудков Л.Д. Время и история в сознании россиян (Ч. 1) // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2009. № 3. С. 84–102.
7. Дубин Б.В. Символы возврата вместо символов перемен // Pro et contra. 2011. Т. 15, № 5. С. 6–22.
8. Евгеньева Т.В., Селезнева А.В. Советское прошлое в ценностном и образно-символическом пространстве российской идентичности // Полис. Политические исследования. 2016. № 3. С. 25–39.
9. Касамара В.А., Сорокина А. А. Образ СССР и современной России в представлениях студенческой молодежи // Общественные науки и современность. 2014. № 1. С. 107–118.
10. Гаврилюк В.В., Маленков В.В. Векторы развития России в сознании жителей российской провинции // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2016. № 3. С. 65–69.
11. Левада Ю.А. Заметки о «проблеме поколений» // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 2. С. 9–11.
12. Семенова В.В. Современные концептуальные и эмпирические подходы к понятию «поколение» // Россия реформирующаяся: Ежегодник-2003. М.: ИС РАН, 2003. С. 213–233.
13. Дмитриев М.В. Парадоксы «Святой Руси»: Святая Русь и «русское» в культуре Московского государства 16–17 вв. и фольклоре 18–19 вв. // Cahiers du Monde russe. Avril-septembre 2012. 53/2-3. P. 319–331.
14. Маленков В.В. Образ советского прошлого в темпоральной конструкции формирующейся российской нации // Среднерусский вестник общественных наук. 2016. Т. 11, № 5. С. 136–144.
15. Головашина О. В. «Изобретающее воспоминание»: образ СССР в коммуникативной памяти первого постсоветского поколения // Конструктивные и деструктивные формы мифологизации социальной памяти в прошлом и настоящем: сборник статей и тезисов докладов Международной научной конференции. Тамбов: Изд-во Р.В. Першина, 2015. С. 250–255.
16. Реннер А. Изобретающее воспоминание: Русский этнос в российской национальной памяти // Российская империя в зарубежной историографии: Работы последних лет: антология. М.: Новое издательство, 2005. С. 436–472.

Malenkov Vyacheslav V. Tyumen State University (Tyumen, Russian Federation)

E-mail: vvmalenkov@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/41/15

TEMPORAL REPRESENTATION OF RUSSIA IN THE DYNAMICS OF NOTION OF TYUMEN RESIDENTS

Key words: nation, the historical memory, the temporal image of the country.

The temporal representation of the country is studied in the article as an important element of the national civic identity. This representation is an awareness of the past, present and future of the country and identification with it. The temporal strategy of the nation is formed at the macro level of society and present oneself the prevailing structure of the past fixed in the minds of the citizens of the country. In this meaning can speak about the nations of the past, present and future. Russia in this logic is a nation of the past. In the mass consciousness of Russian society circulates mythological ideas about the past of Russia. The article attempts to investigate some of these images and representations. The empirical base of this article is the data obtained as a result of a questionnaire survey conducted in March–April 2015 and March–April 2017 among adult residents of Tyumen (aged 17 and over). The dimension of the representative selection in both measurements was 1600 respondents. In the process of data analysis, four age groups were identified based on a generational approach: the Soviet generation (born before 1972), the late Soviet generation (1973–1984), the post-Soviet transition generation (born in

1985–1993), the post-Soviet generation (1994–2000 years of birth). It can be stated the key tendency saved which identified in 2015. Firstly, the continuation of the line for the nationalization past of the country in the administrative-mobilization logic of a vertically integrated personalistic political regime. At the same time, there are obvious signs of a loss of its mobilizing power, a rise in the level of public consciousness of skepticism about this line because of its divergence from reality. Secondly, in the temporal construction of the representation of Russia, the priority of the past remains. However, in 2017, an increase in the degree of identification of respondents with the present of Russia and its future was recorded. This allows us to talk about the exhaustion of the energy of the past in the mobilization and consolidation policy, which is likely to result in its immediate change in the direction of increasing attention to the future, constructing the corresponding narrative “from above”. Thirdly, the preservation of the conservative trend in the construction of a national narrative about the country's ideal past, both at the level of political discourse and at the level of mass representations of citizens. At the same time, conservative sentiments are more pronounced in young generation groups, which, in particular, is manifested in the assessment of the role of Soviet historical experience.

References

1. Krokinskaya, O.K. (2016) Cultural Memory and Experience in the Practice of Designing the Future in Everyday Consciousness. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – Journal of Sociology and Social Anthropology*. 4(87). pp. 142–158. (In Russian).
2. Lotman, Yu.M. (2001) *Semiosfera* [Semiosphere]. St. Petersburg: Iskusstvo-SPb. pp. 614–621.
3. Achkasov, V.A. (2015) The Role of the “Politics of History” in the Formation of Russian Identity. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – Journal of Sociology and Social Anthropology*. 2(79). pp. 181–192. (In Russian).
4. Malinova, O.Yu. (2012) Politicheskoe ispol'zovanie proshlogo kak instrument simvolicheskoy politiki: evolyutsiya diskursa vlastvuyushchey elity v postsovetskoj Rossii [Political use of the past as an instrument of symbolic politics: The evolution of the ruling elite discourse in post-Soviet Russia]. *Politicheskaya ekspertiza: POLITEKS – Political Expertise: POLITEX*. 8(4). pp. 179–204.
5. Golovashina, O.V. (2013) Obraz Sovetskogo Soyuzha v sotsial'noy pamyati sovremennykh rossiyan (na materialakh empiricheskogo issledovaniya) [The image of the Soviet Union in the social memory of modern Russians (empirical research)]. *Sotsial'no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy – Social and Economic Phenomena and Processes*. 11. pp. 193–198.
6. Gudkov, L.D. (2009) Vremya i istoriya v soznanii rossiyan (Chast' 1) [Time and history in the minds of Russians (Part 1)]. *Vestnik obshchestvennogo mneniya. Dannye. Analiz. Diskussii*. 3. pp. 84–102.
7. Dubin, B.V. (2011) Simvol'y vozvrata vmesto simvolov peremen [Symbols of return instead of symbols of change]. *Pro et Contra*. 15(5). pp. 6–22.
8. Yevgenyeva, T.V. & Selezneva, A.V. (2016) Soviet Past in Value, Image and Symbolic Space of Russian Identity. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 3. pp. 25–39. (In Russian). DOI: 10.17976/jpps/2016.03.04
9. Kasamara, V.A. & Sorokina, A. A. (2014) Obraz SSSR i sovremennoy Rossii v predstavleniyakh studencheskoy molodezhi [The image of the USSR and modern Russia in the representations of student youth]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost' – Social Sciences and Contemporary World*. 1. pp. 107–118.
10. Gavriluyuk, V.V. & Malenkov, V.V. (2016) Vektory razvitiya Rossii v soznanii zhitel'ey rossiyskoy provintsii [Vectors of Russia's development in the consciousness of the Russian province residents]. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Sotsiologiya. Ekonomika. Politika*. 3. pp. 65–69.
11. Levada, Yu.A. (2002) Zametki o “probleme pokoleniy” [Notes on the “generation problem”]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal*. 2. pp. 9–11.
12. Semenova, V.V. (2003) Sovremennye kontseptual'nye i empiricheskie podkhody k ponyatiyu “pokoleniy” [Contemporary conceptual and empirical approaches to the notion of “generation”]. In: Drobizheva, L.M. (ed.) *Rossiya reformiruyushchayasya: Ezhгодnik-2003* [Russia Under Reforms: Yearbook-2003]. Moscow: IS RAN, 2003. pp. 213–233.
13. Dmitriev, M.V. (2012) Paradoksy “Svyatoy Rusi”: Svyataya Rus' i “ruskoe” v kul'ture Moskovskogo gosudarstva 16–17 vv. i fol'klore 18–19 vv. [Paradoxes of “Holy Russia”: Holy Russia and “Russian” in the culture of the Moscow state of the 16th–17th centuries and folklore of the 18th–19th centuries]. *Cahiers du Monde russe*. 53/2-3. pp. 319–331.

14. Malenkov, V.V. (2016) An image of the Soviet past in the temporal structure of forming Russian nation. *Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk – Central Russian Journal of Social Sciences*. 11(5). pp. 136–144. (In Russian). DOI: 10.12737/22700

15. Golovashina, O.V. (2015) [“Inventive memory”: the image of the USSR in the communicative memory of the first post-Soviet generation]. *Konstruktivnye i destruktivnye formy mifologizatsii sotsial'noy pamyati v proshlom i nastoyashchem* [Constructive and destructive forms of social memory mythologization in the past and present]. Proc. of the International Conference. Tambov, September 24–26, 2015. Tambov. pp. 250–255. (In Russian).

16. Renner, A. (2005) Izobretayushchee vospominanie: Russkiy etnos v rossiyskoy natsional'noy pamyati [Inventive recollection: Russian ethnos in the Russian national memory]. In: Leontieva, O. & Dolbilov, M. (2005) *Rossiyskaya imperiya v zarubezhnoy istoriografii. Raboty poslednikh let* [Russian Empire in Foreign Historiography. Works of Recent Years]. TRanslated from English, German and French. Moscow: Novoe izdatel'stvo. pp. 436–472.

УДК 316.624

DOI: 10.17223/1998863X/41/16

Е.А. Мельникова

ДЕВИАНТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА: ОТ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ НЕУВЕРЕННОСТИ К КУЛЬТУРЕ КОНТРОЛЯ

Ставится вопрос о перспективах социологии девиантности. Осуществляется анализ того, как социальные трансформации последних десятилетий видоизменили процессы генезиса и регулирования девиантности. Демонстрируется значимость онтологической неуверенности как фактора роста криминализации и расцвета культуры контроля. Делается вывод о том, что девиантность является значимым социальным институтом современности.

Ключевые слова: *девиантность, онтологическая неуверенность, Джок Янг, социальный контроль.*

Введение

У социологии девиантности сложная судьба. Востребованная и даже модная в 1960–1970-е гг., сегодня эта дисциплина находится в плачевном состоянии, свидетельство тому – оживленная дискуссия о «смерти» социологии девиантности, которая начиная с 1990-х гг. ведется в западных социологических и криминологических журналах (см., например: [1, 2]).

Колин Самнер в книге с характерным названием «Смерть социологии девиантности: некролог» пишет, что эта дисциплина, обязанная своим появлением на свет в конце XIX в. Эмилю Дюркгейму, прекратила существование в середине 1970-х гг. [3. Р. 5]. И действительно, конструктивистское ответвление социологии девиантности, ассоциирующееся, прежде всего, с теорией стигматизации (но не сводящееся к ней), уже долгое время находится под огнем критики. Во-первых, данный подход был раскритикован левыми мыслителями, указавшими на то, что конструктивизм в социологии девиантности способствует осуществлению скрытого институционального насилия, ведь исследователи в этом случае обращаются лишь к тем феноменам, которые соответствующим образом преподнесены общественному мнению («сконструированы») (см., например: [4]). Во-вторых, приверженцы конструктивизма в социологии девиантности активно критиковались и с правых позиций. Так, А. Хендершот в монографии «Политика девиантности» критикует Г. Беккера и его единомышленников за релятивизм и, как следствие, подрыв моральных основ общества [5]. Более ранняя, нормативистски ориентированная традиция исследования девиантности, впрочем, также была критически переосмыслена и «дисквалифицирована». В литературе, в частности, неоднократно отмечалось, что в современном мире, мире неопределенности, индивидуального выбора и плюрализма, подход, в основе которого – утверждение наличия неоспоримых ценностей и универсальных норм, представляется архаичным и несостоятельным. Вот как это комментирует К. Самнер: «Мы изменили мир, который породил социологию девиантности, и эти трансформа-

ции, в свою очередь, изменили то, как мы смотрим на мир. Социология девиантности больше не выражает наше видение в новом мире 1990-х. <...> Она лишилась голоса» [3. Р. IX].

В этой статье предпринимается попытка ответить на вопрос, как в условиях современного мира возможна (если возможна) социология девиантности. Для этого осуществляется анализ того, как социальные изменения, характеризующие эпоху высокого модерна, трансформировали процессы генезиса и контроля девиантности. В частности, рассматривается объяснительная схема, разработанная британским криминологом Джоком Янгом [6, 7]. Ключевой аналитической категорией для него выступает категория онтологической неуверенности (англ. *ontological insecurity*)¹.

Понятие онтологической неуверенности: от Рональда Лэйнга к Джоку Янгу

Автором понятия онтологической неуверенности является один из идеологов движения антипсихиатрии Рональд Лэйнг. Он использовал его для описания механизма возникновения шизофрении. По мнению Р. Лэйнга, закладываемая в детстве первичная онтологическая уверенность – условие формирования стабильной и вместе с тем пластичной личности. Такая личность воспринимает мир как целостный и непрерывный, при этом она обладает «чувством своего присутствия в мире» [8. Р. 33]. Соответственно, онтологически неуверенный человек, напротив, ощущает себя лишенным индивидуальности и непрерывности. При этом внешняя реальность представляется такой «раздробленной» личности преследующей и опасной. Со временем это приводит к тому, что она «начинает конструировать внутри себя „микрокосм“, в котором стремится стать полным хозяином» [9. Р. 80–81]. В конце концов, индивид преуспевает в этом и создает собственный мир, населенный фантомами, что знаменует начало шизофрении.

Энтони Гидденс позаимствовал у Рональда Лэйнга понятие онтологической неуверенности для описания общества постсовременности. Одна из характеристик этого общества – неизбежность жизни с опасностями, недоступными контролю индивидов и при этом высокоинтенсивными и угрожающими жизни миллионов (к числу такого рода опасностей относятся ядерная война, техногенные катастрофы и т.п.). Э. Гидденс задается вопросом: «Почему все люди не находятся постоянно в состоянии высокой степени онтологической небезопасности, продиктованной чудовищностью подобных экзистенциальных тревог?» [10. Р. 225]. И тут же дает ответ: источники безопасности «должны быть найдены в определенном характерном опыте раннего детства» [Ibidem]. Таким образом, как и Р. Лэйнг, Э. Гидденс ищет истоки онтологической уверенности в первых годах жизни человека: «„Нормальные“ индивиды получают на первоначальном этапе жизни базовую „дозу“ доверия, которая ослабляет или притупляет подобную экзистенциальную восприимчивость. Или, если использовать эту метафору, они получают эмоциональную прививку, защищающую их от онтологических тревог, которым потенциально под-

¹ В профессиональной литературе существуют разные варианты перевода английского термина «*ontological insecurity*» на русский язык: «онтологическая неуверенность», «онтологическая незащищенность», «онтологическая ненадежность», «онтологическая небезопасность» и т.п. В данной публикации используется преимущественно первый вариант перевода.

вержены все человеческие существа. Действующей силой этой прививки являются в первую очередь те люди, которые заботятся о ребенке в детстве» [10. Р. 225]. Значимость подобной «эмоциональной прививки» в том, что она позволяет заложить базу для формирования доверия к другим. В дальнейшем индивид будет «извлекать» уверенность и надежность именно из надежности и честности других. Соответственно, «доверие к надежности объектов, не являющихся людьми... основывается на более простой вере в надежность и заботу человеческих индивидов» [Ibid. Р. 230]. При этом очень важна воспроизводимость даже самых на первый взгляд незначительных практик повседневной жизни, дело в том, что «когда по какой-либо причине подобные практики разрушаются, тревога начинает усиливаться и даже очень твердо укорененные аспекты личности индивида могут исчезнуть и измениться» [Ibidem].

Если социолог Энтони Гидденс адаптировал изначально «приписанный» к области психиатрии концепт онтологической неуверенности для целей социологического осмысления мира постсовременности, то британский криминолог Джок Янг, в свою очередь, успешно вписал его в рамки социологии девиантности и криминологии. По мнению исследователя, онтологическая неуверенность, которую он в самом общем виде определяет как «ненадежность бытия» [7. Р. 3], является атрибутом нестабильного и гетерогенного мира постфордизма. Источниками генерирования подобного ощущения «ненадежности» являются, во-первых, прекаризация занятости и обусловленная этим неустойчивость экономического положения и, во-вторых, кризис идентичности, спровоцированный «размыванием» связей между позицией в социальной структуре и тем, с чем человек себя идентифицирует. Последнее, в частности, означает, что индивид отныне вынужден осмысливать свою жизнь в терминах биографического нарратива, а не классовой ситуации.

В книге «Вертиго позднего модерна» [Ibidem] Дж. Янг разрабатывает схему, интегрирующую различные типы неуверенности и депривации. Он, в частности, ссылается на описанное Нэнси Фрейзер различие между основанной на идеалах дистрибутивной справедливости политикой класса и имеющей в качестве своего обоснования справедливость признания политикой идентичности [11]. На основе этой типологии он выделяет два ключевых аспекта политической легитимации: это, во-первых, честное распределение материального вознаграждения и, во-вторых, уважение между индивидами и социальными группами. По мнению исследователя, в обществах позднего капитализма меритократический принцип распределения дохода и признания не соблюдается, и это служит источником напряжения и фрустрации. Развивая этот тезис, Дж. Янг пишет о двух формах несправедливости (в противоположность описанным Н. Фрейзер стандартам справедливости). Это, с одной стороны, относительная депривация, обусловленная несправедливым распределением вознаграждений, с другой – онтологическая неуверенность, которая проистекает из отказа в признании. При этом уточняется, что каждая из этих двух форм несправедливости функционирует на двух уровнях – экономическом и онтологическом (табл. 1). Другими словами, «индивид может чувствовать себя неуверенным в экзистенциальном плане относительно своей идентичности (онтологическая неуверенность) и в отношении его биологического и физического существования (экономическая неуверенность) [12. Р. 161].

Депривация же «отсылает к нормативным стандартам, на фоне которых индивид может чувствовать себя лишенным того, чего он или она заслуживает, будь то вознаграждение или признание» [12. Р. 161].

Таблица 1. Основные формы неуверенности и депривации [7. Р. 61]

Уровень	Неуверенность	Депривация
Экономический	Экономическая неуверенность	Относительная депривация
Онтологический	Онтологическая неуверенность	Непризнание

Таким образом, постсовременное общество характеризуется ослаблением структур взаимности, основанных на легитимности распределения материального вознаграждения и признания. В ситуации, обусловленной распадом этих структур, хаоса и дезориентации возникает запрос на жесткий контроль границ между различными социальными группами. Можно, следовательно, заключить, что общество позднего модерна – это общество эксклюзии и сепарации.

Политика девиантности в обществе онтологической неуверенности: эссенциализация и культура контроля

Тезис о том, что современные западные общества – это общества исключения, на первый взгляд кажется неверным, особенно в свете того, что сам Дж. Янг пишет о восприятии носителей девиантности в модернистскую и постмодернистскую эпохи. Он, в частности, отмечает, что в модернистский период девиантный Другой описывался как блеклая, несовершенная копия «нормального» индивида. Речь, таким образом, шла о том, что девиант – это, прежде всего, тот, кто испытывает своего рода социальный дефицит, т.е. нехватку социализации, социальных навыков, культуры, самоконтроля и т.п. В период позднего модерна девиантный Другой уже не рассматривается в качестве неполноценной и не вполне сформированной личности, его качественное своеобразие более не оспаривается. «На этом этапе конструирование девиантных других как козлов отпущения в значительной мере устранено», – комментирует эту ситуацию Дж. Янг [6. Р. 96]. Вместе с тем он обращает внимание на то, что в обоих случаях речь идет о «пропасти между „ними“ и „нами“», о дистанцировании [7. Р. 6]. Таким образом, признание «самости» Другого отнюдь не означает его инклюзии. Более того, подобное выстраивание дистанции между «нормальными» индивидами и индивидами девиантными – системообразующий элемент современного социального порядка: «...в обоих случаях девиант не угрожает социальному порядку, скорее напротив, он... помогает укрепить его. Приписывание инаковости, таким образом, – это ключевой механизм поддержания порядка» в обществе, пронизанном онтологической неуверенностью [Ibidem]. Ключевым инструментом при этом выступает эссенциализация.

В самом общем виде эссенциализм – это сведение всей сложности социальных явлений к какой-либо одной сущности. Соответственно, эссенциализация как стратегия исключения позволяет разделять людей на категории исходя из их культуры, происхождения, уровня материального достатка и т.п. В основе эссенциализма лежит человеческая способность к абстракции. Являясь «одной из мощнейших сил, которыми владеет современный ум», будучи применена к людям, она «лишает их лица: то, что от него остается, служит в качестве символа, знака принадлежности к группе, к категории, и

участь, уготованная обладателю лица, не больше, но и не меньше, чем отношение, предусмотренное для *категории*, к которой обладатель лица принадлежит всего лишь как ее *представитель*» [13. Р. 267]. Эссенциализация была востребована и в модернистский период, но сегодня она особенно актуальна, и главная причина этого – ее эффективность в качестве инструмента достижения онтологической безопасности.

Типичным объектом приписывания инаковости (англ. «othering») в современном обществе являются, к примеру, «бедные», или андеркласс. Изучаемые через призму эссенциализма, бедные «они» предстают в первую очередь девиантами, т.е. акцент делается на порицаемых поступках представителей данной группы, в то время как «нормальные» активности, например выполняемая ими работа, в том числе легальные неформальные заработки, зачастую оказываются «незамеченными» и вытесненными на периферию общественного внимания. На помощь эссенциализму, позволяющему абстрагироваться от реальных Других, при этом приходят *«преуменьшение* („они меньше, чем мы“) и *дистанцирование* („мы социально напрямую не связаны с ними“)» [7. Р. 6].

Важной характеристикой постсовременного общества является также «культура контроля преступности» [14], которая, как и эссенциализм, выступает в качестве инструмента адаптации к зыбкому, ненадежному и продуцирующему неуверенность социальному миру. Эта культура проявляется, в частности, в том, что функции контроля отныне выполняют не только представители соответствующих служб, прежде всего полиции, но и рядовые граждане. Домохозяйства и локальные сообщества приспособляются к новой реальности, определенным образом переформатируя свою повседневную деятельность, например участвуя в патрулях граждан. Таким образом, речь идет о децентрализации и плюрализации социального контроля [15]. Одним из ожидаемых следствий этого является интенсивное развитие соответствующей, т.е. нацеленной на защиту безопасности, бизнес-индустрии.

На макроуровне эта культура контроля, главная функция которой – борьба с хаосом современного мира и минимизация чувств небезопасности и незащищенности, проявляет себя «снижением толерантности к девиантности, непропорциональным ответом на нарушение правил, быстрым прибеганием к мерам наказания» [7. Р. 12]. Пенитенциарная система, таким образом, также предстает институцией, выступающей в качестве инструмента управления пронизывающей общество неуверенностью [16].

Эмоции и генезис девиантности

Дж. Янг указывает на ограниченные возможности теории рационального выбора при поиске ответа на вопрос о причинах девиантности и преступности. Это обусловлено значительной ролью эмоций в процессах генерирования и контроля девиантности (т.е. эмоции сопровождают не только момент трансгрессии, но и спровоцированный ею социальный ответ) [7].

О каких рода эмоциях идет речь? Прежде всего, это эмоции фрустрированности, ведь «небезопасность и депривация... являются крайне эмоциональным опытом» [12. Р. 166]. Кроме того, по мнению Дж. Янга, интенсивные эмоции могут выступать в качестве оснований конституирования онтологической определенности, временно снимая проблему незащищенно-

сти. В этом отношении его идеи близки идеям Стивена Линга, автора концепции «хождения по краю» (англ. «edgework») [17]. В поисках объяснения того, почему люди вовлекаются в рискованные, опасные для жизни виды деятельности, он предполагает, что подобные неоднозначные формы активности позволяют хотя бы на мгновение преодолеть состояние отчужденности: «...отсутствие возможностей действовать спонтанно, реализовывать себя в рамках экономических и бюрократических структур может быть компенсировано стремлением к игре в свободное от работы время, особенно если речь идет об игре, которая предполагает наличие определенных умений и задействование фактора риска» [Ibid. P. 870]. В ходе этой рискованной, на грани фола «игры», в которой ставка – жизнь, индивид, используя страх как инструмент, словно бы выключает свое социальное «я» (ME в терминологии Г. Мида) и высвобождает «я» автономное (I), являющееся источником свободы, спонтанности и инициативы. Ярким примером такого «хождения по краю» является бомбинг, т.е. нанесение нелегальных граффити на объекты транспортной инфраструктуры и здания городов [18. P. 129–131].

Наконец, нельзя не упомянуть об эмоциях, сопровождающих бесконтрольное стремление к удовольствию. Как пишут С. Холл и С. Винлоу, «потребительские фантазии поощряют революционную идею о том, что пределов удовольствия... не существует. ...Наши данные исследований убедительно свидетельствуют о том, что одним из основных факторов в недавнем росте преступности и насилия является потребность человека в удовлетворении этих амбиций и желаний» [19. P. 46].

Итак, с одной стороны, неуверенность, фрустрация и отчужденность провоцируют эмоционально насыщенную реакцию, которая нередко идентифицируется в качестве девиантной либо даже преступной. С другой стороны, агрессивное стимулирование потребления одновременно стимулирует и эмоционально окрашенное стремление к неограниченным удовольствиям, реализация которого нередко оборачивается опять-таки нарушением норм.

Итак, во-первых, девиантное действие далеко не всегда является инструментальным, нередко оно экспрессивно; во-вторых, эта экспрессивность имеет в качестве своего источника противоречия, характеризующие общество позднего капитализма.

Заключение

Дж. Янг продемонстрировал взаимосвязь процессов стигматизации и напряжения, порожденного стремительными социальными трансформациями. Таким образом, он разработал объяснительную схему, в рамках которой удачно сочетаются нормативистски ориентированный и конструктивистский подходы к осмыслению девиантности. Еще одним достижением исследователя является обращение к вопросу девиантной мотивации в условиях его игнорирования в рамках доминирующего сегодня в социологии девиантности дискурса социетальной реакции [20. P. 96–97]. Наконец, к числу заслуг Дж. Янга можно отнести демонстрацию того, что девиантность – один из ключевых конструктивных элементов современной социально-экономической системы. Соответственно, если К. Самнер прав и «старая» социология девиантности мертва, то в условиях, когда девиантность является значимым социальным институтом [21. P. 433], мы определенно нуждаемся в «новой»

специализированной дисциплине, способной отразить отношения власти и подчинения и при этом не игнорирующей отражающие перспективу действующего вопросы девиантной мотивации и девиантного действия.

Литература

1. *Best J.* Whatever happened to social pathology?: Conceptual fashions and the sociology of deviance // *Sociological Spectrum*. 2006. № 26. P. 533–546.
2. *Goode E.* Does the Death of the Sociology of Deviance Make Sense? // *American Sociologist*. 2002. Vol. 33. P. 107–118.
3. *Sumner C.* The Sociology of Deviance: An Obituary. Buckingham: Open University Press, 1994.
4. *Loseke D.R.* Thinking About Social Problems: An Introduction to Constructionist Perspectives. Avenel, NJ: Transaction Books, 2003.
5. *Henderschott A.* The Politics of Deviance. San Francisco: Encounter Books, 2002.
6. *Young J.* The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity. London: Sage, 1999.
7. *Young J.* The Vertigo of Late Modernity. London: Sage, 2007.
8. *Лэйнг Р.Д.* Расколотое «Я». СПб.: Белый кролик, 1995.
9. *Власова О.А.* Антипсихиатрия: социальная теория и социальная практика. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014.
10. *Гидденс Э.* Последствия современности. М.: Праксис, 2011.
11. *Fraser N.* Justice Interruptus: Critical Reflections on the 'Postsocialist' Condition. New York: Routledge, 1997.
12. *Schlembach C.* Insecurity and the sociology of deviance: Jock Young against Talcott Parsons and the long shadow of C. Wright Mills – a comparative appreciation // *Journal of Classical Sociology*. 2016. Vol. 16, № 2. P. 155–172.
13. *Бауман З.* Актуальность холокоста. М.: Европа, 2010.
14. *Garland D.* The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. Oxford: Oxford University Press, 2001.
15. *Schuilenburg M.* The Securitization of Society. Crime, Risk, and Social Order. NY: NYU Press, 2015.
16. *Wacquant L.* The Penalisation of Poverty and the rise of Neo-Liberalism // *European Journal on Criminal Policy and Research*. 2001. Vol. 9, № 4. P. 401–412.
17. *Lyng S.* Edgework: A Social Psychological Analysis of Voluntary Risk Taking // *American Journal of Sociology*. 1990. Vol. 95, № 4. P. 851–886.
18. *Мельникова Е.А.* Карьерные траектории граффити-райтеров: трансформируя давление в удовольствие и признание // *Журнал социологии и социальной антропологии*. 2016. Т. 19, № 1 (84). С. 132–141.
19. *Hall S., Winlow S.* Anti-nirvana: Crime, Culture and Instrumentalism in the Age of Insecurity // *Crime, Media, Culture*. 2005. Vol. 1, № 1. P. 31–48.
20. *Horsley M.* The “Death of Deviance” and Stagnation of 20th-Century Criminology // *The Death and Resurrection of Deviance. Current Ideas and Research*. Ed. By M. Dellwing, J.A. Kotarba, N.V. Pino. NY: Palgrave Macmillan, 2014. P. 85–107.
21. *Groenemeyer A.* La normativité à l'épreuve. Changement social, transformation institutionnelle et interrogations sur l'usage du concept de déviance // *Deviance et société*. 2007. Vol. 31, № 4. P. 421–444.

Melnikova Elena A. National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation)

E-mail: leni.melnikova@gmail.com, emelnikova@hse.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/16

DEVIANCE IN LATE MODERN SOCIETY: FROM ONTOLOGICAL INSECURITY TO CULTURE OF CONTROL

Key words: deviance, ontological insecurity, Jock Young, social control.

The article discusses the viability of the sociology of deviance. Over the last few decades, the claim that this research specialty is dead has become increasingly vocal. The proponents of this idea suggest that the study of norm-violation in today's relativistic and pluralistic world is archaic and counterproductive. The paper assesses this argument by examining how the deviance is generated and managed under the conditions of late modernity. In these purposes, the theory of criminologist Jock Young is outlined. He took the concept of ontological insecurity from sociologist Anthony Giddens

(1990), while the latter in his turn took it from psychiatrist Ronald Laing (1960). Young concludes that ontological insecurity is one of the key topics for understanding the nature of deviance in postfordist societies. On the one hand, the feelings of insecurity generate the request for the creation of rigid lines of demarcation between social groups. Effective tool of such borders management is othering, i.e. actions by which a member of a group becomes classified as “not one of us”. Othering is based on the process of essentialization, i.e. attributing essential, natural characteristics to members of specific culturally defined groups. In addition, insecurity contributes to the development of the culture of control, including privatization and decentralization of social control practices (the rising private security sector and the increasing number of gated communities are the signs of it). On the other hand, feelings of insecurity are the sources of the deviant activities, including crime. Considering this, Young explores the phenomenon of expressive deviant actions, or voluntary risk taking activities in terms of Stephen Lyng, the author of the edgework theory. Thereby, examining the relationship between deviance and insecurity, J. Young creates the link between Robert Merton’s strain theory and constructivist labeling approach. The paper concludes that deviance is one of the core elements of late modern society.

References

1. Best, J. (2006) Whatever happened to social pathology? Conceptual fashions and the sociology of deviance. *Sociological Spectrum*. 26. pp. 533–546.
2. Goode, E. (2002) Does the Death of the Sociology of Deviance Make Sense? *American Sociologist*. 33. pp. 107–118. DOI: 10.1007/s12108-002-1014-2
3. Sumner, C. (1994) *The Sociology of Deviance: An Obituary*. Buckingham: Open University Press.
4. Loseke, D.R. (2003) *Thinking About Social Problems: An Introduction to Constructionist Perspectives*. Avenel, NJ: Transaction Books.
5. Henderschott, A. (2002) *The Politics of Deviance*. San Francisco: Encounter Books.
6. Young, J. (1999) *The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity*. London: Sage.
7. Young, J. (2007) *The Vertigo of Late Modernity*. London: Sage.
8. Leyng, R.D. (1995) *Raskolotoe “Ya”*. St. Petersburg: Belyy krolik.
9. Vlasova, O.A. (2014) *Antipsikhiatriya: sotsial'naya teoriya i sotsial'naya praktika* [Antipsychiatry: social theory and practice]. Moscow: HSE.
10. Giddens, E. (2011) *Posledstviya sovremennosti* [The Consequences of Modernity]. Translated from English by G. Olkhovikov, D. Kibalchich. Moscow: Praksis.
11. Fraser, N. (1997) *Justice Interruptus: Critical Reflections on the 'Postsocialist' Condition*. New York: Routledge.
12. Schlembach, C. (2016) Insecurity and the sociology of deviance: Jock Young against Talcott Parsons and the long shadow of C. Wright Mills – a comparative appreciation. *Journal of Classical Sociology*. 16(2). pp. 155–172. DOI: 10.1177/1468795X15624189
13. Bauman, Z. (2010) *Aktual'nost' kholokosta* [Modernity and the Holocaust]. Translated from German by S. Kastalskiy, M. Rudakov. Moscow: Evropa.
14. Garland, D. (2001) *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford: Oxford University Press.
15. Schuilenburg, M. (2015) *The Securitization of Society. Crime, Risk, and Social Order*. New York: NYU Press.
16. Wacquant, L. (2001) The Penalisation of Poverty and the rise of Neo-Liberalism. *European Journal on Criminal Policy and Research*. 9(4). pp. 401–412. DOI: 10.1023/A:1013147404519
17. Lyng, S. (1990) Edgework: A Social Psychological Analysis of Voluntary Risk Taking. *American Journal of Sociology*. 95(4). pp. 851–886. DOI: 10.1086/229379
18. Melnikova, E.A. (2016) Graffiti Writers’ Career Trajectories: Transforming Pressure into Pleasure and Recognition. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – Journal of Sociology and Social Anthropology*. 1(84). pp. 132–141.
19. Hall, S. & Winlow, S. (2005) Anti-nirvana: Crime, Culture and Instrumentalism in the Age of Insecurity. *Crime, Media, Culture*. 1(1). pp. 31–48. DOI: 10.1177/1741659005050242
20. Horsley, M. (2014) The “Death of Deviance” and Stagnation of 20th-Century Criminology. In: Dellwing, M., Kotarba, J.A. & Pino, N.V. (eds) *The Death and Resurrection of Deviance. Current Ideas and Research*. New York: Palgrave Macmillan. pp. 85–107.
21. Groenemeyer, A. (2007) La normativité a l'épreuve. Changement social, transformation institutionnelle et interrogations sur l'usage du concept de déviance [Normativity has the test. Social change, institutional transformation and questions on the use of the deviance concept]. *Deviance et société*. 31(4). pp. 421–444.

УДК 316.776.33

DOI: 10.17223/1998863X/41/17

И.С. Палитай

СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА СТРАНЫ

Статья посвящена проблеме формирования образа страны в массовом сознании и роли СМИ в этом процессе. Автором проводится анализ основных теорий политической коммуникации, позволяющих рассматривать СМИ как фактор формирования когнитивных, эмоциональных и поведенческих составляющих образа страны. Описанные в статье аспекты деятельности СМИ могут помочь государству в формировании информационной и имиджевой стратегии.

Ключевые слова: *политическое восприятие, образ, страна, СМИ, коммуникация.*

В условиях информатизации и глобализации мирового геополитического пространства любое государство вынуждено учитывать не только традиционные механизмы формирования своей внутри- и внешнеполитической стратегии, но также коммуникативные и психологические аспекты этого процесса [1]. Одним из них является формирование образа страны в сознании представителей элиты и рядовых граждан.

Сегодня все процессы управления и связи в мировом сообществе, как утверждает А. Криглер, в первую очередь зависят от передачи, хранения и переработки информации, а важность любого события, в том числе и социально-политического, определяется тем, какую значимость ему придают СМИ [2. Р. 80]. Именно поэтому практически неоспоримо, что именно средства массовой информации и коммуникации (СМИ и СМК) играют ключевую роль в формировании образов [3. С. 195]. Это свидетельствует о чрезвычайной актуальности исследования коммуникативных аспектов процесса восприятия с целью выявления факторов и психологических механизмов формирования образов у целевой аудиторией. Подобного рода исследования не только дают возможность определить пределы влияния СМИ на устойчивые ментальные структуры, но и могут помочь государству в формировании информационной и имиджевой стратегии.

Политическое восприятие и образ

Прежде чем говорить о политическом восприятии, отметим, что оно имеет некоторые специфические черты по сравнению с восприятием как таковым. Под последним в психологической литературе понимается «процесс отражения в сознании человека предметов и явлений окружающего мира при их непосредственном воздействии на рецепторы в форме целостных образов» [4. С. 18]. При этом отмечается, что восприятие обладает такими характеристиками, как опредмеченность, структурность, константность, осмысленность и апперцептивность [5. С. 30–34].

Политическое восприятие, в свою очередь, является частным случаем социальной перцепции, о которой впервые заговорил американский социаль-

ный психолог Дж. Брунер. Им использовался данный термин в ходе описания механизмов межличностного восприятия в рамках социума [6. С. 39–67]. Однако говоря о политическом восприятии, необходимо отметить, что, несмотря на схожесть этих двух процессов, он обладает специфическими механизмами и закономерностями, которые не позволяют нам переносить психологические формы на политическую реальность.

В качестве отличительных характеристик данного процесса исследователи выделяют высокую степень его субъективации и опосредованность [7. С. 43]. Связано это с тем, что политическое восприятие в основном направлено на смысловые и оценочные интерпретации политических объектов, а не на отражение объективной действительности. Как следствие, описываемый нами процесс характеризуется большей слитностью когнитивных и эмоциональных компонентов перцепции, а также существенным влиянием социальных стереотипов, ценностей и установок. Помимо этого, в отличие от восприятия как такового, политическое восприятие обусловлено существующим политическим и историческим контекстом, социокультурными особенностями исторического процесса [8], а также опосредовано каналами получения информации и коммуникации [9. С. 15]. Именно поэтому традиционные и во все большей степени нетрадиционные медиа¹ во многом определяют коммуникативный образ того или иного объекта, а следовательно, и тот образ, который затем сформируется в массовом сознании.

Структура образа страны и факторы ее восприятия

С точки зрения страноведения и политической географии страна представляет собой территорию с определенными границами, которая имеет политическую и экономическую обособленность и в рамках которой население объединено исторически и культурно [10]. Данное определение учитывает основные аспекты понимания и интерпретации образа страны: географический, политический, экономический, исторический и культурный. Отметим, что образ страны – единственный из всех политических образов, который является столь многоаспектным. Как следствие, его изучение позволяет составить представление о содержимом массового сознания в культурном, политическом, историческом и других аспектах.

Из всего массива теоретических и методологических разработок в данном направлении выделяют несколько актуальных блоков: политико-психологический, политико-культурный, политико-географический и политико-коммуникативный. Каждый из названных подходов имеет свои особенности и методологические принципы. Остановимся подробнее на политико-психологическом и политико-коммуникативных аспектах, так как именно они представляют ценность в рамках изучения коммуникативного фактора формирования образа страны.

Политико-психологический подход во многом представлен в исследованиях кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова (см., например: [9]). В рамках политико-психологического

¹ В рамках современных типологизаций исследователи все чаще рассуждают о традиционных и нетрадиционных СМИ и СМК. К традиционным относят печатные СМИ, радио и телевидение, а к нетрадиционным (новым) медиа – блоги, социальные сети, информационные сайты и другие формы СМК в пространстве Интернета.

подхода проводят анализ образа сквозь призму политической культуры, социально-психологических особенностей субъекта восприятия, а также анализируют образ в тех эмоциональных, когнитивных и поведенческих срезах, которые существуют на сознательном и бессознательном уровнях восприятия.

Такого рода подход к изучению данного феномена предполагает, что структура образа страны содержит в себе:

- образ территории;
- образ народа;
- образ власти;
- образ национальных героев;
- образы «друзей» и «врагов»;
- образ политического лидера (подробнее см.: [11]).

Говоря о политико-психологическом подходе в изучении образа страны, необходимо отметить также работы Е.В. Егоровой-Гантман (см., например: [12]), в которых структура образа содержит в себе:

- образ-знание (субъективная картина реальности и знания субъекта об объекте восприятия);
- образ-значение (ценность объекта восприятия для субъекта);
- образ потребного будущего (ожидания и прогнозы относительно объекта восприятия).

Как видно, структурные компоненты образа, представленные каждой из школ, имеют потенциал формирования со стороны СМИ и СМК. Однако необходимо понимать, что на данный процесс помимо коммуникативного фактора оказывают влияние те условия, в которых это происходит. Речь, главным образом, идет о субъектных, объектных, пространственных и темпоральных факторах восприятия.

Объектные факторы подразделяются на две группы. Первая из них связана с политическим контекстом, который, в свою очередь, включает устойчивые (политическая культура, традиции, мифология, религия, менталитет и др.) и изменчивые факторы (правящий режим, положение государства на международной арене, конкретные политические события, информационные поводы и т.д.). Вторая группа объектных факторов связана непосредственно с объектом восприятия (его свойствами и характеристиками).

Субъектные факторы связаны с характеристиками субъекта восприятия; к ним относятся социально-демографические характеристики: пол, возраст, образование, профессия, а также психологические характеристики: настроения, потребности, мотивы, ценности.

Пространственные факторы неразрывно связаны с географическим восприятием страны, ее размерами, климатом и географическим положением.

Темпоральные факторы связаны с восприятием страны во времени: восприятием прошлого, идеального и реального, образа настоящего и образа потребного будущего.

Что же касается коммуникативного фактора, то он включает в себя информационный контекст восприятия конкретного политического объекта, в нашем случае – страны, и характеристики той информационной среды, непосредственно в условиях которой происходит сам процесс восприятия в каждый определенный момент. Однако можно заметить, что данный фактор

имеется практически в каждом из перечисленных выше, становясь тем самым если не определяющим образ, то во многом его формирующим.

Коммуникативный фактор восприятия и формирования образа страны

В самом общем смысле коммуникация представляет собой любой процесс обмена информацией [13. С. 5]. Таким образом, например, обмен данными в сложных информационных системах также является коммуникативным процессом, однако существует ряд расхождений между кибернетическим подходом к процессу коммуникации и политико-социологическим.

С точки зрения социологии коммуникация, как определяет ее С.В. Бориснев, представляет собой процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по разным каналам при помощи разных СМК [14. С. 24]. Таким образом, социология и коммуникативистика ограничивают коммуникативные процессы рамками социального, не углубляясь, например, в исследования процесса обмена данными между сложными электронными информационными системами.

Из всех моделей коммуникаций, существующих в научной литературе, остановимся на тех из них, которые функционируют в рамках интересующей нас политико-социологической теории и могут быть применимы в рамках исследования политических образов.

Признанная классической модель Шрамма-Маккуэйла, она же авторитарная модель коммуникации, основывается на крайне жестких формах контроля деятельности СМИ со стороны государства [15. С. 444]. Данная модель определяет практически абсолютную роль государства в формировании образа страны, поскольку СМИ и СМК являются основными поставщиками информации, на которой основывается знание субъекта [16]. В свою очередь, образ, формируемый в сознании, представляет собой не что иное, как структуру, в которую облачается это знание. Боулдинг отмечает, что, возникая в сознании, после распространения образы становятся общественными представлениями, разделяемыми массами людей. При этом сила этих образов напрямую зависит от того символического содержания, которым СМК их наполняют. Если обратиться к структуре образа страны, то можно заметить, что самыми «податливыми» с этой точки зрения для воздействия являются образы национальных героев, «друзей» и «врагов».

Можно заметить, что в данной модели воздействие СМИ на массовое сознание носит односторонний характер. Идея обратной связи проявляется в модели, которая в середине XX в. произвела настоящую революцию в области коммуникативных исследований. Речь идет о модели Г. Лассвелла, ныне также считающейся классической в рамках социологии политических коммуникаций. Исследователь вывел следующую пятиэлементную структуру коммуникации: Кто сообщает? (коммуникатор) – Что сообщает? (информация) – По какому каналу сообщает? (канал передачи) – Кому сообщает? (аудитория) – С каким эффектом сообщает? (обратная связь) [17]. Таким образом, модель Г. Лассвелла стала первой социологической моделью, позволившей не только выявить структуру коммуникативного процесса, но и приступить к более детальному исследованию его отдельных элементов. Именно такой подход к коммуникации дает возможность производить коррекцию образа с

помощью различных процедур, в числе которых выборочное целевое информирование, которое позволяет формировать не только образ, но и имидж страны [18. С. 31].

Говоря о восприятии гражданами социальной действительности и выстраивания на его основе своего отношения к ней, стоит отметить, что из-за обилия информации люди все реже подвергают ее критическому анализу. В силу высокого ритма современной жизни человек стремится сократить время как на ее обработку, так и на принятие решений. Именно поэтому при восприятии той или иной информации происходит встраивание ее в существующую в сознании систему стереотипов, каждый из которых представляет весьма устойчивое образование, содержащее упрощенные и упорядоченные картины мира, экономящие усилия людей при принятии решения по поводу тех или иных сложных социальных и политических объектов, [19. С. 43]. Благодаря этой специфике стереотипы во многом определяют те самые образ-знание, образ-значение и даже образ потребного будущего страны, о которых писалось выше и на основе которых строится любой образ. Однако и здесь мы должны отметить исключительную роль СМИ, которым вследствие своего массового характера под силу влиять на изменения существующих и формирование новых стереотипов.

Таким образом, СМИ становятся практически полностью подвластными когнитивная и аффективная составляющие образа. Однако не в меньшей степени СМИ способны воздействовать и на поведенческую составляющую.

Модель Дж.Б. Уотсона, она же модель бихевиоризма, или поведенческая модель, привнесла в социологию коммуникаций понятия «стимул» и «реакция». Таким образом, основополагающей функцией процесса коммуникации признавалась функция автоматизации неких поведенческих установок за счет их постоянного стимулирования [14. С. 37]. Теория социального научения, она же бихевиоральная теория, впервые представленная А. Бандурой в середине 60-х гг. XX в., обращается к анализу влияния СМИ на поведение аудитории, постулируя связь между стимулом, посылаемым медиа, и реакцией реципиента на данный стимул. Согласно данной теории в процессе коммуникации за счет различных стимулов происходит социальное научение, в дальнейшем выражаемое конкретным поведением реципиента в отношении объекта восприятия [20].

Другими словами, можно утверждать, что СМИ являются не только каналами распространения различного рода стимулов, но зачастую и их создателями. Возможность создания такого рода стимулов довольно неплохо описывает коммуникативная модель Ноэль-Нойман [21], которая в своем «Открытии спирали молчания» говорит о способности СМИ подменять понятия «меньшинство» и «большинство» в рамках своей информативной деятельности. Как результат, указывая на выбор «большинства», СМИ стимулируют определенную реакцию и у остальных.

Рассуждая о возможностях формирования СМИ определенного рода установок к восприятию и, как следствие, образа страны, стоит несколько слов сказать о тех механизмах, посредством которых это может быть достигнуто.

Г.М. Андреева выделяет следующие механизмы социального восприятия: идентификацию, эмпатию, аттракцию, казуальную атрибуцию, рефлекс-

сию, категоризацию и стереотипизацию. Идентификация представляет собой процесс восприятия индивидом особенностей объекта при помощи сравнения собственных внутренних состояний и состояний данного объекта. Эмпатия – это механизм аффективного восприятия, основанный на формировании эмоционального отношения. Аттракция – это процесс формирования положительных установок восприятия, основанный на возникновении чувств привязанности и личностного участия. Механизм казуальной атрибуции проявляется в процессе социального восприятия на уровне когнитивной интерпретации мотивационной составляющей объекта восприятия. Рефлексия представляет собой процесс самопознания индивида в ходе взаимодействия с воспринимаемым объектом. Механизм категоризации проявляется в формате причисления объекта к той или иной категории на основании уже имеющихся у индивида знаний и опыта. Механизм стереотипизации представляет собой процесс формирования стереотипных суждений и установок в ходе социального восприятия [22].

М.Н. Грачёв отмечает, что СМК существенно влияют на такие механизмы восприятия, как эмпатия, аттракция, стереотипизация и категоризация. Фактически в процессе массовой коммуникации медиа присваивают объектам определенные стереотипы и категории, которые навязываются субъекту восприятия в качестве реальности. Механизмы эмпатии и аттракции существенно ускоряются в рамках массовой коммуникации за счет большого количества информации об объекте и включения в процессе восприятия различных органов чувств [23. С. 14–15].

Выводы

Рассмотрев существующие теории массовой коммуникации в контексте формирования образа страны, можно сказать, что информационная, образовательная, пропагандистская функции СМК, а также функция формирования общественного мнения способны существенным образом воздействовать на процесс политического восприятия за счет популяризации определенных знаний и фактов об объекте восприятия, а также формирования стереотипов, социальных установок, ценностей, и потребностей.

Данные свойства СМК обусловлены тем, что они могут являться одновременно коммуникаторами и каналами передачи информации, агентами и институтами образования и социализации, а также создателями определенного рода стереотипов.

Другими словами, медиа формируют контекст восприятия страны за счет создания и популяризации информационных поводов и формирования повестки дня, а также влияют на объектные и субъектные факторы политического восприятия. Более того, их роль усиливается тем фактом, что сам процесс политического восприятия происходит в реалиях сложной информационно-коммуникативной сети взаимодействий, называемой глобальным информационным пространством.

Литература

1. *Вершинин М.С.* Политическая коммуникация в информационном обществе // Актуальные проблемы теории коммуникации: сб. науч. тр. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. С. 98–107.

2. *Crigler A.N.* The Psychology of Political Communication. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 1996. 262 p.
3. *Палитай И.С.* Методология политико-психологического исследования массового политического сознания в трансформирующихся обществах // Политическая наука. 2016. Спецвыпуск. С. 193–203.
4. *Журавлев И.* Психология и психопатология восприятия: Прологомены к теории «зонда». М.: ЛКИ, 2008. 128 с.
5. *Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р.* Психология восприятия. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. 180 с.
6. *Брунер Дж.* Психология познания: За пределами непосредственной информации: пер. с англ. М.: Прогресс, 1977. 413 с.
7. *Зверев А.Л., Палитай И.С., Rogozar' A.I., Смутькина Н.В.* Особенности политического восприятия в современных российских условиях // Полис. Политические исследования. 2006. № 3. С. 40–54.
8. *Greenstein F.J.* Can Personality and Politics Be Studied Systematically // *Political Psychology: Key Readings* / ed. by John T. Jost and James Sidanius. N.Y.: Taylor & Francis Books, 2004. P. 108–123.
9. *Психология политического восприятия в современной России* / под ред. Е.Б. Шестопал. М.: РОССПЭН, 2012. 423 с.
10. *Киселев И.Ю.* Проблема образа государства в международных отношениях: конструктивистская парадигма // Политическая экспертиза: Политэк. 2007. № 3. С. 253–260.
11. *Пищева Т.Н., Виноградова Н.С., Недова А.Д.* Образ России под углом зрения политических коммуникаций // Полис. Политические исследования. 2010. № 4. С. 107–121.
12. *Егорова-Гантман Е.В., Плешаков К.В.* Политическая реклама. М.: Никколо М, 2002. 240 с.
13. *Гойхман О.Я.* Коммуникативистика в современном обществе // Современная коммуникативистика. 2012. № 1 (1). С. 4–9.
14. *Бориснёв С.В.* Социология коммуникации. М.: ЮНИТИ, 2003. 270 с.
15. *Политическая социология* / под ред. Т.В. Евгеньевой. М.: РОССПЭН, 2013. 520 с.
16. *Boulding K.* National Images and International Systems // *Journal of Conflict Resolution*. 1959. Vol. 3, № 2. P. 120–131.
17. *Lasswell H.D.* The structure and function of communication in society // Bryson (ed.). *The Communication of Ideas*. N.Y.: Harper and Brothers, 1948. P. 215–228.
18. *Галузов Э.А.* Международный имидж современной России: автореф. дис. ... д-ра полит. наук. М., 2004. 50 с.
19. *Липпман У.* Общественное мнение. М.: Ин-т фонда «Общественное мнение», 2004. 384 с.
20. *Бандура А.* Теория социального научения. СПб.: Евразия, 2000. 290 с.
21. *Нозль-Нойман Э.* Общественное мнение: Открытие спирали молчания. М.: Прогресс-Академия, 1996. 352 с.
22. *Агеев В.С., Андреева Г.М.* Специфика подхода к исследованию перцептивных процессов в социальной психологии // Социальная психология: хрестоматия / сост. Е.Б. Белинская. М.: Аспект Пресс, 2003. С. 128–193.
23. *Грачёв Г.В., Мельник И.К.* Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. М.: Эксмо, 2003. 153 с.

Palitay Ivan S. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation) (Moscow, Russian Federation)

E-mail: 8321532@gmail.com

DOI: 10.17223/1998863X/41/17

MEANS OF MASS COMMUNICATION AS A FACTOR FOR FORMING THE IMAGE OF THE COUNTRY IN MASS CONSCIOUSNESS

Key words: political perception, image, country, media, communication.

The article is devoted to the problem of forming the image of the country in the mass political consciousness and the role of the media in this process. Since the process of political perception is mediated by channels for obtaining information and communication, traditional and non-traditional Media largely determine both the communicative image and the image, which is then formed in the mass consciousness. That is why, in the context of informatization and globalization of the world geo-

political space, psychological and communicative aspects must be taken into account when the state develops strategies for its behavior. The article considers the political-psychological and politico-communicative approaches to this issue. The author analyzes various views on the structural components of the image of the country. In particular: the image of the people, the image of power, national heroes, “friends”, “enemies”, political leader, as well as the image-knowledge, image-value and image of the future. All these elements of the image are considered from the point of view of the possibility of their formation with the help of the media. The main theories of political communication analyzed in the work allow us to consider the media as a factor in the formation of cognitive, emotional and behavioral components of the image of the country. The information, educational, propaganda functions of the QMS, as well as the function of forming public opinion, can significantly influence the process of political perception. This is due to the popularization of certain knowledge and facts about the object of perception, as well as the formation of stereotypes, social attitudes, values and needs. Media form the context of the perception of the country through the creation and popularization of information causes and the formation of the agenda, and also affect the objective and subjective factors of political perception. In other words, mass media can simultaneously be communicators and channels of information transfer, agents and institutions of education and socialization, as well as creators of a certain kind of stereotypes. The aspects of media activity described in the article can help the state in the formation of an information and image strategy.

Referenses

1. Vershinin, M.S. (2004) Politicheskaya kommunikatsiya v informatsionnom obshchestve [Political communication in the information society]. In: Akimova, O.V. et al. *Aktual'nye problemy teorii kommunikatsii* [Topical Problems of the Theory of Communication]. St. Petersburg: St. Petersburg State Pedagogical University. pp. 98–107.
2. Crigler, A.N. (1996) *The Psychology of Political Communication*. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press.
3. Palitay, I.S. (2016) Methodology of political and psychological mass political consciousness research in transforming society. *Politicheskaya nauka*. Special Issues. pp. 193–203. (In Russian).
4. Zhuravlev, I. (2008) *Psikhologiya i psikhopatologiya vospriyatiya. Prolegomeny k teorii “zonda”* [Psychology and psychopathology of perception. Prolegomena to the “probe” theory]. Moscow: LKI.
5. Velichkovskiy, B.M., Zinchenko, V.P. & Luriya, A.R. (1973) *Psikhologiya vospriyatiya* [Psychology of Perception]. Moscow: Moscow State University.
6. Bruner, J. (1977) *Psikhologiya poznaniya. Za predelami neposredstvennoy informatsii* [Psychology of cognition. Outside the immediate information]. Translated from English by K.I. Babitsky. Moscow: Progress.
7. Zverev, A.L., Palitay, I.S., Rogozar, A.I. & Smulkina, N.V. (2006) Osobennosti politicheskogo vospriyatiya v sovremennykh rossiyskikh usloviyakh [Peculiarities of political perception in modern Russian conditions]. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 3. pp. 40–54.
8. Greenstein, F.J. (2004) Can Personality and Politics Be Studied Systematically. In: Jost, J.T. & Sidanius, J. (eds) *Political Psychology: Key Readings*. New York: Taylor & Francis Books. pp. 108–123.
9. Shestopal, E.B. (ed.) (2012) *Psikhologiya politicheskogo vospriyatiya v sovremennoy Rossii* [Psychology of political perception in modern Russia]. Moscow: ROSSPEN.
10. Kiselev, I.Yu. (2007) Problema obraza gosudarstva v mezhdunarodnykh otnosheniyakh: konstruktivistskaya paradigma [The problem of the state image in international relations: the constructivist paradigm]. *Politicheskaya ekspertiza: POLITEKS – Political Expertise: POLITEX*. 3. pp. 253–260.
11. Pishcheva, T.N., Vinogradova, N.S. & Nedova, A.D. (2010) The image of Russia through prisms of political communications. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 4. pp. 107–121. (In Russian).
12. Egorova-Gantman, E.V. & Pleshakov, K.V. (2002) *Politicheskaya reklama* [Political Advertising]. Moscow: Nikkolo M.
13. Goykhman, O.Ya. (2012) Kommunikativistika v sovremennoy obshchestve [Communicative studies in modern society]. *Sovremennaya kommunikativistika – Modern Communication Studies*. 1(1). pp. 4–9.
14. Borisnev, S.V. (2003) *Sotsiologiya kommunikatsii* [Sociology of Communication]. Moscow: YuNITI.
15. Evgenieva, T.V. (ed.) (2013) *Politicheskaya sotsiologiya* [Political Sociology]. Moscow: ROSSPEN.

16. Boulding, K. (1959) National Images and International Systems. *Journal of Conflict Resolution*. 3(2). pp. 120–131. DOI: 10.1177/002200275900300204
17. Lasswell, H.D. (1948) The structure and function of communication in society. In: Bryson, L. (ed.) *The Communication of Ideas*. New York: Harper and Brothers. pp. 215–228.
18. Galumov, E.A. (2004) *Mezhdunarodnyy imidzh sovremennoy Rossii* [The international image of modern Russia]. Abstract of Political Studies Dr. Diss. Moscow.
19. Lippman, W. (2004) *Obshchestvennoe mnenie* [Public Opinion]. Translated from English by T.V. Barchunova. Moscow: Obshchestvennoe mnenie.
20. Bandura, A. (2000) *Teoriya sotsial'nogo naucheniya* [The Theory of Social Learning]. Translated from English. St. Petersburg: Evraziya.
21. Noel-Noyman, E. (1996) *Obshchestvennoe mnenie. Otkrytie spirali molchaniya* [Public opinion. Opening a spiral of silence]. Moscow: Progress-Akademiya.
22. Ageev, V.S. & Andreeva, G.M. (2003) Spetsifika podkhoda k issledovaniyu pertseptivnykh protsessov v sotsial'noy psikhologii [Specificity of the approach to the study of perceptual processes in social psychology]. In: Belinskaya, E.B. *Sotsial'naya psikhologiya* [Social Psychology]. Moscow: Aspekt Press. pp. 128–193.
23. Grachev, G.V. & Melnik, I.K. (2003) *Manipulirovanie lichnost'yu: organizatsiya, sposoby i tekhnologii informatsionno-psikhologicheskogo vozdeystviya* [Personality manipulation: Organisation, methods and technologies of information-psychological impact]. Moscow: Eksmo.

УДК 316.728

DOI: 10.17223/1998863X/41/18

А.С. Петухов. С.В. Пирогов

ТЕОРИИ ПРАКТИК КАК МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Рассматриваются возможности применения теорий практик для изучения повседневности. Выделены три методологические проблемы: проблема соотношения повседневности и институционального порядка, проблема соотношения рационального и нерационального в жизнедеятельности людей, проблема механизмов изменения реальности. На фоне анализа ограниченности феноменологической трактовки повседневности показаны методологические возможности теорий практик. Проанализирован методологический потенциал изучения повседневности следующих теорий: теории habitus П. Бурдьё, теории фигураций Н. Элиаса, теории пространственных тактик М. де Серто.

Ключевые слова: повседневность, теории практик.

1. Методологические основания «открытия» повседневности: какие методологические вопросы (проблемы) поднимает тема повседневности?

Возникновение интереса к повседневности было обусловлено определенными недостатками классической методологии, прежде всего крайностями рационализма: различные авторы стали обращать внимание на то, что существуют и другие, нерационалистические формы познания и деятельности. Собственно, открытие повседневности произошло в феноменологии. У М. Вебера процесс «повседневничания» еще тождествен упадку, повседневность может быть «тупой» и «гнетущей» [1. С. 331]; для него целерациональное действие и есть социальное действие. У М. Хайдеггера появляется тезис о переоткрытии, переосмыслении реальности в ходе повседневной, непреднамеренной, предметно-практической деятельности. Новый смысл, а значит, новый феномен, новое явление, новая вещь возникают как «просвет бытия», как другое видение уже существующего [2]. Хайдеггер обращает внимание на значимость предметно-практической, технической, инструментальной деятельности для появления нового [3]. Размышляя над путями появления нового, он, по сути, ограничил империализм рационального, характерного для классической философии и развивал мысль Гуссерля, что базовой реальностью является реальность повседневной жизни – один из основных тезисов феноменологии. Именно здесь, в рутине повседневной жизни, формируются новые структуры бытия. Новое чаще всего появляется как непреднамеренное отклонение от традиционных действий. И здесь возникает вопрос: как новое входит в структуру старого, как легитимизируются новые практики, как непреднамеренное превращается в объективную реальность, т.е. признается в качестве очевидной и «правильной»? Хайдеггер поднял еще один важный вопрос: как можно помыслить пространство, где нет четкого

разделения на объект и субъект, пространство, где появляются вещи как единство объективного и субъективного? Но в целом отношение к повседневности определяется у него все еще понятиями рутины и однообразия. А. Шюц, синтезируя идеи Гуссерля и Вебера, объявляет повседневность «высшей реальностью», основой, на которой формируются все прочие миры опыта [4]. Однако Шюц дает описательное определение повседневности, выделяя такие характеристики, как напряженно-бодрствующее состояние сознания, целостность личностного участия в мире, совокупность самоочевидных, не вызывающих сомнения представлений и др. [5. С. 125]. Различные авторы используют термины, которые являются скорее метафорами, чем субстанциональными характеристиками и мало что проясняют в понимании его сущности, строения, характерных свойств.

Интерес к повседневности возник и со стороны исторической науки. Здесь была осознана необходимость преодоления крайностей в понимании общества и истории как, с одной стороны, некоторой безличной системы или стихийного процесса изменений и деятельности конкретных людей, индивидов с их обычными житейскими заботами и делами. Появился интерес к обычному, «маленькому» человеку, повседневная и, казалось, малозначительная деятельность которого и меняет общество, совершает историю. Отсюда, собственно, и пошла речь о практиках повседневности. Особо показательна здесь фигура Н. Элиаса, который сделал социологические выводы из истории повседневности. На эмпирическом материале истории быта и повседневных отношений он поставил под сомнение господствующий в социологии тезис, согласно которому поведение есть функция нормы, привлек внимание к появлению новых, ненормативных, девиантных моделей поведения, которые позднее становятся нормой. «Социологические теории, в которых нормы называются причинами человеческих отношений людей и которые не принимают во внимание возможность ненормативных и нерегулируемых человеческих отношений, искажают картину обществ, как и теории, не принимающие во внимание возможность типизации ранее не стандартизированных, неуправляемых человеческих отношений» [6. С. 45].

Еще ранее феноменологическими социологами был поставлен вопрос: как человеческая субъективность превращается в объективную реальность и как эта объективная социальная реальность, т.е. общество, «уживается», присутствует в индивиде, организует и направляет его поведение? По большому счету, они не ответили на этот вопрос. Ответ на него кроется в изучении процесса формирования и изменения жизненного мира, т.е. изучении процесса и механизмов повседневных действий людей. Феноменологическая социология говорит, что люди находятся внутри (под куполом) некоторого символического универсума, что и позволяет им согласованно действовать. Культурно-символическое обоснование типизаций не объясняет того, что вещи, события и их обозначения (значения слов) меняют свое содержание, становятся знаками других действий. Феноменологический подход также не обращает внимание на «возможности альтернативной типизации, альтернативной объективации, альтернативной институционализации...» [7]. Проще говоря, люди не только истолковывают знаки в соответствии с культурными установками жизненного мира, но и перетолковывают их порой неожиданным образом, раздвигая горизонты жизненного мира и тем самым меняя «другие миры» –

различные аспекты общества. Основной вопрос феноменологии – как люди в социальном, культурном взаимодействии воспринимают, толкуют, перетолковывают и конструируют социальную действительность – остался открытым, но его обсуждение привело к постановке ряда конкретных методологических проблем: соотношение повседневности и системы; соотношение рационального и нерационального в повседневной жизни человека; проблема механизмов изменения реальности. Дадим краткую характеристику сути этих проблем.

Проблема соотношения повседневности и системы. С одной стороны, повседневность отражает существенные характеристики социальной системы, с другой – повседневность можно рассматривать как источник ее трансформации. Возникает вопрос: *как повседневным практикам удастся изменить систему?*

Проблема соотношения рационального и нерационального в жизнедеятельности людей. В классической теории повседневность противопоставлялась разуму как нечто неустойчивое – устойчивому, иррациональное – рациональному. Но в феноменологической теории жизненный мир как результат повседневной жизни был объявлен основой рациональности. Был выдвинут тезис, что рациональность повседневности – это не недоразвитое теоретическое сознание, а особая практическая рациональность (Шюц), «плавающий тигль рациональности» (Б. Вальденфельс). Возникает вопрос: *как рациональность «выплавляется» в повседневности?*

Проблема механизмов изменения реальности. Это основная проблема. Современная феноменологическая теория в лице Б. Вальденфельса утверждает, что между повседневной жизнью и институциональным порядком имеет место своеобразная конверсия (от лат. *conversio* – «обращение», «превращение»): «Нисходящее движение оповседневнивания имеет свою противоположность в восходящем процессе преодоления повседневности. Сюда относится появление необычного в процессах творения и инновации, которые прокладывают себе путь с помощью отклонений, отходов от правил и новых дефиниций. ...Повседневность, понимаемая в такого рода процессах переплавления, действует, кроме того, как фермент, как закваска, которая позволяет чему-то зародиться» [8. С. 47, 49].

Возникает вопрос: *как новое «выплавляется» из старого; каковы механизмы появления новых действий, которые потом превратятся в новую систему?*

2. Теория практик как методология изучения повседневности: как теория практик может помочь решению выделенных проблем?

В той или иной форме термин «практика» был принят в социальной теории, так как имеет ценность для достижения методологических компромиссов и интеграции исследовательских полей различных гуманитарных дисциплин. Различные авторские теории практик показывают процесс конвертации объективных (материальных) и субъективных (идеальных) компонентов человеческой деятельности, активности, процесс социального (совместно-деятельностного) конструирования реальности. В фокус исследовательского внимания попадают такие предметы, как события повседневной жизни и ве-

щи повседневности. Это новая предметная область исследований – наряду с системами, структурами, действиями, интерпретациями и др., характерными для структурно-функциональной и феноменологической теории. Историко-этнографическое описание не позволяет понять, как эти явления (вещного мира) включены в структуры взаимодействия и индивидуального поведения. Другое дело, если их рассматривать не как отдельные явления, а как некоторый фон, который выражает «дух времени» – смысловой горизонт. Важно не полезное свойство вещи само по себе, а характер, способ его использования, который проливает свет на намерения и ориентации человека. «Следует рассматривать повседневность не как череду одномерных, нерелексированных поведенческих актов, а как среду событийности, средоточие *микрособытий*...» [7]. Вещь и событие как явления повседневности имеют общую основу возникновения – значимость для человека. Разным людям являются разные вещи и события. Точнее, человек их сам создает для себя, выделяя что-то из окружающей реальности: что-то замечая, а что-то игнорируя. Вещи – посредники (и проводники) в отношениях человека как с окружающей реальностью, так и с другими людьми. «Одно из условий, при которых материальные объекты выходят на первый план, подразумевает конфликтные ситуации, возникающие в ходе стремления различных социальных групп присвоить технологиям противоречивые значения» [9. С. 108].

Немаловажным методологическим достоинством понятия «практики» является и то, что они, «в отличие от будней повседневности, процедурны, имеют свою внутреннюю логику, содержательно тематизированы, имеют свои правила, как формальные, так и неформальные» [10].

На наш взгляд, для обсуждения вышеуказанных методологических проблем изучения повседневности перспективными являются теории, созданные П. Бурдьё, Н. Элиасом и М. де Серто. Перспективными их делает то, что они различными понятийными конструктами обсуждают, по сути, вопрос о практической рациональности как когнитивном механизме изменения социальной реальности.

Практическое действие и практическое сознание образуют некоторую устойчивую модель операционального, алгоритмического и слаборефлексивного действия, «правильность» которой обусловлена не постижением некоторой истины, а достижением эффективности действия. Если практическая (повседневно-бытовая) цель достигнута, то какого-либо объяснения, почему это произошло, для деятеля не требуется. Успешность практик в повседневной жизни сама по себе задает уверенность в «правильном» понимании реальности. «Мы не действуем на основе некоторого априорного понимания, а понимаем на основе привычного способа действия» [11. С. 22]. Жизненный мир – это сфера очевидного, понятного. Но разные люди живут в разных жизненных мирах, или, лучше сказать, повседневная жизнь различна (до некоторой степени) у разных социальных групп. Рациональность как необходимость анализа собственной деятельности и устройства мира включается в жизнедеятельность человека тогда, когда происходит сбой деятельности в повседневной жизни.

Рассмотрим возможности применения теорий вышеуказанных авторов для обсуждения методологических проблем исследования повседневности.

2.1. Проблема соотношения повседневности и системы в «практической парадигме»

Habitus П. Бурдьё можно рассматривать как медиатор повседневности и системы. Система действий формируется на протяжении длительного времени и отражает различные возможности и ограничения практической деятельности, которые имели место в длительной исторической перспективе. Нет однозначно заданной свободы, как нет и четко прописанной необходимости. Возможности и ограничения поведения и действий задаются особенностями той среды, которая формируется в процессе трудовой, семейной, экономической, политической и т.д. деятельности. Социальная необходимость – это необходимость поддержания каждодневного порядка.

«Фигурации» Н. Элиаса можно рассматривать как «заготовки» институтов. Методология Элиаса направлена на установление определенного соответствия между структурами повседневности и типами личности. Изменения в обществе необходимо связаны с изменением личности. «История повседневности» доказывает: люди не одинаково движутся по одной и той же колее, а потому индуктивный путь – путь к постижению общего (представлений о мире некоторой группы людей или всего общества) через отдельное (жизни, «повседневности» отдельных людей) – весьма продуктивный путь воссоздания жизни ушедших столетий» [12].

М. де Серто рассматривает соотношение системы и жизненного мира как соотношение стратегий власти и тактик повседневной жизни «маленького человека». Процесс конструирования социальной реальности, по Серто, протекает в двух режимах: производства и потребления. Производится реальность посредством стратегий власти и институтов. Но на уровне повседневности произведенная реальность потребляется в режиме присвоения отдельных фрагментов. Присвоение осуществляется через большое множество тактик – способов присвоения.

2.2. Проблемы соотношения рационального и нерационального в жизнедеятельности людей в «практической парадигме»

Habitus П. Бурдьё можно рассматривать в аспекте этой проблемы как «коридор» (место перехода) объективного и субъективного, рационального и нерационального, место неосознанной объективации субъективных ожиданий представителей общества. Суть в том, что реальность производится действиями актора, но действия эти не произвольны и не целерациональны, как бы это не казалось самому актору, а предопределены, во-первых, предшествующим социальным опытом; во-вторых, особенностями той социокультурной среды, в которой вырос, сформировался деятель.

Н. Элиас вновь поднял тему особой рациональности процесса игры. Его понятие фигураций есть такая форма взаимозависимости, которая включает в себя как рациональные, так и нерациональные компоненты, как целенаправленные, так и случайные. «Этот порядок (повседневности) ни рациональный (если под «рациональностью» понимать возникающее подобно машине целенаправленное согласование человеческих усилий в одном направлении), ни иррациональный (если под «иррациональностью» понимать нечто возникающее спонтанно и беспричинно)» [13. С. 72].

М. де Серто обратил внимание на особую рациональность потребления. Действия властных структур Серто называет стратегиями производства реальности: «...по этой стратегической модели конструируется политическая, экономическая и научная рациональность» [14. С. 50]. Потребление реальности происходит на основе другой рациональности, которая господствует в повседневности, – рациональность повседневных забот, если это можно считать рациональностью. Серто различал «пространства» и «места». Место – это организованный порядок, система объектов. «Место подчиняется закону «истинности»: рассматриваемые элементы находятся рядом друг с другом, каждый занимает свое «истинное» и четко выделенное положение, им же определяемое. Таким образом, место является конфигурацией положений в данный момент времени и косвенно служит показателем стабильности» [15. С. 172]. Пространство появляется тогда, когда элементы места приходят в движение, когда происходит изменение местоположения объектов. «Короче говоря, пространство – это практикуемое место. Так, улица, геометрически определенная градостроителем, превращается пешеходами в пространство» [Там же. С. 173]. Пространство – это антропологическое и экзистенциальное, а не геометрическое явление; пространство производится людьми, когда они устанавливают смысловые связи между объектами места.

2.3. Проблема механизмов изменения реальности сквозь призму «практической парадигмы»

П. Бурдьё рассматривает *Habitus* как механизм «нормального восприятия» и одновременно нормализации новых действий. Сложившиеся условия существования становятся структурой, устойчивой системой практических действий, которая является базисом восприятия и оценки всего последующего опыта. «Нормальным» признается то, что соответствует определенному *habitus* – сложившейся практике поведения и образу жизни. И далее эта сложившаяся практика восприятия и оценивания реальности начинает диктовать правила восприятия и действия и даже направляет ход мыслей в «правильном» направлении [16].

Н. Элиас поясняет, что модели фигураций – это модели игры, правила которой люди устанавливают порой неосознанно, случайно, спонтанно и которые постоянно меняются. Новая, непреднамеренно возникшая фигурация отношений порождает новый контекст локальных действий – новое определение ситуации, другой смысл действия, а значит, по сути, другое действие по своим последствиям. «Эти непреднамеренные последствия устанавливают образец поведения, который формирует контекст локальных действий» [6. С. 48].

М. де Серто рассматривает «тактики» как механизмы конструирования социальной реальности. В отличие от стратегий власти тактики – способ реализовать свой интерес для «слабых» – не обладающих властью. Описание тактик выглядит как описание механизмов деконструкции «письма». Их много, примером могут служить такие механизмы, как рекомбинация, импровизация, аппроксимация, новые способы оперирования. Данные механизмы

начинают работать тогда, когда удается посмотреть на вещи, ситуацию «другими глазами» – в другом контексте употребления. Тактики также появляются в результате непроизвольного, случайного, ошибочного действия, т.е. нетрадиционного употребления вещи, места, знака. В обоих случаях это практические контексты возникновения тактик, т.е. они возникают в процессе использования, оперирования «подручными средствами», как выразился бы Хайдеггер.

Резюме

Новые смыслы и модели поведения возникают в результате «разрыва повседневности» – непреднамеренных новых практик, возникающих в двух ситуациях: использование старой практики в новом контексте повседневности; изобретение новой практики (другого варианта действия) использования структур повседневности.

Когнитивным механизмом конвертации структур повседневности и характеристик системы является не столько теоретическая, сколько практическая рациональность. Рациональность как необходимость анализа собственной деятельности и устройства мира включается в жизнедеятельность человека тогда, когда происходит сбой деятельности в повседневной жизни.

П. Бурдьё, Н. Элиас, М. де Серто сходятся в том, что через практические, слаборефлективные, повседневные действия происходит конверсия между повседневной жизнью и институциональным порядком.

Литература

1. Вебер М. Избранные произведения // Макс Вебер / пер. с нем. М. Левин, А. Филиппов и др. М.: Прогресс, 1990. 804 с.
2. Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В.В. Бибихина. Харьков: Фолио, 2003. 503 с.
3. Хайдеггер М. Вопрос о технике. // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления: пер. с нем. М.: Республика, 1993. 447 с.
4. Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 1988. № 2. С. 120–136.
5. Григорьев Л.Г. Социология повседневности Альфреда Шюца // Социологические исследования. 1987. № 1. С. 123–128.
6. Козловский В.В. Фигуративная социология Норберта Элиаса // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. 3, № 3 (11). С. 40–54.
7. Королев С.А. Повседневность как эманация социальности: трансформации и тренды // Философская мысль. 2013. № 8. С. 356–422.
8. Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // СОЦИОЛОГОС. М.: Прогресс, 1991. С. 39–50.
9. Котельникова З.В. Как вещи вторгаются в отношения (на примере противокражного оборудования в магазинах) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. 14, № 4. С. 105–26.
10. Жигунова Г.В. Повседневность как социальный феномен [Электронный ресурс] // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2015. № 8 (52). С. 56–71. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/povsednevnost-kak-sotsialnyy-fenomen> (дата обращения: 25.09.2017).
11. Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик. СПб.: Изд. Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. 298 с.
12. Пушкарева Н.Л. История повседневности как направление исторических исследований [Электронный ресурс] // Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. URL: http://www.perspektivy.info/book/istorija_povsednevnosti_kak_napravlenije_istoricheskikh_issledovanij_2010-03-16.htm (дата обращения: 25.09.2017).

13. Марков Б.В. Культура повседневности: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2008. 352 с.
14. Серто М. де Изобретение повседневности / пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. 330 с.
15. Де Серто М. Практика повседневной жизни. Ч. 3: Пространственные практики // Прогнозис. 2010. № 1. 265 с.
16. Бурдьё П. Структуры, habitus, практики // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1, № 2. С. 44–54.

Petukhov Aleksandr S. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: petuhov.alex-r@yandex.ru

Pirogov Sergey V. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: pirogoff@ngs.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/18

PRACTICE THEORIES AS A METHODOLOGY FOR EVERYDAY LIFE STUDIES

Key words: everyday life, practice theories.

The article examines the possibilities of applying practice theories to study everyday life. The discovery of everyday life in phenomenological philosophy and historical science led to a methodological discussion on a number of issues of socio-philosophical cognition. Three methodological problems are singled out in the article: the problem of the correlation between everyday life and institutional order, the problem of the correlation of the rational and the non-rational in people's lives, the problem of mechanisms for changing reality. The limitations of the phenomenological interpretation of everyday life were analysed, and the methodological possibilities of practice theories are shown. The methodological potential of everyday life studies of the following theories was analyzed: P. Bourdieu's theory of habitus, N. Elias's theory of figurations, M. de Certeau's theory of spatial practices.

References

1. Weber, M. (1990) *Izbrannyye proizvedeniya* [Selected Works]. Translated from German by M. Levin, A. Filippov et al. Moscow: Progress.
2. Heidegger, M. (2003) *Bytie i vremya* [Being and Time]. Translated from German by V.V. Bibikhin. Kharkov: Folio.
3. Heidegger, M. (1993) *Vremya i bytie: stat'i i vystupleniya* [Time and Being: Articles and Apeeches]. Translated from German. Moscow: Respublika.
4. Schütz, A. (1988) *Struktura povsednevnogo myshleniya* [Structure of everyday thinking]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 2. pp. 120–136.
5. Grigoriev, L.G. (1987) *Sotsiologiya povsednevnosti Al'freda Shyutsa* [Sociology of daily life by Alfred Schütz]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 1. pp. 123–128.
6. Kozlovskiy, V.V. (2000) *Figurativnaya sotsiologiya Norberta Eliasa* [Figurative sociology by Norbert Elias]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – Journal of Sociology and Social Anthropology*. 3(11). pp. 40–54.
7. Korolev, S.A. (2013) *Povsednevnost' kak emanatsiya sotsial'nosti: transformatsii i trendy* [Everyday life as an emanation of sociality: transformations and trends]. *Filosofskaya mysl' – Philosophical Thought*. 8. pp. 356–422. DOI: 10.7256/2306-0174.2013.8.709
8. Waldenfels, B. (1991) *Povsednevnost' kak plavil'nyy tigl' ratsional'nosti* [Everyday life as a melting pot of rationality]. Moscow: Progress. pp. 39–50.
9. Kotelnikova, Z.V. (2011) *Kak veshchi vtorgayutsya v otnosheniya (na primere protivokrazhnogo oborudovaniya v magazinakh)* [How things interfere in relationships (on the example of anti-theft equipment in stores)]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – Journal of Sociology and Social Anthropology*. 14(4). pp. 105–26.
10. Zhigunova, G.V. (2015) *Povsednevnost' kak sotsial'nyy fenomen* [Daily life as a social phenomenon]. *Sovremennyye issledovaniya sotsial'nykh problem – Russian Journal of Education and Psychology*. 8(52). pp. 56–71 [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/povsednevnost-kak-sotsialnyy-fenomen>. (Accessed: 25th September 2017). DOI: 10.12731/2218-7405-2015-8-4
11. Volkov, V.V. & Kharkhordin, O.V. (2008) *Teoriya praktik* [The Theory of Practices]. St. Petersburg: European University in St. Petersburg.
12. Pushkareva, N.L. (2010) *Istoriya povsednevnosti kak napravlenie istoricheskikh issledovaniy* [The history of everyday life as a direction of historical research]. [Online] Available from:

http://www.perspektivy.info/book/istorija_povsednevnosti_kak_napravlenije_istoricheskikh_issledovanij_2010-03-16.htm. (Accessed: 25th September 2017)

13. Markov, B.V. (2008) *Kul'tura povsednevnosti* [Culture of Everyday Life]. St. Petersburg: Piter.

14. De Serto, M. (2013) *Izobretenie povsednevnosti* [Invention of Everyday Life]. Translated from French by D. Kalugin, N. Movnina. St. Petersburg: European University in St. Petersburg.

15. De Serto, M. (2010) *Praktika povsednevnoy zhizni*. Ch. 3. *Prostranstvennye praktiki* [Practice of everyday life. Part 3. Spatial practices]. *Pro-gnozis*. 1(20).

16. Bourdieu, P. (1998) *Struktury, habitus, praktiki* [Structures, habitus, practices]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – Journal of Sociology and Social Anthropology*. 1(2). pp. 44–54.

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 322

DOI: 10.17223/1998863X/41/19

Е.Г. Аванесова, Н.А. Микаелян

РОЛЬ ИСЛАМСКОГО ФАКТОРА В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

Статья посвящена исследованию роли исламского фактора в политических процессах Республики Татарстан. На сегодняшний день влияние исламского фактора в Татарстане прослеживается в сферах экономики, образования, социальной и информационной политики, законодательного регулирования, налаживания международных связей. Авторы приходят к выводу, что это влияние, несмотря на свою фрагментарность, перманентно и имеет тенденцию к усилению.

Ключевые слова: ислам, региональная политика, региональные политические процессы, политическое участие, Духовное управление мусульман Республики Татарстан.

Политическая активизация мусульманских организаций характерна сегодня для ряда республик Российской Федерации. Ислам постепенно перестает проявлять себя только как религиозный фактор, носитель духовно-культурных ценностей или проводник социальных программ, он превращается в важную составляющую российского политического процесса [1]. Исламские объединения, становясь субъектами политического процесса, требуют внимания со стороны как федеральных, так и республиканских органов государственной власти, которые не могут не учитывать новые политические реалии и вынуждены вырабатывать современные механизмы взаимодействия с религиозными организациями. Наиболее остро проблема выработки таких механизмов стоит перед региональными органами власти так называемых «исламских регионов»¹ в составе РФ. Особый интерес в этом плане представляет Республика Татарстан (далее в тексте – РТ). С одной стороны, она традиционно считается «исламским регионом», с другой стороны, в республике почти 40 процентов населения составляют русские, исповедующие православие. Такой полиэтничный и поликонфессиональный состав территории требует от региональных властей проведения гибкой политики с учетом интересов обеих доминирующих этнических групп.

В данной статье предпринимается попытка определить те возможности, которые предоставляет республиканское законодательство в плане политического участия мусульманских организаций РТ и их влияния на региональный политический процесс. Информационную базу исследования составили: региональные законы и материалы официальных сайтов органов власти Рес-

¹ Исламскими регионами названы те республики в составе РФ, в которых мусульманское население составляет более 50%, а именно: Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Башкортостан, Татарстан.

публики Татарстан, касающиеся сферы регулирования религиозно-политических взаимодействий; материалы официального сайта Духовного управления мусульман Республики Татарстан по вопросу взаимодействия с региональными властями.

Согласно Конституции республики Татарстан является светским государством, а религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом [2]. Вследствие этого институционализация исламского фактора протекает в рамках заданного правового поля, которое во многом ограничивает коридор политических возможностей мусульманских организаций республики. Светский характер государства, обусловленный Конституцией РТ, определил специфику всего республиканского законодательства, касающегося вопросов религиозно-политических взаимодействий.

Одним из ключевых правовых актов, регулирующих проблемы взаимодействия уммы и региональных властей, стал Закон Республики Татарстан «О свободе совести и о религиозных объединениях» [3], принятый в 1999 г. Согласно этому Закону религиозные объединения не участвуют в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также в деятельности политических движений и партий, не оказывают им материальную и иную помощь. На сегодня в Татарстане нет и не может быть ни одной зарегистрированной исламской партии [4]. Отсутствие правовой возможности влиять на региональные политические процессы посредством создания исламских партий стало толчком к формированию республиканской организации другого типа. Речь идет о Духовном управлении мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), с деятельностью которого во многом связано возвращение ислама в общественную и духовную жизнь республики в начале 90-х гг. Создание централизованной религиозной организации, которая помимо деятельности, направленной на сохранение организационного единства мусульман республики и управление мусульманской общиной [5], взяла курс на активное включение в процесс формирования конфессиональной политики [6. С. 42], стало оптимальным вариантом упорядочения политико-религиозного пространства. ДУМ РТ является единственным высшим органом мусульман республики, который ведет диалог с республиканским правительством от лица всей общины и является посредником между ней и государством. Кроме этого, ДУМ РТ в лице муфтия входит в состав Межрелигиозного совета России.

По верному замечанию Н.В. Семёнова, в современных условиях мусульманские субъекты переориентировались от институционализованного участия в политическом процессе (создание политических партий, представительство в органах власти) к расширению идеологической работы, включая исламскую оценку политических событий региона и страны в целом [7]. Другими словами, ДУМ РТ ищет альтернативные пути влияния на политические процессы региона, прилагает усилия для опосредованного воздействия. Свой политический капитал организация накапливает посредством сосредоточения в своих руках неполитических ресурсов, а точнее, путем влияния на законодательный процесс в республике и внедрения исламского фактора в экономическую, социальную, образовательную, информационную и иные сферы общественной жизни.

ДУМ РТ не является субъектом права законодательной инициативы, однако муфтий и его заместители имеют возможность принимать участие в парламентских заседаниях, обращаться к региональному парламенту и президенту республики посредством аналитических записок по предмету ведения и личных встреч. Таким образом, лоббирование интересов мусульманской общины региона частично реализуется путем тесного сотрудничества ДУМ РТ с субъектами законодательных инициатив.

Так, ДУМ РТ приняло активное участие в обсуждении проекта закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», а аппарат ДУМ РТ стал инициатором принятия ряда поправок к данному закону. В одной из своих аналитических записок ДУМ РТ инициировало включение в указанный закон пункта о вакуфах, которые представляют собой необлагаемую налогами неотчуждаемую недвижимость, безвозмездно переданную мусульманским организациям, прибыль от которой идет только на религиозные нужды [8]. Данное положение противоречило российскому законодательству, но было внесено в закон. И только в рамках приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным генеральный прокурор республики внес протест в Госсовет РТ по отдельным положениям республиканского закона, включая пункт о вакуфах. И даже после этого положение о вакуфном имуществе в нем было сохранено, хотя и с уточнением, что данная сфера регулируется федеральным законодательством. Сегодня это положение закона является по сути декларативным, так как в федеральное законодательство понятие «вакуф» не внесено.

Такое внимание со стороны мусульман к данному вопросу не случайно. Мусульманские организации осознают, что стать полноценным субъектом регионального политического процесса они смогут только при условии финансовой самостоятельности, подкрепленной законодательно, поэтому выбрана тактика постепенного движения к легитимации вакуфной собственности. В Татарстане исламские организации устанавливают тесные связи с мусульманской бизнес-элитой, добиваются введения уроков об основах вакуфа в мусульманских религиозных учебных заведениях, популяризируют тему вакуфного имущества посредством проведения крупных международных конференций. Одна из таких конференций состоялась в Казани в 2016 г., где было подчеркнuto, что институт вакуфного имущества находится в зачаточном состоянии во всех мусульманских регионах России. Среди возможных форм развития института вакуфов в России называется оформление его как имущества религиозных организаций, создание благотворительных фондов, трастов и других целевых объединений [9]. При ДУМ РТ учрежден фонд «Вақф Республики Татарстан», формирующийся путем добровольных взносов, функционирует благотворительный фонд Закият, занимающийся сбором и распределением закята и садака в РТ и за ее пределами и оказывающий помощь нуждающимся. С 2005 г. закят можно выплачивать и через региональные светские банки: «Татфондбанк» и «Ак-Барс» [10].

Однако роль ислама в республиканском политическом процессе не исчерпывается законодательными инициативами аппарата ДУМ РТ. Особое влияние эта организация оказывает на формирование взаимосвязей Татарстана с исламскими государствами. ДУМ РТ сотрудничает с властями мусульманских государств, ведущими мусульманскими образовательными центра-

ми, а также с международными исламскими организациями: Организацией исламского сотрудничества, Исламским банком развития, ИРСИКА. При посредничестве этой организации все значимые исламские мероприятия и важные события мусульманского мира экстраполируются в жизнь республиканской уммы. Светское руководство республики при построении внешних экономических и политических связей использует уже установленные ДУМ РТ связи. В свою очередь, ДУМ РТ, предоставляя такую возможность республиканским властям, укрепляет политическое влияние и независимость внутри республики.

Свой политический вес как на международной арене, так и на территории Татарстана мусульманские организации региона набирают и посредством ведения просветительской работы, направленной на борьбу с терроризмом. По словам муфтия РТ, составляющими этой работы являются проповеди, лекции, работа с молодежью, сфера образования, размещение роликов в Youtube о пагубных действиях боевиков ДАИШ [11]. Особое внимание уделяется сфере исламского образования, так как образование становится тем ресурсом, который определяет не только стратегическое развитие региона, но и место мусульманской уммы Татарстана в исламском мире. Дело в том, что единство мировой мусульманской уммы весьма условно. Близость мусульманских территорий определяется не географически, а посредством принадлежности к родственному мазхабу. В Татарстане исповедуют так называемый традиционный суннитский ислам ханафитского толка. С одной стороны, данную правовую школу отличает высокая степень толерантности к мусульманам остальных течений, а с другой стороны, мусульмане Татарстана предпринимают меры для ограждения региона от идеологического влияния иных мазхабов и направлений ислама. Одна из причин такого «противоречия» – необходимость борьбы с экстремизмом. Так, по инициативе ДУМ РТ Госсовет Татарстана внес законопроект в региональный парламент с предложением о внесении изменений в Закон РТ «О свободе совести и о религиозных объединениях», которые и были приняты в первом чтении. Согласно указанной поправке религиозные организации должны обязать кандидатов в священнослужители получать образование в России либо ввести особый порядок признания дипломов, полученных в зарубежных учебных заведениях [12]. Принятые изменения предполагают, что каждая централизованная организация будет устанавливать определенный ценз, несоответствие которому может стать поводом к недопущению к религиозной деятельности. Эти официально зафиксированные меры делегируют дополнительные полномочия ДУМ РТ. Теперь эта организация может обеспечивать надзор за имамами, осуществлять проверку их идеологических воззрений с целью недопущения ваххабитско-салафитских деятелей на территорию региона.

Еще одной областью взаимодействия республиканских властей и ДУМ РТ является область социальная. В одном из базовых документов, принятых татарскими религиозными деятелями, четко определена сфера социального участия мусульман и исламских организаций: работа с инвалидами, одинокими стариками, сиротами и детьми с девиантным поведением, алкоголиками и наркоманами, распадающимися семьями, одинокими матерями, участие в регулировании межнациональных и межрелигиозных

конфликтов [13]. Есть и еще одна сфера деятельности, которая в последнее время приобретает все большую актуальность. Речь идет о необходимости интеграции мигрантов в принимающее сообщество. ДУМ РТ выступила инициатором заключения соглашения о сотрудничестве в вопросе адаптации мигрантов в Татарстане с УФМС России по РТ [14]. Их совместная деятельность направлена на содействие при получении гражданства мигрантами, исповедующими ислам. ДУМ РТ при участии миграционной службы проводит лекции и организует дискуссионные площадки, на которых мигрантам объясняют законы и традиции РФ и РТ, адаптируя их к политической системе и традиционному исламу.

По инициативе ДУМ РТ в Татарстане особое внимание уделено и мусульманским праздникам – они имеют статус государственных. Ежегодно указом президента РТ дни, на которые приходится почитаемые исламским миром праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам, объявляются нерабочими [15].

Что касается сферы экономической, то она тоже не избежала влияния исламского фактора. Мусульмане создают привлекательные бренды, соответствующие исламской культуре, кухне, ценностям. При ДУМ РТ создан Комитет по стандарту «Халаль», который совместно с Республиканским сертификационным методическим центром «Гест-Татарстан» разработал «Общие требования по производству и реализации продукции, маркированной „халаль“». Татарстан является передовым центром производства халальных товаров, только продуктовый оборот которых составляет 100 млрд рублей [16]. ДУМ РТ выступило куратором и идейным вдохновителем новой мусульманской банковской системы, предоставляющей финансовые услуги по канонам ислама.

Информационный потенциал ДУМ РТ сосредоточен в рамках периодических печатных мусульманских изданий Татарстана на русском и татарском языках. На данный момент общее число журналов и газет, осуществляющих религиозно-просветительскую деятельность, составляет 19 наименований [17]. Помимо печатных издательств, действует множество электронных мусульманских изданий, что значительно облегчает доступность тематической информации. Примечательно, что татарские мусульманские издания не занимаются политической аналитикой, не размещают оппозиционные публикации, в фокусе их внимания находятся религиозно-философские аспекты. Отчасти это объясняется недостаточной опытностью религиозной журналистики и отсутствием подготовленного кадрового состава, который мог бы публиковать аналитический материал. Однако нужно отметить, что региональные исламские издания занимают доминирующие позиции в общероссийской мусульманской журналистике.

Итак, ДУМ РТ пытается найти свою нишу в общественно-политической жизни региона и России в целом и на «политическом уровне противостоять попыткам игнорирования исламского фактора в стране» [6. С. 49]. Влияние исламского фактора в Татарстане прослеживается в сферах экономики, образования, социальной и информационной политики, законодательного регулирования, налаживания международных связей. Однако говорить о влиянии, способном трансформировать политическую систему республики или институциональные отношения субъектов политики, нельзя. Воздействие ДУМ РТ на региональную политику фрагментарно и слабеет по мере отдаления от

центра. Это связано со многими факторами. Во-первых, ДУМ РТ – это относительно молодая религиозная организация, которая во многом только формулирует принципы своей деятельности и формулирует цели. Во-вторых, политическое участие ДУМ РТ и других мусульманских организаций Татарстана ограничено светским региональным и федеральным законодательством. В-третьих, мусульманская умма РТ пока не достигла той степени сплоченности, которая позволила бы ей претендовать на субъект-субъектное взаимодействие с региональными и тем более федеральными органами власти. В-четвертых, ни мусульманская умма Татарстана в целом, ни ДУМ РТ не обладают необходимой для политической самостоятельности финансовой независимостью. А институт вакуффов, как было сказано выше, находится пока в стадии становления. В-пятых, муфтият Татарстана строго контролируется администрацией, так как он создавался при непосредственном участии и поддержке республиканских властей и лично президента РТ. В итоге ДУМ РТ оказалось встроенным в систему власти [18. С. 108]. Данное обстоятельство говорит не в пользу мусульманских организаций, а скорее подчеркивает необходимость учета ими государственного курса при построении курса собственного, что указывает на их зависимость от государства. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что пока названные субъекты равноправными партнерами не являются [6. С. 47].

Между тем у мусульманских организаций Татарстана есть понимание «необходимости более четкого определения своего места в сфере политических отношений» [6. С. 47]. Мысль о том, что политика есть та сфера, при помощи которой возможно эффективное решение существующих насущных проблем, не чужда мусульманам региона. Свое политическое участие ДУМ РТ связывает с решением таких проблем, как укрепление нравственности на основе исламских ценностей, сохранение этнической идентичности татар в условиях иноэтничного и иноконфессионального российского большинства, возрождение ислама в России, сохранение и укрепление традиционного ислама как условие эффективного противодействия исламу экстремистскому.

Таким образом, нет никаких сомнений в том, что влияние ДУМ РТ на региональный политический процесс будет расти по мере актуализации исламского фактора в международной политике, усиления политической активности мусульман Северного Кавказа, распространения мусульманской инфраструктуры в республике и постепенной интервенции радикального ислама в политическое пространство региона. Что касается интервенции, то она осуществляется разными путями. С одной стороны, посредством подпольной деятельности радикальных организаций, как, например, «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». С другой стороны, путем проникновения исламистов-ваххабитов во властные структуры и в ДУМ РТ. По словам Р. Сулейманова, сегодня в ДУМ РТ на многих постах работают ваххабиты, а местные чиновники, которые отвечают за внутреннюю политику в Татарстане и прекрасно осведомлены об этом, самоуверенно полагают, что смогут контролировать ваххабитов [19]. Но в отличие от традиционного ислама, «который лоялен российскому государству и не ставит перед собой целей изменения его политического устройства» [19], радикальный ислам стремится к такому изменению. Поэтому проникновение радикального ислама во властные религиозные

структуры будет способствовать политизации ислама в Татарстане и возможной смене политического курса ДУМ РТ: с лояльного государству на оппозиционный.

Литература

1. *Сюкияйнен Л.Р.* Российская государственная политика в отношении ислама: исходные принципы, цели и направления [Электронный ресурс] // RELIGARE. Религия и СМИ: интернет-портал. Электрон. дан. М., 2004. URL: http://www.religare.ru/2_7974.html (дата обращения: 25.10.2017).
2. *Конституция* Республики Татарстан [Электронный ресурс] // Государственный совет Республики Татарстан: официальный сайт. Электрон. дан. Казань, 2008–2017. URL: <http://www.gossov.tatarstan.ru/konstitucia/> (дата обращения: 14.04.2017).
3. *О свободе совести и о религиозных объединениях*: Закон РТ от 14.07.1999 № 2279, ред. от 17.11.2016 [Электронный ресурс] // Кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации: справ. система. Электрон. дан. [Б.м.], 2017. URL: <http://docs.cntd.ru/document/917008529> (дата обращения: 17.10.2017).
4. *Список* политических партий, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации и региональных отделений политических партий, зарегистрированных Управлением Министерства юстиции РФ по РТ (по состоянию на 1 октября 2017 года) [Электронный ресурс] // Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан: Портал Правительства Республики Татарстан. Электрон. дан. Казань, 2003–2017. URL: <http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/partii1.htm> (дата обращения: 31.10.2017).
5. *Общая информация* о ДУМ РТ [Электронный ресурс] // Духовное управление мусульман Республики Татарстан: сайт. Электрон. дан. Казань, [б.г.]. URL: <http://dumrt.ru/ru/about-us/obschaya-informatsiya/> (дата обращения: 11.03.2017).
6. *Мухаметишин Р.М.* Ислам в Татарстане. М.: Логос, 2007. 104 с.
7. *Семенов Н.В.* Исламский фактор в общественно-политических процессах Поволжья: автореф. дис. ... канд. полит. наук [Электронный ресурс] // Человек и наука : электронная библиотека. Электрон. дан. [Б.м.], 2011. URL: <http://cheloveknauka.com/islamskiy-faktor-v-obschestvenno-politicheskikh-protsessah-povolzhya> (дата обращения: 26.10.2017).
8. *Александр Игнатенко*: Введение понятия «вакуф» требует изменения чуть ли не всех законодательных актов РФ [Электронный ресурс] // RELIGARE. Религия и СМИ: интернет-портал. Электрон. дан. М., 2008. URL: http://www.religare.ru/2_55340.html (дата обращения: 31.10.2017).
9. *Вакуф*: хорошо забытое старое [Электронный ресурс] // Общероссийское информационное агентство мусульман "Инфо-Ислам": сайт. Электрон. дан. [Б.м.], 2016. URL: http://www.info-islam.ru/publ/stati/statji/vakf_khorosho_zabytoe_staroe/5-1-0-41746 (дата обращения: 30.10.2017).
10. *О фонде* [Электронный ресурс] // Благотворительный фонд ЦПО ДУМ РТ «Закят»: сайт. Электрон. дан. Казань, 2005–2014. URL: <http://zakyatrt.ru/fond-zakyat/> (дата обращения: 01.11.2017).
11. *Камиль хазрат Самигуллин*: «Исламское государство» – псы ада и шайтаны [Электронный ресурс] // Духовное Управление Мусульман Республики Татарстан: сайт. Электрон. дан. Казань, 2017. URL: http://dumrt.ru/ru/articles/mm-islam/mm-islam_16518.html?curPos=60 (дата обращения: 30.10.2017).
12. *Госсовет* внес изменения в закон РТ «О свободе совести и о религиозных объединениях» [Электронный ресурс] // Государственный совет Республики Татарстан: официальный сайт. Электрон. дан. Казань, 2012. URL: <http://www.gossov.tatarstan.ru/news/show/1470> (дата обращения: 22.03.2017).
13. *Концепция «Ислам и татарский мир»* [Электронный ресурс] // Духовное управление мусульман Республики Татарстан: сайт. Электрон. дан. Казань, [б.г.]. URL: <http://dumrt.ru/ru/concept/> (дата обращения: 14.04.2017).
14. *Управление* Федеральной миграционной службы России по Республике Татарстан и Духовное управление мусульман Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве [Электронный ресурс] // Управление по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан / Официальный Татарстан: интернет-портал. Электрон. дан. Казань, 2012. URL: <http://ufms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/138450.htm> (дата обращения: 23.10.2017).

15. *О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан: Закон Республики Татарстан от 19.02.1992. №1448-XII, ред. от 29.09.2016* [Электронный ресурс] // Кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации: справ. система. Электрон. дан. [Б.м.], 2017. URL: <http://docs.cntd.ru/document/917000672> (дата обращения: 08.03.2017).

16. *Халяль продукция – драйвер экономического роста* [Электронный ресурс] // Islam-today. All about muslim world. «Ислам сегодня»: информационно-аналитический федеральный портал. Электрон. дан. Казань, 2017. URL: http://islam-today.ru/islam_v_rossii/tatarstan/halal-produkcia-drajver-ekonomiceskogo-rosta/ (дата обращения: 25.10.2017).

17. *Печатные мусульманские издания Татарстана* [Электронный ресурс] // Информационное агентство «Исламтат»: сайт. Электрон. дан. Казань, 2007–2017. URL: <http://www.islamtat.ru/index/0-26> (дата обращения: 06.06.2017).

18. *Малашенко А.* Ислам для России. М.: Российская политическая энциклопедия, 2007. 192 с.

19. *В «халифат» манит идея: интервью с казанским политологом и исламоведом, экспертом Института национальной стратегии Раисом Сулеймановым* [Электронный ресурс] // Русская народная линия: информационно-аналитическая служба: сайт. Электрон. дан. [Б.м.], 2015. URL: http://ruskline.ru/opp/2015/avgust/31/v_halifat_manit_ideya (дата обращения: 03.11.2017).

Avanesova Elena G. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: avanesovafsf@yandex.ru

Mikaelyan Nina A. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation)

E-mail: nina952@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/19

THE ROLE OF THE ISLAMIC FACTOR IN THE REGIONAL POLITICAL PROCESSES

Key words: Islam, regional policy, regional political processes, political participation, Spiritual Administration of Muslims of the Republic of Tatarstan.

This article is devoted to the study of Islamic factor's role in political processes of the Republic of Tatarstan. Today, the influence of the Islamic factor on republic's political process is determined through the political participation of the Spiritual Administration of Muslims of the Republic of Tatarstan. This organization conducts a dialogue with the republican authorities on behalf of the entire community and is an intermediary between it and the state. The political participation of Muslim organizations of the republic is limited by secular regional and federal legislation. Spiritual Administration, having no legal possibility to exert direct influence on the political processes of the region, makes efforts for indirect influence. The organization accumulates its political capital by concentrating non-political resources in its hands, or rather by influencing the legislative process in the republic and introducing the Islamic factor into the economic, social, educational, information and other spheres of public life. However, the influence is fragmentary, which is facilitated by many reasons: lack of financial independence, control by secular authorities, lack of cohesion of the regional ummah, etc. Today, the Spiritual Administration of Muslims of the Republic of Tatarstan is characterized by a loyal attitude to secular authorities and the purpose of its political participation is not the replacement of political power in the region, but the solution of such problems as: strengthening of morality on the basis of Islamic values, preservation the ethnic identity of the Tatars, the revival of Islam in Russia, preservation and strengthening of traditional Islam, as a condition for effective opposition to Islamic extremism. The influence of the Spiritual Administration of Muslims of the Republic of Tatarstan on the regional political process will grow as the Islamic factor in international politics becomes more actual, the political activity of the Muslims of the North Caucasus intensifies, the Muslim infrastructure in the republic spreads and the radical Islam gradually enters the political space of the region.

References

1. Syukiyaynen, L.R. (2004) *Rossiyskaya gosudarstvennaya politika v otnoshenii islama: iskhodnye printsipy, tseli i napravleniya* [Russian state policy on Islam: initial principles, goals and directions]. [Online] Available from: http://www.religare.ru/2_7974.html. (Accessed: 25th October 2017).

2. Constitution of the Republic of Tatarstan. (2008–2017) *Gosudarstvennyy Sovet Respubliki Tatarstan* [State Council of the Republic of Tatarstan]. [Online] Available from: <http://www.gossov.tatarstan.ru/konstitucia/>. (Accessed: 14th April 2017).
3. The Republic of Tatarstan. (2017) *O svobode sovesti i o religioznykh ob"edineniyakh: Zakon RT ot 14.07.1999 № 2279, red. ot 17.11.2016* [On Freedom of Conscience and on Religious Associations: Law No. 2279 of the Republic of Tatarstan of July 14, 1999, amended of November 17, 2016]. [Online] Available from: <http://docs.cntd.ru/document/917008529>. (Accessed: 17th October 2017).
4. The Central Election Commission of the Republic of Tatarstan. (2003–2017) *Spisok politicheskikh party, zaregistririvannykh Ministerstvom yustitsii Rossiyskoy Federatsii i regional'nykh otdeleniy politicheskikh party, zaregistririvannykh Upravleniem Ministerstva yustitsii RF po RT (po sostoyaniyu na 1 oktyabrya 2017 goda)* [List of political parties registered by the Ministry of Justice of the Russian Federation and regional branches of political parties registered by the Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation for the Republic of Tatarstan (as of October 1, 2017)]. [Online] Available from: <http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/partii1.htm>. (Accessed: 31st October 2017).
5. Spiritual Administration of the Muslim Republic of Tatarstan. (n.d.) *Obshchaya informatsiya o DUM RT* [General information about the Spiritual Administration of Muslims of the Republic of Tatarstan]. [Online] Available from: <http://dumrt.ru/ru/about-us/obshchaya-informatsiya/>. (Accessed: 11th March 2017).
6. Mukhametshin, R.M. (2007) *Islam v Tatarstane* [Islam in Tatarstan]. Moscow: Logos.
7. Semenov, N.V. (2011) *Islamskiy faktor v obshchestvenno-politicheskikh protsessakh Povolzh'ya* [The Islamic factor in the socio-political processes of the Volga region]. Abstract of Political Studies Cand. Diss. [Online] Available from: <http://cheloveknauka.com/islamskiy-faktor-v-obshchestvenno-politicheskikh-protsessakh-povolzhya>. (Accessed: 26th October 2017).
8. Ignatenko, A. (2008) *Vvedenie ponyatiya "vakf" potrebuuet izmeneniya chut' li ne vsekh zakonodatel'nykh aktov RF* [Introduction of the term "waqf" will require the modification of almost all legislative acts of the Russian Federation]. [Online] Available from: http://www.religare.ru/2_55340.html. (Accessed: 31st October 2017).
9. Info-Islam All-Russian Information Agency of Muslims. (2016) *Vakf: khorosho zabytoe staroe* [Waqf: the well-forgotten old]. [Online] Available from: http://www.info-islam.ru/publ/stati/statji/vakf_khorosho_zabytoe_staroe/5-1-0-41746. (Accessed: 30th October 2017).
10. Zakyat Charitable Foundation of the Central Information Administration of the Spiritual Administration of the Muslim Republic of Tatarstan. (2005–2014) *O fonde* [On the foundation]. [Online] Available from: <http://zakayatr.ru/fond-zakyat/>. (Accessed: 1st November 2017).
11. Samigulli, K. (2017) *Islamskoe gosudarstvo – psy ada i shaytany* [The Islamic state – the dogs of hell and shaitan]. [Online] Available from: http://dumrt.ru/ru/articles/mm-islam/mm-islam_16518.html?curPos=60. (Accessed: 30th October 2017).
12. State Council of the Republic of Tatarstan. (2012) *Gossoviet vnes izmeneniya v zakon RT O svobode sovesti i o religioznykh ob"edineniyakh* [The State Council amended the law on freedom of conscience and religious associations]. [Online] Available from: <http://www.gossov.tatarstan.ru/news/show/1470>. (Accessed: 22nd March 2017).
13. Spiritual Administration of Muslims of the Republic of Tatarstan. (n.d.) *Kontseptsiya "Islam i tatarskiy mir"* [The concept "Islam and the Tatar world"]. [Online] Available from: <http://dumrt.ru/ru/concept/> (Accessed: 14th April 2017).
14. Department for Migration of the Ministry of Internal Affairs in the Republic of Tatarstan. (2012) *Upravlenie Federal'noy migratsionnoy sluzhby Rossii po Respublike Tatarstan i Dukhovnoe upravlenie musul'man Respubliki Tatarstan podpisali soglasenie o sotrudnichestve* [The Office of the Federal Migration Service of Russia for the Republic of Tatarstan and the Spiritual Administration of Muslims of the Republic of Tatarstan signed an agreement on cooperation]. [Online] Available from: <http://ufms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/138450.htm>. (Accessed: 23rd October 2017).
15. The Republic of Tatarstan. (2017) *O prazdnichnykh dnyakh i pamyatnykh datakh Respubliki Tatarstan: Zakon Respubliki Tatarstan ot 19.02.1992. №1448-XII, red. ot 29.09.2016* [About holidays and memorable dates of the Republic of Tatarstan: Law № 1448-XII of the Republic of Tatarstan of February 19, 1992, amended September 9, 2016]. [Online] Available from: <http://docs.cntd.ru/document/917000672>. (Accessed: 8th March 2017).
16. Islam Today. All About Muslim World. (2017) *Khalyal' produktsiya – drayver ekonomicheskogo rosta* [Halal products – driver of economic growth]. [Online] Available from:

today.ru/islam_v_rossii/tatarstan/halal-produkcia-drajver-ekonomiceskogo-rosta/. (Accessed: 25th October 2017).

17. Islamtat.ru. (2007–2017) *Pechatnye musul'manskie izdaniya Tatarstana* [Printed Muslim publications of Tatarstan]. [Online] Available from: <http://www.islamtat.ru/index/0-26>. (Accessed: 6th June 2017).

18. Malashenko, A. (2007) *Islam dlya Rossii* [Islam for Russia]. Moscow: ROSSPEN.

19. Suleymanov, R. (2015) *V "khalifat" manit ideya. Interv'yu s kazanskim politologom i islamovedom, ekspertom Instituta natsional'noy strategii Raisom Suleymanovym* [The "Caliphate" lures with the idea. Interview with Rais Suleymanov, an analyst of the National Strategy Institute of Kazan, an analyst of the Kazan Institute of National Strategy]. [Online] Available from: http://ruskline.ru/opp/2015/avgust/31/v_halifat_manit_ideya. (Accessed: 3rd November 2017).

УДК: 141.81+316.7

DOI: 10.17223/1998863X/41/20

Б.А. Прокудин

«НЕГАТИВНАЯ» СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА В РОМАНЕ А.И. ГЕРЦЕНА «КТО ВИНОВАТ?»

Интерпретируется социально-политическая линия романа А.И. Герцена «Кто виноват?» и связанная с ней тема «лишнего человека» с точки зрения авторского замысла. По мысли Герцена, виновным в том, что Бельтов (главный герой) оказался «лишним человеком», не способным приспособиться к условиям общественной среды, и его попытка проявить гражданскую активность обернулась крахом, является негативная социализация. Новизна этой интерпретации состоит в том, что во второй половине XIX в. и в советском литературоведении трактовка социально-политической линии романа сводилась, прежде всего, к социальному детерминизму. Большинство исследователей вслед за В.Г. Белинским первостепенным и определяющим в судьбе героя считали фактор «отсталости» российского общества.

Ключевые слова: А.И. Герцен, «Кто виноват?», негативная социализация, русский радикализм, политический роман.

Роман А.И. Герцена «Кто виноват?», появившийся сначала в журнале «Отечественные записки» (1845–1846), а потом напечатанный отдельным изданием (1847), произвел сильное впечатление на российскую публику, но в разные периоды своего бытования в литературной среде различные идеи романа оказывались востребованными читателями и имели влияние на общественную повестку. Журнальные критики и простые читатели на протяжении второй половины XIX в. искали ответ на вопрос, заявленный в названии романа. И находили разные варианты, которые в большей степени соответствовали их времени, социальному статусу и общественным ожиданиям.

Первая часть романа «Кто виноват?» увидела свет в 1845–1846 гг. и сразу оказалась в центре внимания¹. Читатели первых семи глав быстро выделили «повесть» Герцена из всего появившегося тогда в русских журналах и много хвалили. В декабре 1845 г. Герцен признавался, что «не ожидал вовсе такого успеха» [3. Т. 22. С. 248]. «Я начинал тогда входить в моду после первой части „Кто виноват?“», – напишет он об этом времени в «Былом и думах» [4. Т. 8. С. 115]. Между тем Герцена нельзя было назвать автором-дебютантом. «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы» были уже напечатаны и пользовались популярностью, однако роман «Кто виноват?» открыл читающей публике Герцена в новом статусе – как автора интеллектуальной прозы.

Именно такой вывод можно сделать, читая отзывы о романе 1845–1846 гг. Большинство критиков тогда реагировали не на проблематику романа, а на интеллектуализм автора. «Необыкновенный талант в совершенно новом роде», – писал о Герцене В.Г. Белинский в статье «Русская литература в 1845 году», опубликованной в «Отечественных записках» [5. Т. 9. С. 396].

¹ Наиболее широкая панорама отзывов о романе представлена в работах: [1. С. 42–52; 2. С. 3–15].

И продолжал: «Автор повести „Кто виноват?“ как-то чудно умел довести ум до поэзии» [5. Т. 9. С. 396]. В письме товарищу Т.Н. Грановский отмечал, что Герцен написал «повесть» «исполненную ума, живости и метких замечаний» [6. Т. 2. С. 422]. А критик В.Н. Майков назвал Герцена «первым современным беллетристом» [7. С. 197], по его мнению, сила романа «Кто виноват?» заключалась в том, что его автор занят «популяризацией идей, важных для общества» [8. С. 261]. Герцен, писал Майков, «несравненно более поражает умом, чем художественностью, так что на всю его художественную деятельность мы не можем смотреть иначе, как на средство выражения его идей в самой популярной форме, возводимой иногда наблюдательностью до художественности» [Там же. С. 249].

Публикация первой части романа не вызвала полемики в русских журналах. Все больше хвалили роман и восхищались остроумием автора. К социальной проблематике текста первым обратился Ф.В. Булгарин. В записке «Социализм, коммунизм и пантеизм в России, в последнее 25-летие» он писал о романе Герцена следующее: «Тут изображен отставной русский генерал величайшим скотом, невеждою и развратником <...> Дворяне изображены подлецами и скотами, а учитель, сын лекаря, и прижитая дочь с крепостной девкой – образцы добродетели». И добавлял: «И чтоб дворянство, поставленное в тень, было мрачнее – в книге набросаны социальные идеи» [9. С. 495]. Л.В. Дубельт, управляющий Третьим отделением, адресат записки, признал «повесть» «предосудительною» (см.: [10. С. 503])¹.

Когда же к началу 1847 г. роман был опубликован полностью, стало понятно, что произведение Герцена относится к так называемой «натуральной школе» и содержит черты новой словесности и новой социальности². «Редко появляется произведение, – писал в одной из своих рецензий Н.А. Некрасов, – которое самым делом напомнило бы публике о существовании русской литературы, ее процветании, возмужалости и других похвальных качествах» [13. С. 128]. Но «критический реализм» Герцена теперь вызывал не только восторги. И.С. Аксаков в письме к родным (отцу и матери) от 11 февраля 1847 г. писал, что роман «Кто виноват?» – «произведение современное, 19-го века, болезням которого мы все более или менее сочувствуем», но смущало Аксакова «болезненное желание (Герцена. – Б.П.) всюду острить». «Так тяжело и тоскливо стало у меня на сердце, когда я прочел его», писал Аксаков [14. С. 353]. В марте 1847 г. в «Московском городском листке» № 51 была напечатана статья А.А. Григорьева «Обозрение журнальных явлений за январь и

¹ Надо сказать, что возмущение Булгарина и Дубельта «очернением» дворянства в романе Герцена было вполне закономерным. Есть точка зрения, что в романе «Кто виноват?» гораздо более жесткой критике, нежели в других произведениях 1840–1850-х гг., подвергается дворянство. Эту мысль высказывал Мартин Малиа, называвший Герцена «полудворянином» и объяснявший его беспощадность в описании представителей высшего сословия российского общества происхождением: «“Кто виноват?” – картина дворянского мира, увиденная с позиций полудворянства и, таким образом, осужденная очень строго. Как таковая она резко отличается от картины того же мира, изображенной примерно в то же время дворянскими писателями, такими как Сергей Аксаков, молодой Толстой или даже Тургенев и Гончаров. Когда этим писателям приходилось критиковать класс, из которого они происходили – а двое последних во многом были заняты именно этим, – они делали это скорее нежно и большей частью изнутри. Рудин, Кирсанов, Лаврецкий и даже главный символ всего того, что с дворянством было не в порядке, Обломов, несмотря на все их пороки, представлены достаточно сочувственно. Но землевладельцы Герцена, например, такие как отец Любы, Негров, изображены враждебно в тех случаях, когда они не представлены в виде чудовищ» [11. С. 372–373].

² Подробнее об идейном содержании произведений «натуральной школы» см.: [12. С. 241–306].

февраль 1847 г.), в которой он признавал «высокое философское значение романа Искандера», но в то же время социальную критику «форм и условий современного бытия» называл «субъективной», носящий на себе слишком явственные следы влияния «известного кружка» (см.: [15. С. 203–204]), что, с его точки зрения, сильно обесценивало роман, далекий в силу своей партийности от полноты охвата действительности. Еще жестче отреагировал на роман С.П. Шевырев в журнале «Москвитянин». Произведения искусства нельзя создавать «на основе ненависти», писал он. «Из ненависти не может выйти ничего изящного, ничего глубокомысленного» [16. С. 54]. Молодой критик М.Л. Михайлов в апреле 1847 г. писал в «Санкт-Петербургских ведомостях», что «беспредельное отрицание», явленное в романе Герцена, «навлекает на читателя глубокую и ничем не преодолимую грусть», что роману не хватает «синтеза», идеала, благодаря которому «мрак картины, изящной по художественной отделке, осветился бы светом абсолютной, вечной Истины» [17. С. 512].

Отзывы на «Кто виноват?» 1840-х гг., как правильно отмечает Г.Г. Елизаветина, и положительные и отрицательные – пока еще не раскладывали роман на отдельные вопросы, как это произойдет позже (см.: [1. С. 63]). Еще слишком важна была злободневность текста, его принадлежность к новой литературной школе. Отсутствие дистанции, сильные эмоции и поправка на цензуру мешали тогдашним критикам подробно разбираться с «социальными идеями» (Булгарин) «известного кружка» (Григорьев), высказанными Герценом в романе. А ведь эти «важные для общества идеи» (Майков) оказывали влияние на современников и способствовали формированию того, что мы можем назвать сегодня «общественной (а то и общественно-политической) повесткой».

Важно сказать, что наличие в том или ином художественном произведении социально-политических идей делает его бытование в читающей среде непредсказуемым. В связи с конкретными историческими событиями меняется не только читательское мнение, одни идеи (часто вопреки желанию автора) выходят на первый план, другие уходят в тень; но меняется еще и социальный состав его читателей. А ведь роман Герцена первоначально имел конкретного адресата, людей своего круга и образования, как бы сказали в советское время, «людей передовых убеждений 1840-х годов». Потом, в 1850–1860-е гг., круг читателей расширился, пополнился, например, разночинцами. Для тех и других роман «Что делать?» будет ценен разными идеями.

С долей условности можно сказать, что для первой «группы» важна будет социально-политическая линия романа и связанная с ней тема «лишнего человека», с которым могли себя ассоциировать читатели круга Герцена. В письме к Огареву от 3 августа 1847 г. одной из целей своего романа Герцен определял необходимость воздействия на «способных» людей, находящихся в положении, близком к положению Бельтова. Среди таких людей он называл товарищей А.А. Тучкова, Н.И. Сазонова (см.: [18. Т. 23. С. 34–35]). Таким образом, для 1840-х гг. вопрос, заявленный в заглавии романа, будет звучать так: кто виноват, что Бельтов оказался лишним человеком, праздным туристом, не способным найти себе подходящего места в жизни?

Сюжет социально-политической линии романа такой: главный герой, Владимир Бельтов, лениво путешествует по Европе в целях «окончания обра-

зования» и в одной швейцарской деревне у него случается озарение. На дороге, недалеко от Женевы, во время прогулки он видит группу крестьян, которые проходят мимо, что-то оживленно обсуждая. Бельтов прислушивается и понимает, что они идут на выборы, голосовать. То есть участвовать в управлении своей жизнью. Он заворожен картиной. Эти крестьяне представляются ему народными трибунами, римскими героями гражданственности. Он вспоминает проповеди своего женева-воспитателя, который говорил, что любой благородный человек должен быть гражданином, познать радость политического активизма... и судьба Бельтова круто поворачивается. Он решает вернуться в Россию и баллотироваться на выборах в дворянское собрание, чтобы принести пользу людям.

Он приезжает в свой уездный город NN, но ведет себя странно: «с дамами разговаривает как с разумными существами», в карты не играет, «визитов не делает», суетится. Все ему улыбаются, но на выборах единогласно голосуют против! Бельтов поражен. Город NN он покидает «как пожарище», не оборачиваясь. От русской политики он бежит в панике. Обратно в Париж. Доживать свой длинный век в праздности и тратить мамины деньги.

Почему он, казалось бы, человек образованный, искренне желающий приносить пользу, оказался несовместим с городом NN? Почему он не пригоден ни к какому делу? Может, «крепостнические порядки» виноваты? Или «никалаевская Россия», как писали в советское время? Нет. Точнее, не только. Социальный контекст, вопрос взаимоотношений личности и общества, даже – «несправедливого рока» общественных установлений, который губит многие русские таланты в зародыше, был важным для размышлений Герцена. Но в момент написания романа ему казалось, что в несовместимости Бельтова и мира города NN гораздо в большей степени виновато воспитание героя и то, что мы сегодня называем негативной социализацией.

Мы узнаем, что у маленького Бельтова был воспитатель Жозеф, женевец. Когда мать нанимала гувернера сыну, она готова была платить ему жалования четыре тысячи рублей в год. Женевец сказал, что будет работать за тысячу двести, потому что именно столько ему нужно для жизни, а копить он считает «делом бесчестным». Уже здесь мать должна была почувствовать что-то неладное, но она не почувствовала и приняла «месье» на работу. Жозеф подошел к новому делу ответственно: он изучил все прогрессивные на тот момент педагогические труды «от „Эмиля“ Руссо до Песталоцци». Только одного не вычитал Жозеф из этих книг, пишет Герцен, что «важнейшее дело воспитания состоит в приспособлении молодого ума к окружающему, что воспитание должно быть климатологическое, что для каждой эпохи, так как для каждой страны, еще более для каждого сословия, а может быть, и для каждой семьи, должно быть свое воспитание» [19. Т. 4. С. 90].

Жозеф же воспитывал мальчика по биографиям великих людей и полумифических героев. И Бельтов оказался социализирован вне конкретного общества. Его пеструю систему ценностей составили идеалы эпохи Просвещения, Французской революции, античной героики и литературы сентиментализма.

От рационализма Просвещения в этом идейном бульоне был концепт человека, лишённого национальной, сословной и любой другой обусловленно-

сти. Разумный человек, который стоит выше старых социальных условностей и предрассудков.

Век Просвещения отбросил христианский идеал человека-аскета, высмеял представление о жертве как основе морали. Однако эпоха Французской революции вновь потребовала аскезы и героизма, образец которого был найден в римском стоицизме¹. Это был второй элемент. Слабость унижает «римлянина» и должна быть ему чужда. Стремиться к роскоши и богатству – недостойно и пошло. Человек должен себя преодолеть. Этому учили стоики и Жозеф. Но кроме рационализма и героизма, в его педагогическом наборе были еще ценности сентиментализма, которым учили Руссо и Гете (как автор романа «Страдания юного Вертера»), поэтизируя чувствительность и преувеличенную эмоциональность. Человек должен быть мечтательным, слезливым и экзальтированным, иначе – у него холодное сердце. И хоть сентименталистский человек чувствительный конфликтовал с просвещенческим человеком разумным, а вместе они не имели ничего общего с героем-стоиком, это никого не смущало.

Когда же, выйдя в люди, разумно-мечтательный-герой Бельтов столкнулся с российской действительностью, она ему не понравилась. «Бельтов <...> очутился в стране, совершенно ему неизвестной, до того чуждой, что он не мог приладиться ни к чему, – пишет Герцен, – он не сочувствовал ни с одной действительной стороной около него кипевшей жизни; он не имел способности быть хорошим помещиком, отличным офицером, усердным чиновником» [19. Т. 4. С. 120–121]. Неизвестная дотоле Россия не вызвала у него никакого сочувствия. Для человека, социализированного в Древнем Риме или революционной Франции, воспитанного в изолированном пространстве абстрактных идеалов, русское самодержавие казалось самой грубой деспотией, а крепостное право – унижительным рабством. И любое сотрудничество со «старым режимом» было невозможно. И если кто-то по-настоящему и виноват в романе Герцена, то это – педагогическая система XVIII в. И конечно, российская действительность, несовместимая с высокими идеалами.

Такая трактовка социально-политической линии романа кажется наиболее адекватной авторской задумке потому, что Герцен в момент написания романа чувствовал, что подобная образовательная система представляет собой конвейер по производству «лишних людей», конвейер, с которого сошел не только он сам, но и многие его друзья, целое поколение талантливых русских людей, воспитанных условным Жозефом, уверенных, что сотрудничество с властью исключено по этическим соображениям².

Роман «Кто виноват?» помогает понять, почему «что-то в организме» Герцена не давало ему возможности существовать в атмосфере николаевской России, «чиновничьего подобострастия и барской тирании». Почему он и эмигрировал.

Забавный парадокс: благодаря воспитанию Бельтов приобрел навыки гражданственности, но благодаря ему же – потерял возможность реальной гражданской деятельности. И не только потому, что он хотел оставаться вер-

¹ Подробнее об идеях нестоицизма и культе античных добродетелей в конце XVIII в. см.: [20. С. 242–243].

² В дальнейшем такая установка обусловила специфическое «срединное» положение русской интеллигенции между властью и народом. См.: [21. С. 4–5].

ным своим принципам, а ему сказали, что все серьезные вопросы решаются связями и взятками. Но и потому, что, штудировав Плутарха и Руссо, он не приобрел практических навыков. Бельтов не умеет грамотно составить ни одной бумаги, однако его речи всегда наполнены гражданским пафосом.

Надо сказать, что Герцену не нравилась эта черта представителей своего поколения. Собственная черта. Герцен чувствовал себя настолько близким Бельтову, что жил в страхе повторить судьбу своего героя и остаться «умной ненужностью» [11. С. 373–375]. В ссылке он писал, что «лишние» люди его поколения своим возвышенным эскапизмом только «разбазаривают» интеллектуальные силы родины. И если Бог «наделил тебя умом» и талантами, лучше потратить их, создавая новую, «молодую Россию», а не бежать при виде первого чиновника (см.: [22. С. 219–223]).

Образ Бельтова, человека с «болезненной потребностью дела» и вместе с тем с «отсутствием всякого практического смысла» должен был, по мысли Герцена, явиться отрицательным примером. И здесь можно согласиться с Я.Е. Эльсбергом: «Роман Герцена, как и его философские работы, как и критические статьи Белинского, звал к деятельности, основанной на верном понимании действительности. По убеждению Герцена, путь к „практической деятельности“ могла открыть передовому человеку только глубокая, напряженная и независимая работа мысли» [23. С. 160]. В конце романа учитель Бельтова Жозеф, встретившийся с ним после долгой разлуки, говорит ему, что «достоинство жизни человеческой в борьбе» [19. Т. 4. С. 166]. Бельтов этим достоинством не обладал. А Герцен очень хотел обладать.

Одним словом, верность идеалам, трезвое понимание действительности и установка на борьбу с ее пороками ради новой России – вот ответ Герцена на меланхолию, пассивность и курс на внутреннюю эмиграцию «лишних людей» своего времени.

Нужно сказать, что Герцен «попал» в своего читателя. В письме от 8–9 июля 1847 г. Огарев писал ему в Париж: «Перечитал я вчера „Кто виноват?“. Эта повесть на меня всегда производит сильное впечатление, она слишком близка. А знаешь ли что, Герцен? Ведь метил ты Бельтова поставить очень высоко. А между тем Бельтов – durch und durch¹ ложное лицо. Бельтов – романтик и pseudo-сильный человек, хотя все-таки высокий человек. Бельтов – больной человек. Иначе он бы рассчитывал свою силу и объект деятельности и нашел бы среду, где бы мог развернуть ее. Хватание за разные предметы без порядка – признак романтического брожения. Я думаю, неуменье отыскать самого себя в мире при огромном чувстве самобытности составляет последний фазис нашего романтизма. Неужели мы не перейдем этот рубеж! Досадно будет. Мне ни умирать, ни замирать ни в каком отношении не хочется». «Впрочем, это осевшее чувство скорби может быть очищено деятельностью. Деятельность стирает с нее остатки романтической пыли» [24. Т. 2. С. 412–413]².

¹ Насквозь (нем.).

² Нужно сказать, что 1847–1848 гг. в жизни Огарева связаны с попыткой реализовать грандиозные хозяйственные проекты в своем имении, перевести крестьян на фермерское хозяйство, организовать фабрики. Возможно, столь категорично он смотрел на Бельтова под воздействием тогдашней активной жизненной позиции.

Герцен отвечал Огареву 3 августа 1847 г.: «Быть современным, уместным, взять именно ту сторону среды, в которой возможен труд, и сделать этот труд существенным – в этом весь характер практического человека. И с этой стороны ты совершенно прав, нападая на Бельтова; ошибка в том, что цель не Бельтов, а необходимость подобного воздействия не на из рук вон сильного человека – но на прекрасного и способного человека. Для того чтоб убедиться в этом, достаточно вспомнить биографии всех знакомых, да и наши несколько. При начальных шагах жизни что представлялось на выбор? Доктринерство, всяческий романтизм, я сделался отчасти доктринером и, может, был бы *sehr ausgezeichnet in meinem Fache*¹, если б не необходимость уехать в провинцию. Там я сделался романтиком. В действительную жизнь, в действительное спасение вышел я женитьбой, – да ведь и ты женился, однако для тебя это имело совсем иную воспитательную силу [18. Т. 23. С. 34].

Этот обмен мнениями о Бельтове, который произошел спустя лишь год после публикации романа, свидетельствует, что вопрос о деятельности был наиболее острым вопросом кружка Герцена того периода, и «романтизм», приобретенный «при начальных шагах жизни», в процессе воспитания, представляется и Герцену и Огареву едва ли не главной опасностью для практической, полезной, созидательной деятельности. «Романтик» для них – это человек слабый, увлекающийся, не умеющий найти дела в жизни, хватающийся без цели за разные предметы. «Романтизм» для Герцена того периода – в философском смысле слова – это «нежелание принять истину такой, какой она является нашему разуму». В статье «Новые вариации на старые темы» 1846 г. Герцен последовательно нападает на старые идеалы «романтиков» и «моралистов», на их абстрактную идею долга, которая заставляет человека «добровольно жертвовать собой», на высокие идеи, перед которыми люди «совершенно стираются» [25. Т. 2. С. 95, 93], одним словом, выступает от имени разума против романтических предрассудков, принимаемых за долг, против идейных последствий воспитания коллективного Жозефа.

Здесь нужно сделать небольшое отступление. 1846 г. – это период «теоретического разрыва» в кружке Герцена, философских споров между «идеалистами» и «реалистами». В ходе этой полемики Герцен называл романтиком своего оппонента Т.Н. Грановского, который предпочел остаться идеалистом (подробнее см.: [26. С. 42–45]). В этом контексте, чтобы не запутаться в терминах, уместно говорить о двух типах романтиков в понимании Герцена: «романтиков по воспитанию» (романтиков юности) и «романтиков по мировоззрению» (романтиков зрелости). Следуя логике этого разделения, можно предположить, что Герцену в 1846–1847 гг. не такими уж опасными казались романтическое воспитание и «негативная социализация», если в зрелости «романтик юности» станет реалистом. Но если и в зрелости человек остается романтиком, – это проблема, ничего путного из него не получится. Такие «нравственно слабые люди» обязательно, по мысли Герцена, отдадутся «во власть лени», их любовь к свободе, скорее всего, окажется «чисто платонической, идеальной»: «... по ней вздыхают, о ней говорят в ученых предисловиях и в академических речах, ей поклоняются пламенные души, но на благород-

¹ Весьма выдающимся человеком в своей области (нем.).

ной дистанции» [25. Т. 2. С. 90]. «Деятелем», пользуясь терминологией Герцена, «романтик по мировоззрению» не станет.

Учитывая все сказанное, можно понять, почему Герцен и Огарев в письмах 1847 г. в такой резкой форме отмежевывались от любого проявления романтизма: и в быту и в сознании. Романтическая, по их определению, неумелость и ненужность Бельтова не могла больше вызывать никакого сочувствия.

Интересно, что в наиболее «свежей» западной монографии, посвященной Герцену, «Об открытии возможности. Жизнь и мысль Александра Герцена», написанной ученицей Исайи Берлина – Айлин Келли в 2016 г., борьба с романтизмом также называется основной темой романа. В разделе о «лишнем человеке» Келли пишет: «Герцен определяет основную болезнь века как разрыв между теорией и жизнью, но отвергает мнение романтиков, что их отчуждение является признаком принадлежности к духовной элите. До определенной степени в своих затруднениях виноваты сами романтики. Это доминирующая тема романа „Кто виноват?“» [27. Р. 167–168].

Но в конце 1840-х гг. был и другой взгляд на Бельтова, более отстраненный. Его высказывали люди, не чувствовавшие близости к герою романа, ни биографической, ни сословной, люди, которые не боялись повторить судьбу «лишнего человека». К примеру, В.Г. Белинский. В 1847 г. Он вновь написал о романе «Кто виноват?». Готовя первую статью, в 1845 г., критик имел возможность ознакомиться только с первой частью «повести» и написал о ней хвалебный, почти восторженный, отзыв. Теперь Белинский прочитал роман целиком, и полная версия понравилась ему куда меньше. В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» он писал, что хотя в романе «бездна лиц, большею частию мастерски очерченных, но нет героя, нет героини», а Бельтов теперь казался ему «самым неудачным лицом во всем романе» [28. Т. 10. С. 320]. Как и Огарев, Белинский считал, что Бельтов «поставлен» в романе незаслуженно высоко. Но если Огарев видел «ложность» Бельтова в «романтизме», то Белинскому просто не нравилась нелогичность построения персонажа, немотивированность его «гениальности». Но это не самое главное и может увести нас от сути. Важно, что Белинскому, разночинцу по происхождению, приветствовавшему социальную критику, больше нравилась первая часть романа, в которой, живописуя биографии героев, Герцен фиксировал грубость нравов и жестокость помещного дворянства, косность и формализм петербургского и провинциального чиновничества, недалеко провинциальной интеллигенции и т.д. Вторая же часть романа, содержащая историю скитаний «лишнего человека» и «трагическую любовь» неприкаянного барина, казалась Белинскому менее интересной и убедительной.

Оценивая проблематику романа под углом социальной критики, Белинский пришел к необычному выводу, он нашел «задушевную мысль Искандера», некую главную тему творчества: «...мысль о достоинстве человеческом, которое унижается предрассудками, невежеством и унижается то несправедливостью человека к своему ближнему, то собственным добровольным искажением самого себя» [28. Т. 10. С. 319–320]. Белинскому казалось, что в социальном фиаско Бельтова в большей степени виноваты не его воспитание, или идейный романтизм, а дурно устроенное общество и его собственная лень и праздность. Фактор «отсталости» российского общества, таким образом, Белинский считал первостепенным и определяющим в судьбе героя.

Похожим образом «Кто виноват?» интерпретировал в 1847 г. А.А. Григорьев. Как и Белинский, он написал вторую статью о романе. В № 68 «Московского городского листка» общий пессимизм герценовского повествования он объяснял типичным для материалистического сознания представлением о социальной природе зла. По мнению Григорьева, «основная мысль» романа состоит в том, «что виноваты не мы, а та ложь, сетями которой опутаны мы с самого детства. Сколько ума, – продолжает Григорьев, – растрачено на отрицание высшего двигателя человеческой деятельности – свободы и сопряженной с ней ответственности» [29].

Кажется, что общая трактовка постановки Герценом вопроса о личности и обществе в словах Белинского и Григорьева – близка. Только Белинскому картина придавленности героев «средой», действительностью, «всем строем» русской жизни (бытом, нравами) кажется трагичной, и максимально критическое изображение этой картины в литературе представляется полезным в деле эмансипации личности. А Григорьеву излишний пессимизм и «чернуха», как бы мы сказали сейчас, кажутся безответственным проецированием личных проблем на общество. Друзья и оппоненты, как видно, трактовали роман в одних и тех же категориях, но с противоположным знаком и различными выводами в отношении полезности подобного текста для публики¹.

Таким образом, социально-политическая линия романа и связанная с ней тема «лишнего человека», задуманная Герценом, прежде всего, как послание, как предостережение для «прекрасных и способных людей» близкого круга, критиками, не принадлежавшими к числу этих людей, была прочтена как текст, проникнутый пафосом социального детерминизма.

Наступившая после 1848 г. реакция прекратила журнальную дискуссию, посвященную роману «Кто виноват?», но не уменьшила его влияния. Однако со временем изменился социальный состав его читателей, и новым читателям романа в 1850–1860-х гг. основными и наиболее актуальными будут казаться совсем другие темы. Теперь смысл романа будет сводиться не к социальному детерминизму, а, чаще, к вопросу женского равноправия, защитники и оппоненты согласятся, что «главной темой романа» является эмансипация, но разойдутся в оценках этого явления (см.: [31. С. 49]).

В завершение нужно сказать о том, как новой генерацией критиков воспринимались Бельтов и социально-политическая проблематика текста, связанная с ним. Упомянутый в двух известных статьях Н.Г. Чернышевского, «Стихотворения Н. Огарева» (1856) и «Русский человек на *rendez-vois*» (1858), Бельтов предстает сначала благородным представителем людей, которые «станутся во главе исторического движения»: «Онегин сменился Печориным, Печорин – Бельтовым и Рудиным» [32. Т. 3. С. 567]. Но в следую-

¹ В этом отношении важно упомянуть о письме А.А. Григорьева Н.В. Гоголю от 17 ноября 1848 г., где он противопоставлял «Кто виноват?» и «Выбранные места из переписки с друзьями». Оба произведения вышли в один год, и для более консервативного Григорьева главным различием этих произведений являлось решение вопроса человеческой ответственности. «Романист высказывает в образах <...> ту основную мысль, что виноваты не мы, а та ложь, сетями которой опутаны мы с самого детства», – повторяет Григорьев слова своей статьи. Из книги Герцена, по мысли критика, следует, «что никто ни в чем не виноват, что все условленно предшествующими данными и что эти данные опутывают человека, так что ему нет из них выхода, ибо „привычка есть цепь на человеческих ногах“». Одним словом, человек – раб и из рабства ему исхода нет. Это стремится доказывать вся современная литература, – это явно и ясно высказано в „Кто виноват?“» [30. С. 31–32].

шей статье Чернышевский будто поправляет себя, говоря, что человек типа Бельтова «обманул нас». Он, скорее, мог стать во главе «исторического движения», но этого не сделал, так как «предпочитает всякому решительному шагу отступление» [33. Т. 5. С. 160]. Так или иначе, Бельтов представлен в текстах Чернышевского «героем», время которого давно прошло.

Развивая мысль Чернышевского, Н.А. Добролюбов в статье «Что такое обломовщина» (1859) также «вписывал» Бельтова в сонм русских литературных «лишних людей», над которыми «тяготеет одна и та же обломовщина», считая, однако, его «гуманнейшим между ними» [34. С. Т. 4. 324]. Но как и Онегин, и Печорин, и Рудин, Бельтов остается персонажем навсегда ушедшего прошлого.

«Время Бельтовых, Чацких и Рудиных прошло навсегда», – напишет в 1865 г. Д.И. Писарев в статье «Пушкин и Белинский» [35. Т. 3. С. 337]. Мысль, смягченная у Чернышевского и Добролюбова уважением «к давно минувшему», была сформулирована Писаревым с предельной четкостью. Можно сказать, что Писарев подвел итог: радикальная интеллигенция в середине 60-х гг. считала исчерпанной проблематику романа, связанную с «лишним человеком».

Только в начале XX в., когда началось академическое изучение трудов Герцена и появилась возможность ретроспективного взгляда на его художественное наследие, к социально-политической линии романа обратился Д.Н. Овсянико-Куликовский в знаменитой работе «История русской интеллигенции» (1906–1911). В главе, посвященной Бельтову, он вновь задается вопросом: «Кто виноват, что Бельтов оказался лишним человеком, праздным туристом, не способным найти себе подходящего места в жизни?» [36. С. 122].

Овсянико-Куликовский дает несколько ответов. Первый: Бельтов виноват сам. Он «обречен на праздность», потому что сам – «барин, баловень, белоручка». Овсянико-Куликовский таким образом объясняет провал Бельтова, ссылаясь на революционных демократов 1860-х гг., Чернышевского, Добролюбова, которые, по его мнению, питали «органическое отвращение к типу „людей 40-х годов“» [36. С. 122], упрекая их в лености и неспособности к труду. Нужно сказать, что для обоснования такого взгляда в романе найдется немало материала. Вялость и непрактичность своего героя Герцен показывает с какой-то беспощадностью: «Побился он с медициной да с живописью, покутил, поиграл да и уехал в чужие края. Дела, само собою разумеется, и там ему не нашлось; он занимался бессистемно, занимался всем на свете, удивлял немецких специалистов многосторонностью русского ума; удивлял французов глубокомыслием, и в то время, как немцы и французы делали много, – он ничего, он тратил свое время, стреляя из пистолета в тире, просиживая до поздней ночи у ресторанов и отдаваясь телом, душою и кошельком какой-нибудь лоретке» [19. Т. 4. С. 121].

Однако критикуя характер Бельтова, пытаюсь понять, почему же, загораясь каким-то делом, вкладывая много усилий в новое предприятие, Бельтов неизменно через несколько месяцев к нему охладевал, бросал и брался за новое, чтобы вскоре бросить и его, Герцен переходит к более общим рассуждениям: «Счастлив тот человек, – пишет он, – который продолжает начатое, которому преемственно передано дело: он рано приучается к нему, он не тра-

тит полжизни на выбор, он сосредоточивается, ограничивается для того, чтоб не расплыться, – и производит. Мы чаще всего начинаем вновь, мы от отцов своих наследуем только движимое и недвижимое имение, да и то плохо храним; оттого по большей части мы ничего не хотим делать, а если хотим, то выходим на необозримую степь – иди, куда хочешь, во все стороны – воля вольная, только никуда не дойдешь: это наше многостороннее бездействие, наша деятельная лень. Бельтов совершенно принадлежал к подобным людям; он был лишен совершеннолетия – несмотря на возмужалость своей мысли; словом, теперь, за тридцать лет отроду, он, как шестнадцатилетний мальчик, готовился начать свою жизнь...» [19. Т. 4. С. 121–122].

Это рассуждение заставляет нас невольно вспомнить строки из «Философического письма» П.Я. Чаадаева, обращенные к России в целом: «У нас совсем нет внутреннего развития, – писал он, – естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. <...> Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т.е. по линии, не приводящей к цели» [37. С. 490]. «Несовершеннолетие» России Чаадаев объяснял историческими причинами. По его мнению, татаро-монгольское иго, «иноземное владычество, жестокое и унижительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала», сковав силы народа, лишило Россию «юности», необходимого для будущего развития исторического этапа, который прошли все другие европейские народы. В этот период «великих свершений, сильных страстей» у народов вырабатываются свои «плодотворные идеи» и «общественные устои», которые потом, со временем, органически трансформируются в эффективные социальные, правовые и политические институты. Так как Россия, по мнению Чаадаева, была лишена «юности», в нашей стране не возникло предпосылок для эффективно работающих институтов. Да что там институтов, нет даже «мыслей о долге, справедливости, праве и порядке», потому что они также формируются на этапе «народной юности». Именно поэтому Россия не может сформулировать собственных идей, а чужие – на русской почве не приживаются.

Таким образом, «несовершеннолетие», инфантильность Бельтова можно объяснить в логике мысли Чаадаева – «несовершеннолетием» российского общества в целом. Это второй ответ Овсяннико-Куликовского на вопрос: кто виноват, что Бельтов не нашел себе «места в жизни». «Виновато» все наше историческое прошлое.

Эти два ответа, по сути, в несколько упрощенной форме были потом взяты на вооружение советскими исследователями, трактовавшими барскую праздность как последствие «крепостничества», а историческое прошлое России – как причину «никалаевских порядков». Нужно сказать, что вплоть до 60-х гг. XX в. в советском литературоведении было принято считать, что Герцен в романе «Кто виноват?» хотел показать, как происходит «искажение достоинства человека, калечение его жизни и судьбы» «под гнетом самодержавия и крепостничества» [23. С. 156]. Что «основным» содержанием романа является «пафос борьбы с крепостным правом как основным социальным злом русской действительности» [38. С. 322]. Вполне возможно, что в первой половине XX в. этот роман и воспринимался именно так, как «суровый обвинительный приговор всей системе самодержавно-крепостнических порядков»

[38. С. 323]¹, поводы к подобной трактовке Герцен, разумеется, давал. Да и сейчас Айлин Келли вполне в духе советских литературоведов пишет, что «несмотря на сокращения, это была самая откровенная критика крепостного права в печати 1840-х годов» [27. Р. 169]. С этим трудно спорить, однако тема крепостничества для общественной дискуссии середины XIX в. по поводу романа Герцена отнюдь не была основной.

Подводя итоги, надо сказать, что социально-политическая линия романа и связанная с ней тема «лишнего человека», задуманная Герценом, прежде всего, как послание, как предостережение для людей близкого круга, критиками второй половины XIX–XX в. интерпретировалась в основном в духе социального детерминизма. И «негативная социализация», которая казалась Герцену одной из главных политических проблем своего времени, уже следующему поколению читателей представлялась несущественной в сравнении с «отсталостью» российского общества или крепостным правом.

Литература

1. *Елизаветина Г.Г.* «Кто виноват?» Герцена в восприятии русских читателей и критики XIX в. // Литературные произведения в движении эпох. М.: Наука, 1979. С. 41–74.
2. *Антонова Г.Н.* Герцен и русская критика 50–60-х годов XIX века: Проблемы художественно-философской прозы. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. 198 с.
3. *Герцен А.И.* Письмо А.А. Краевскому, 23 декабря 1845 г. Москва // Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. Т. 22. С. 248–249.
4. *Герцен А.И.* Былое и думы. 1852–1868 // Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956. Т. 8. С. 7–397.
5. *Белинский В.Г.* Русская литература в 1845 году // Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955. Т. 9. С. 378–406.
6. *Грановский Т.Н.* Письмо Н.Г. Фролову, Москва, февраль 1846 года // Т.Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М., 1897. С. 421–422.
7. *Майков В.Н.* Нечто о русской литературе в 1846 году // Майков В.Н. Литературная критика. Л.: Худож. лит., 1985. С. 177–200.
8. *Майков В.Н.* Петербургские вершины, описанные Я. Бутаковым. Книга вторая. Санкт-Петербург. 1846. В типографии Н. Греча. В 8-ю д. л. 189 стр. // Майков В.Н. Литературная критика. Л.: Худож. лит., 1985. С. 247–263.
9. *Булгарин Ф.В.* Социализм, коммунизм и пантеизм в России, в последнее 25-летие // Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III отделение. М.: Новое лит. обозрение, 1998. С. 490–499.
10. *Видок Фиглярин:* Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III отделение. М.: Новое лит. обозрение, 1998. 704 с.
11. *Малия М.* Александр Герцен и происхождение русского социализма. 1812–1855. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2010. 568 с.
12. *Мани Ю.В.* Философия и поэтика «Натуральной школы» // Проблемы типологии русского реализма. М.: Наука, 1969. С. 241–306.
13. <*Некрасов Н.А.*> Музей современной иностранной литературы. Вып. 1, 2. СПб., 1847 // Современник. 1847. № 4. Апрель. С. 127–128.
14. *Аксаков И.С.* 1847 г<од>. Февраля 11-го. Вторник. Калуга // Аксаков И.С. Письма к родным 1844–1849. М.: Наука, 1988. (Литературные памятники).
15. <*Григорьев А.А.*> Обозрение журнальных явлений за январь и февраль 1847 г. // Московский городской листок. 1847. № 51 от 4 марта 1847 г. С. 203–204.

¹ Похожую трактовку «основного содержания романа» мы можем найти в книге Г.Н. Гая «Роман и повесть А.И. Герцена 30–40-х годов» (Киев, 1959) и др. Однако были и исключения, в статье «Проблема “русского деятеля” в творчестве Герцена 40-х годов» Е.Н. Дрыжакова пишет, что «конкретными социальными условиями нельзя объяснять личные катастрофы (героев)», и видит их причины в «романтизме», т.е. в ошибочности личных установок персонажей романа (см.: [26. С. 40]). Отметим попутно интересный анализ изменения взглядов на творчество Герцена исследователей советского время, представленный А.А. Теслей. См.: [39. С. 142–150].

16. *Шевырев С.П.* Очерки современной русской словесности // Москвитянин. 1848. Ч. 1, № 1. Критика. С. 30–54.
17. <Михайлов Л.М.> Литературное известие // Санкт-Петербургские ведомости. 1847. 29 марта. № 68. С. 512.
18. *Герцен А.И.* Письмо Н.П. Огареву, 3 августа (22 июля) 1847 г. Париж // Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. Т. 23. С. 34–35.
19. *Герцен А.И.* Кто виноват? // Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955. Т. 4. С. 5–211.
20. *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. М.: Молодая гвардия, 1998. 382 с. (Жизнь замечательных людей).
21. *Шириняц А.А.* Вне власти и народа: Политическая культура интеллигенции России XIX – начала XX века. М.: РОССПЭН, 2002. 360 с.
22. *Шириняц А.А.* Герцен в контексте российского революционизма // Александр Герцен и исторические судьбы России: материалы науч. конф. к 200-летию А.И. Герцена, Институт философии РАН, 20–21 июня 2012 г. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2013. С. 219–223.
23. *Эльсберг Я.Е.* Герцен: Жизнь и творчество. М.: Изд-во худож. лит., 1963. 732 с.
24. *Огарев Н.П.* Письмо А.И. Герцену, 8–9 июля 1847 г. // Огарев Н.П. Избранные социально-политические и философские произведения. М.: Госполитиздат, 1956. Т. 2. С. 412–413.
25. *Герцен А.И.* Новые вариации на старые темы // Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1954. Т. 2. С. 8–103.
26. *Дрыжакова Е.Н.* Проблема «русского деятеля» в творчестве Герцена 40-х годов // Русская литература. 1962. № 4. С. 39–51.
27. *Kelly A.M.* The Discovery of Chance: The Life and Thought of Alexander Herzen. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2016. 608 p.
28. *Белинский В.Г.* Взгляд на русскую литературу 1847 года // Полн. собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956. Т. 10. С. 279–359.
29. <Григорьев А.А.> Обзорные журналы за март 1847 г. // Московский городской листок. 1847. 31 марта. № 68.
30. *Григорьев А.А.* Письмо Н.В. Гоголю, 17 ноября 1848 г. Москва // Григорьев А.А. Письма. М.: Наука, 1999. С. 31–33. (Литературные памятники).
31. *Гурвич-Лицинер С.Д.* Творчество Герцена в развитии русского реализма середины XIX века. М.: Наследие, 1993. 175 с.
32. *Чернышевский Н.Г.* Стихотворения Н. Огарева // Полн. собр. соч.: в 15 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1947. Т. 3. С. 561–568.
33. *Чернышевский Н.Г.* Русский человек на rendez-vous // Полн. собр. соч.: в 15 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1950. Т. 5. С. 156–174.
34. *Добролюбов Н.А.* Что такое обломовщина? // Собр. соч.: в 9 т. М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1962. Т. 4. С. 307–343.
35. *Писарев Д.И.* Пушкин и Белинский // Соч.: в 4 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1956. Т. 3. С. 336–417.
36. *Овсянко-Куликовский Д.Н.* Из «Истории русской интеллигенции» // Овсянко-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы: в 2 т. М.: Худож. лит., 1989. Т. 2. С. 4–306.
37. *Чаадаев П.Я.* Философические письма. Письмо первое // Русская социально-политическая мысль. Первая половина XIX века: хрестоматия. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. С. 485–501.
38. *Путинцев В.А.* Комментарии к роману «Кто виноват?» // Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955. Т. 4. С. 320–328.
39. *Тесля А.А.* Советский Герцен // Тесля А.А. Первый русский национализм... и другие. М.: Европа, 2014. С. 142–150.

Prokudin Boris A. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation)

E-mail: probor@bk.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/20

“NEGATIVE” SOCIALIZATION AS A POLITICAL PROBLEM IN THE NOVEL A. HERZEN “WHO IS TO BLAME?”

Key words: A. Herzen, “Who is to blame?”, Negative socialization, Russian radicalism, political novel.

The novel of A.I. Herzen "Who is to blame?", which first appeared in the journal *Otechestvennye Zapiski* (1843–1846), and then printed in a separate edition (1847), made a strong impression on the Russian public. But in different periods of his existence in the literary environment, various ideas of the novel turned out to be demanded by readers and had an impact on the public agenda. Journalists and ordinary readers throughout the second half of the XIX century were looking for an answer to the question stated in the naming of the novel. And they found different options that more closely corresponded to their time, social status and social expectations. The purpose of this article is to interpret the socio-political lines of the novel and, related to it, the topic of "superfluous man" from the point of view of the author's intention. After all, Herzen's novel originally had a specific addressee, people of his own circle and education, "people of advanced convictions of the 40s." According to Herzen, guilty of the fact that Beltov (the main character) turned out to be an "extra person", unable to adapt to the conditions of the social environment, and his attempt to show civic activity turned into a failure, is a negative socialization. However, already in the late 1840's in Russian criticism, another view of Beltov, more detached, began to dominate. It was expressed by people who did not feel closeness to the hero of the novel, neither biographical nor class, people who were not afraid to repeat the fate of the "superfluous person". For example, V.G. Belinsky thought that the social fiasco of Beltov was not because his upbringing or ideological "romanticism", but because the society was not well organized, and because of his own laziness and idleness. Belinsky considered that the factor of "backwardness" of the Russian society was the paramount and determining in the fate of the hero. Thus, the socio-political line of the novel and the theme of the "superfluous man" was conceived by Herzen as a message, as a warning for "wonderful and capable people" of a close circle. But by the critics, who didn't belong to this circle, it was read as a text full of pathos of social determinism.

References

1. Elizavetina, G.G. (1979) "Kto vinovat?" Gertsena v vospriyatii russkikh chitateley i kritiki XIX v. ["Who is to blame?" Herzen in the perception of Russian readers and critics of the 19th century]. In: Osmakov, N. (ed.). *Literaturnye proizvedeniya v dvizhenii epoch* [Literary works in the movement of the epochs]. Moscow: Nauka. pp. 41–74.
2. Antonova, G.N. (1989) *Gertsen i russkaya kritika 50–60-kh godov XIX veka: Problemy khudozhestvenno-filosofskoy prozy* [Herzen and Russian criticism of the 1850–60s: Problems of artistic and philosophical prose]. Saratov: Saratov State University.
3. Herzen, A.I. (1961) *Sobranie sochineniy: v 30 t.* [Collected Works: In 30 vols]. Vol. 22. Moscow: USSR AS. pp. 248–249.
4. Herzen, A.I. (1956) *Sobranie sochineniy: v 30 t.* [Collected Works: In 30 vols]. Vol. 8. Moscow: USSR AS. pp. 7–397.
5. Belinsky, V.G. (1955) *Polnoe sobranie sochineniy v 13 t.* [Complete Collection of Works]. Vol. 9. Moscow: USSR AS. pp. 378–406.
6. Granovskiy, T.N. (1897) *T.N. Granovskiy i ego perepiska* [T.N. Granovsky and his correspondence]. Vol. 2. Moscow: A.I. Mamontov. pp. 421–422.
7. Maykov, V.N. (1985a) *Literaturnaya kritika* [Literary criticism]. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura. pp. 177–200.
8. Maykov, V.N. (1985b) *Literaturnaya kritika* [Literary criticism]. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura. pp. 247–263.
9. Bulgarin, F.V. (1998a) *Vidok Figlyarin: Pis'ma i agenturnye zapiski F.V. Bulgarina v III otdelenie* [Vidok Figlyarin: Letters and agent notes from F.V. Bulgarin to the Third Department]. Moscow: Novoe lit. Obozrenie. pp. 490–499.
10. Bulgarin, F.V. (1998b) *Vidok Figlyarin: Pis'ma i agenturnye zapiski F.V. Bulgarina v III otdelenie* [Vidok Figlyarin: Letters and agent notes from F.V. Bulgarin to the Third Department]. Moscow: Novoe lit. Obozrenie.
11. Malia, M. (2010) *Aleksandr Gertsen i proiskhozhdenie russkogo sotsializma. 1812–1855* [Alexander Herzen and the origin of Russian socialism. 1812–1855]. Moscow: Territoriya budushchego.

12. Mann, Yu.V. (1969) *Filosofiya i poetika "Natural'noy shkoly"* [Philosophy and poetics of the "Natural School"]. In: Stepanov, N.L. & Fokht, U.R. (eds) *Problemy tipologii russkogo realizma* [Problems typology of Russian realism]. Moscow: Nauka. pp. 241–306.
13. <Nekrasov, N.A.> (1847) *Muzey sovremennoy inostrannoy literatury* [Museum of Contemporary Foreign Literature]. *Sovremennik*. 47(4). pp. 127–128.
14. Aksakov, I.S. (1988) *Pis'ma k rodnym 1844–1849* [Letters to relatives 1844–1849]. Moscow: Nauka. pp. 353.
15. <Grigoriev, A.A.> (1847) *Obozrenie zhurnal'nykh yavleniy za yanvar' i fevral' 1847 g.* [Review of journal publications for January and February 1847]. *Moskovskiy gorodskoy listok*. 4th March. pp. 203–204.
16. Shevyrev, S.P. (1848) *Ocherki sovremennoy russkoy slovesnosti* [Essays on the contemporary Russian literature]. *Moskvityanin*. 1(1). pp. 30–54.
17. <Mikhaylov, L.M.> (1847) *Literaturnoe izvestie* [Literary News]. *Sankt-Peterburgskie vedomosti*. 29th March. pp. 512.
18. Herzen, A.I. (1961) *Sobranie sochineniy: v 30 t.* [Collected Works: In 30 vols]. Vol. 23. Moscow: USSR AS. pp. 34–35.
19. Herzen, A.I. (1955) *Sobranie sochineniy: v 30 t.* [Collected Works: In 30 vols]. Vol. 4. Moscow: USSR AS. pp. 5–211.
20. Lotman, Yu.M. (1998) *Sotvorenie Karamzina* [Creation of Karamzin]. Moscow: Molodaya gvardiya.
21. Shirinyants, A.A. (2002) *Vne vlasti i naroda. Politicheskaya kul'tura intelligentsii Rossii XIX – nachala XX veka* [Outside of power and people. Political culture of the Russian intelligentsia in the 19th – early 20th centuries]. Moscow: ROSSPEN.
22. Shirinyants, A.A. (2013) [Herzen in the context of Russian revolutionism]. *Aleksandr Gertsen i istoricheskie sud'by Rossii* [Alexander Herzen and the Historical Fates of Russia]. Proc. of the Conference. Moscow, June 20 – 21, 2012. Moscow: Kanon+. pp. 219–223. (In Russian).
23. Elsberg, Ya.E. (1963) *Gertsen: Zhizn' i tvorchestvo* [Herzen: Life and work]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
24. Ogarev, N.P. (1956) *Izbrannye sotsial'no-politicheskie i filosofskie proizvedeniya* [Selected Sociopolitical and Philosophical Works]. Vol. 2. Moscow: Gospolitizdat. pp. 412–413.
25. Herzen, A.I. (1954) *Sobranie sochineniy: v 30 t.* [Collected Works: In 30 vols]. Vol. 2. Moscow: USSR AS. pp. 8–103.
26. Dryzhakova, E.N. (1962) *Problema "russkogo deyatelya" v tvorchestve Gertsena 40-kih godov* [The problem of the "Russian figure" in the works by Herzen of the 1840s]. *Russkaya literatura*. 4. pp. 39–51.
27. Kelly, A.M. (2016) *The Discovery of Chance: The Life and Thought of Alexander Herzen*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
28. Belinsky, V.G. (1956) *Polnoe sobranie sochineniy v 13 t.* [Complete Collection of Works]. Vol. 10. Moscow: USSR AS. pp. 279–359.
29. <Grigoriev, A.A.> (1847) *Obozrenie zhurnalov za mart 1847 g.* [Review of the journals for March 1847]. *Moskovskiy gorodskoy listok*. 31st March.
30. Grigoriev, A.A. (1999) *Pis'ma* [Correspondence]. Moscow: Nauka. pp. 31–33.
31. Gurvich-Lishchiner, C.D. (1993) *Tvorchestvo Gertsena v razvitiy russkogo realizma serediny XIX veka* [Herzen's creativity in the development of Russian realism in the middle of the 19th century]. Moscow: Nasledie.
32. Chernyshevsky, N.G. (1947) *Polnoe sobranie sochineniy v 15 t.* [Complete Works in 15 vols]. Vol. 3. Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo khudozhestvenoy literatury. pp. 561–568.
33. Chernyshevsky, N.G. (1950) *Polnoe sobranie sochineniy v 15 t.* [Complete Works in 15 vols]. Vol. 5. Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo khudozhestvenoy literatury. pp. 156–174.
34. Dobrolyubov, N.A. (1962) *Sobranie sochineniy v devyati tomakh* [Collected Works in 9 vols]. Vol. 4. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe izdatelstvo khudozhestvenoy literatury. pp. 307–343.
35. Pisarev, D.I. (1956) *Sochineniya v chetyrekh tomakh* [Works in 4 vols]. Vol. 3. Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo khudozhestvenoy literatury. pp. 336–417.

36. Ovsyaniko-Kulikovskiy, D.N. (1989) *Literaturno-kriticheskie raboty: v 2 t.* [Literary criticism. In 2 vols]. Vol. 2. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. pp. 4–306.

37. Chaadaev, P.Ya. (2011) *Filosoficheskie pis'ma. Pis'mo pervoe* [Philosophical letters. The first letter]. In: Shirinyants, A.A. (ed.) *Russkaya sotsial'no-politicheskaya mysl'. Pervaya polovina XIX veka* [Russian social and political thought. The first half of the 19th century]. Moscow: Moscow State University. pp. 485–501.

38. Putintsev, V.A. (1955) *Komentarii k romanu "Kto vinovat?"* [Comments for the novel "Who is to blame?"]. In: Herzen, A.I. (1955) *Sobranie sochineniy: v 30 t.* [Collected Works: In 30 vols]. Vol. 4. Moscow: USSR AS. pp. 320–328.

39. Teslya, A.A. (2014) *Pervyy russkiy natsionalizm... i drugie* [The first Russian nationalism ... and others]. Moscow: Evropa. pp. 142–150.

УДК 327

DOI: 10.17223/1998863X/41/21

П.А. Цыганков

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ МИРОПОРЯДКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ, РАСХОЖДЕНИЯ ТРАКТОВОК

Исследование проблематики международного порядка сталкивается с терминологическими разночтениями, политическими предпочтениями и межпарадигмальными противоречиями. Расхождение взглядов реалистов и либералов по ключевым вопросам миропорядка носит принципиальный характер. В то же время, отражая разные стороны глобального развития, они дополняют друг друга и способствуют формированию более полной картины происходящих изменений.

Ключевые слова: миропорядок, полицентризм, реализм, либерализм, стабильность, управляемость.

О международном порядке написаны горы статей и книг. Массив научной и публицистической литературы огромен. Что, конечно, не случайно: проблема, без преувеличения, «сердцевинная» и всеобъемлющая для международно-политической науки и практики. В целом в академическом и экспертном сообществе сложился определенный консенсус вокруг исходных критериев анализа международного порядка. Речь идет о совокупности принципов, регулирующих взаимодействие участников международных отношений, более конкретно это:

– существование *центров власти/силы*, количество которых формирует ту или иную его конфигурацию;

– наличие *правил и норм поведения*, вокруг которых имеется уровень согласия всех участников международных взаимодействий;

– функционирование *организаций и институтов* для поддержания и совершенствования существующих правил и нормативных установлений, а также в качестве площадок обсуждения и принятия согласованных решений по ключевым вопросам международных отношений;

– определенный набор разделяемых всеми системными игроками *ценностей*.

Остаются, однако, «детали», которые, как всегда, имеют значение. Поэтому международный порядок последних лет и его будущее являются предметом серьезных политических столкновений, теоретических трудностей, острых академических дискуссий.

Теоретические трудности

Первая из них имеет терминологический характер и связана с содержанием понятия международного порядка.

Так, например, для основателей «английской школы» различие между системой и обществом имеет центральное значение. Международная система рассматривается как совокупность регулярных отношений между государствами и другими политическими акторами, которые вынуждены в своих ре-

шениях и действиях принимать в расчет поведение друг друга. Исторически и логически она предшествует международному обществу. Х. Булл говорит о пяти главных институтах международного общества: равновесие сил и взаимное уважение суверенитета; правовые нормы, делающие поведение взаимодействующих государств предсказуемым; дипломатия, обеспечивающая коммуникационную сторону межгосударственных отношений; военная стратегия, позволяющая сохранять принцип соблюдения правил; наличие великих держав, обладающих особыми правами, но также и важными обязанностями. В свою очередь, международный порядок предполагает существование «модели деятельности, которая поддерживает элементарные или первичные цели общества государств или международного общества» [1]. Иначе говоря, международный порядок есть тогда, когда отсутствие центральной власти или анархичность международной системы частично преодолеваются установлением общих правил и институтов, обеспечивая ее стабильность.

Ф. Войтоловский высказывает близкую позицию, рассматривая миропорядок как итоговую, стабилизировавшуюся в определенном состоянии и на социально значимый период (не менее одного поколения) стадию системы международных отношений. В свою очередь, стадию, или этап развития, на протяжении которого международная система еще не стабилизировалась, автор называет мироустройством [2].

В целом же из обобщения имеющихся в отечественной и зарубежной науке точек зрения выстраивается следующая иерархия. Исходным и референтным для совокупности терминов, связанных с рассматриваемой проблемой, выступает понятие *международная система*, сущность которого относится к политике силы между государствами. Понятие *международного общества*, или «общества государств», характеризует состояние стабилизации системы государств, вырабатывающих и соблюдающих общие правила поведения, т.е. *международный порядок*. Если же речь идет не только о государствах, но и о других значимых акторах, которые так или иначе встраиваются в общие правила или же изменяют их, не разрушая сам принцип регулирования международной системы, то следует говорить о *мировом порядке*, или *миропорядке*. Мировой порядок предполагает участие всего многообразия легитимных международных акторов в выработке правил и норм их взаимодействия, в принятии решений, касающихся функционирования международной системы и в этой связи в той или иной степени преодоления анархичности международных отношений. Иначе говоря, строгое использование термина «мировой порядок» скорее отсылает к желаемому характеру международных отношений, чем отражает их текущее состояние. Вместе с тем данное понятие выполняет полезную роль в системе концептуальных инструментов, используемых при анализе тенденций в развитии международных отношений. И в более прикладном плане миропорядок трактуется как этап в эволюции *мироустройства*, характеризующийся стабилизацией состояния мировой системы. *Беспорядок*, или хаос, – это противоположное состояние системы, выражение постоянного риска войны, отсутствие, неэффективность или несоблюдение общих правил и норм поведения международных акторов.

Скорее всего, проведение четкой и окончательной границы между этими понятиями в теории, как и отделение их друг от друга на практике, невоз-

можно. Учитывая вышесказанное, а также то, что негосударственные акторы мировой политики при всей важности роли, которую они играют в трансформации мировой системы, все же «уступают по масштабам влияния крупнейшим государствам» [3], понятие «миропорядок» в данной статье рассматривается как синонимичное понятию «международный порядок». Однако при этом следует иметь в виду и отмеченные выше нюансы их взаимосвязи.

Сказанное касается и дискуссии о понятиях, призванных отражать меняющуюся конфигурацию миропорядка. Здесь конкурируют, по крайней мере, четыре точки зрения. Так, одни из исследователей описывают международный порядок как сосуществование двух миров: мира государств и мультицентричного мира. Мир государств упорядоченный, регламентированный, рутинный. Он состоит из конечного числа акторов, признанных легитимными членами международного общества. Мультицентричный мир представлен огромным числом акторов, которые обладают определенной автономией по отношению к государственному миру. Это индивиды, субгосударственные ассоциации (регионы, провинции, НПО). Это потоки, затрагивающие самые разные секторы социальной активности – экономический, культурный, политический и др. [4]. Другие ученые, характеризуя формирующуюся организацию международно-политической системы после окончания холодной войны, используют как равнозначные по своему содержанию термины «полицентризм» и «многополярность» [5]. Для сторонников третьей точки зрения полицентризм – это скорее бесполярность [6]. К ней примыкает точка зрения о децентрализации международных отношений [7. С. 183–188]. Кроме того, все более широкое распространение получает позиция, согласно которой «полицентризм» выступает как более широкое и более адекватное современным тенденциям понятие по сравнению с «многополярностью», охватывая собой как характер межгосударственных отношений, так и потенциал негосударственных (частных, наднациональных и субнациональных) центров экономической, финансовой и политической власти [8. С. 13].

Вторая трудность, касающаяся проблемы международного порядка, связана с тем, что его осмысление включает одновременно, нередко не отделяя друг от друга, объективную действительность и ее концептуализацию, международную реальность и политический проект, существующее и желаемое, бытие и долженствование, дескриптивность (сущность и содержание миропорядка) и прескриптивность (пути сохранения и/или достижения миропорядка).

Серьезная проблема, которую в этой связи невозможно обойти, формулируется в вопросе: чей международный порядок? [9]. Авторы, придерживающиеся позиций, близких к конструктивизму, считают, что международный порядок не является существующей на данный момент объективной данностью, к которой должны приспосабливаться акторы. Это реальность, социально созданная и воспроизводимая акторами и наблюдателями. Она связана с системой ценностей, которые придают ей определенный смысл, в отличие или в противовес другой системе ценностей [1]. Серьезные трудности создают широко распространившиеся в последнее время конспирологические теории, касающиеся формирования нового миропорядка [10].

Разумеется, как подчеркивает К.С. Гаджиев, миропорядок «не есть результат всецело или преимущественно сознательных, планомерных действий

отдельно взятого государства или группы государств... Искусственно, сугубо организационными и управленческими средствами формировать мировой порядок и обеспечить его жизнеспособность и сколько-нибудь эффективное функционирование не под силу ни одному из отдельно взятых его акторов, какими бы мощными материальными ресурсами он не обладал» [11]. В то же время противостоящий анархии принцип иерархичности, или вертикальное измерение международного порядка, подразумевает существование *центров власти/силы*, формирующих ту или иную его конфигурацию. Они структурируют международные отношения по трем направлениям-средствам поддержания международного порядка: дипломатическому (утверждение суверенитета; создание или распад союзов; баланс сил или его нарушение), военно-стратегическому (угроза или применение силы; создание коалиций; устрашение и гонка вооружений) и символическому (влияние доктрин, идей и ценностей, пропаганда). Поэтому стоит согласиться с К.С. Гаджиевым и в том, что «...то, что мы называем международным правом, разработано и утверждено западной цивилизацией и в целом отражает ее интересы и ценности» [Там же]. Это означает, что Запад, если его рассматривать как консолидированного международного актора, все же в состоянии навязать свою волю и сформировать «свой» мировой порядок.

Как утверждал Э.Х. Карр: «Конечно, объективный интерес в поддержании международного порядка существует, но как только этот абстрактный принцип применяется к конкретной политической ситуации, становится вполне очевидным, что за ним скрывается эгоистический национальный интерес» (цит. по: [12]). В этом смысле международный порядок «по определению» не может быть справедливым для всех, он всегда содержит в себе противоречие между существующим и желаемым состоянием международных отношений. Существующее состояние имеет место постольку, поскольку оно отвечает интересам и ценностям крупнейших государств, которые поддерживают его, не принимая во внимание интересы, ценности и желания других или учитывая их не в полной мере. Такие интересы и желания представляются как вторичные или, по крайней мере, как подлежащие рассмотрению только при условии достижения стабильного международного порядка. Однако рано или поздно на роль ведущих игроков начинают претендовать страна или группа стран «второго эшелона», требуя равенства и справедливости по отношению к себе. В таком случае они трактуются как ревизионистские державы, подрывающие стабильность международных отношений и вызывающие необходимость отпора со стороны международного (мирового) сообщества.

Противоборство господствующих сил, стремящихся сохранить свое доминирование, с одной стороны, и поднимающихся держав, требующих внимания к своим интересам и ценностям, – с другой, дестабилизирует политическую систему, подрывает устойчивость мироустройства, создает ситуацию кризиса и неуверенности на неопределенный период. Кризису способствуют и разногласия в среде доминирующих держав относительно средств урегулирования международных конфликтов, односторонние изменения ими правил игры с целью укрепления собственных позиций, отказ от самоограничений, несогласованный отход от достигнутых ранее соглашений. Ярким примером подобного рода являются заявления и поведение Д. Трампа в отношении своих союзников, в частности его заявление о выходе из проекта ТТИП (Транс-

атлантической зоны свободной торговли), из Парижского соглашения по климату, утверждения о том, что НАТО устарел, что странам Евросоюза надо вслед за Великобританией выйти из ЕС, его экономические угрозы в отношении Германии и т.п.¹ [13–15]. Подобное поведение вносит дополнительные элементы в дестабилизацию международной системы.

Устойчивость системы расшатывается и процессами экономической, научно-технологической и социальной глобализации. Увеличивая взаимозависимость, они создают новые возможности и одновременно порождают отторжение, подрывая локальные и национальные традиции, ценности, идентичности, вызывая встречное стремление к их сохранению и укреплению. В данном случае примерами являются курдский ирредентизм, каталонский сецессионизм, рост сепаратистских настроений в странах ЕС (Бельгии, Великобритании, Италии).

Международная система оказывается в переходном состоянии от одного типа (модели) к другому – состоянию, чреватом крупными конфликтами. Способны ли доминирующие силы удержать ситуацию от угрозы большой войны? В состоянии ли поднимающиеся акторы создать новый легитимный международный порядок? Возможен ли консенсус или компромисс между «ревизионистами» и «грандами» мировой политики? Это вопросы, ответы на которые во многом зависят от взглядов ведущих игроков на состояние и тенденции эволюции современного мира, их оценки перспектив текущей ситуации, своих собственных возможностей и возможностей других акторов и складывающихся с учетом всего этого их предпочтений во внешнеполитической деятельности.

Третья трудность связана с тем, что набор разумных организационных принципов, которые регулируют или должны регулировать международные отношения, понимается представителями различных теоретических школ по-разному, отражая борьбу политических сил, их взгляды и позиции. Основная линия расхождений демаркирует мировоззрения реалистов и либералов.

Различие реалистских и либеральных подходов

Если оставить в стороне множество нюансов и совпадений в подходах реализма и либерализма, а также споры и соперничество позиций внутри обоих течений, их расхождения сводятся к следующему. Для представителей канонического реализма действующие лица международного порядка – это государства, которые, будучи рациональными акторами, во имя эгоистических национальных интересов стремятся увеличивать свою безопасность прежде всего путем наращивания своей военной мощи. Поэтому в условиях анархического характера международных отношений над решениями правительств, говоря словами Р. Арона, «витают тень войны». В то же время анархия не тождественна беспорядку. Государства способны обеспечить международный порядок. Одним из средств такого обеспечения является доминирование крупнейшего государства (или коалиции государств), сило-

¹ См. об этом: *Трам* угрожает Германии экономической поркой [Электронный ресурс]. URL: https://tsargrad.tv/articles/tramp-ugrozhaet-germanii-jekonomicheskoj-porkoj_47103; *Трам* атакует Германию: развод США и ЕС? [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vestifinance.ru/articles/86118>; *Трам* оставляет ЕС наедине с Россией и Ближним Востоком. [Электронный ресурс]. URL: <http://geopolitica.info/tramp-ostavlyaet-es-naedine-s-rossiy-i-blizhnim-vostokom.html>

вое могущество которого далеко превосходит мощь остальных крупных стран. Устанавливаемые им правила признаются «добровольно-принудительно»: получая определенные преимущества, остальные игроки поддерживают все или большинство из таких правил, в случае же несогласия с отдельными из них они вынуждены следовать им под дипломатическим или экономическим давлением. Что, впрочем, не исключает уступок со стороны гегемона, заинтересованного в легитимности своего статуса. Другим, более распространенным средством установления и сохранения международного порядка реалисты считают баланс сил, достигаемый путем заключения союзов сильных государств с более слабыми, что позволяет не только ограничивать мощь какой-либо из великих держав, проявляющей гегемонические амбиции, но и гарантирует выживание слабых. Более частыми являются комбинации обоих вариантов. В итоге межгосударственное сотрудничество не исключено и даже желательно, хотя и остается вынужденным, ограниченным и всегда основанным на рациональном расчете, связанным с сохранением стабильности международной системы. Как подчеркивал Э.Х. Карр, главный вопрос, который в таких условиях периодически встает перед политиками и теоретиками, – это вопрос о том, как сохранить стабильность при (неизбежном) переходе от одной конфигурации в соотношении сил к другой, т.е. от одного международного порядка к другому [13].

Неореалисты, в свою очередь, уточняют, что основой международного порядка является не поведение государств, а структуры, динамика, нормы и институты, располагающиеся на системном уровне. Их общая особенность состоит в том, что они способны в той или иной мере избегать контроля со стороны государств. Поэтому политические руководители могут и должны, с точки зрения К. Уолца, стремиться понять свойства структуры международной системы и вытекающие из нее принуждения и ограничения. Если же они не считаются с ее требованиями, то должны быть готовы столкнуться с негативными последствиями своих действий. В конечном итоге в условиях анархии – этой неотъемлемой черты международных отношений – единственная политика, способная смягчить ее негативные последствия, – это попытка стабилизировать перемирие между периодами неизбежного применения силы. По словам К. Уолца, войны могли бы прекратиться, если бы удалось создать мировое правительство. Но такой вывод, будучи логически неопровержимым, на практике является неосуществимым (цит. по: [1]).

Либералы отстаивают другое видение международного порядка, которое не сводится к межгосударственным взаимодействиям, как и к системным принуждениям. С их точки зрения, преодолевающие национальные границы информационные, финансовые, торговые, миграционные и иные потоки, так же как деятельность НПО, социальных движений, профессиональных, этнических и других объединений, частных групп и отдельных лиц, формируют взаимозависимую структуру отношений международных акторов, в которой роль и влияние государств минимизируются. Создается транснациональный средний класс – социальная основа всемирного демократического «управления без правительства» (global governance). В то же время либеральный миропорядок вырастает не только «снизу», но и продвигается «сверху» демократическими государствами, обладающими для этого необходимыми ресурсами, составляющими «умную силу», – притягательностью собственно-

го примера, развитой массовой и элитарной культурой, экономическим потенциалом и военной мощью, которые используются ради всеобщего процветания и ценностей демократии, индивидуальных свобод и рыночной экономики. Инструментарий указанного продвижения достаточно широк – от постоянного совершенствования международного права, распространения многообразных режимов и других нормативных установлений до региональных интеграционных процессов и растущей роли институтов, основанных на либеральных принципах, в частности таких, как МВФ, МБ, ВТО и др.

Таким образом, взгляды реалистов и либералов расходятся по основным вопросам, связанным с трактовкой мирового порядка. Они касаются его главного критерия, основного субъекта (движущей силы), цели миропорядка, используемых средств для признания его легитимным и базового инструментария, при помощи которого возможно его достижение (см. таблицу).

Трактовки проблематики миропорядка

Содержание и пути достижения МП	Теоретико-методологические подходы	
	Реализм	Либерализм
Центральный критерий	Стабильность международной системы как отсутствие всеобщей (крупномасштабной) войны	Управляемость мирового развития на основе демократии
Базовые правила	Уважение суверенитета; невмешательство во внутренние дела	Демократия; универсальные ценности
Главный субъект	Крупные государства (мировые державы)	Правовые государства и негосударственные (сетевые) акторы
Приоритетная цель	Безопасность; максимально возможное продление перерыва в насильственном соперничестве между политическими игроками	«Вечный мир»; господство либеральных ценностей (индивидуальных свобод, рыночных правил), глобальное гражданское общество, экономическое процветание
Основные средства	«Жесткая сила» как основа политического равновесия или превосходство одного государства (коалиции государств) над остальными	«Умная сила»; распространение демократии
Первостепенные инструменты	Дипломатическое давление; политическое устрашение; вооруженная сила	Нормы международного права, институты

Различия двух подходов к анализу миропорядка вполне очевидны. Не случайны поэтому взаимная критика их приверженцев по отношению друг к другу и представление своих взглядов на тенденции мирового развития как правильных, а позиций оппонентов как ошибочных (см., например: [14–17]).

В то же время, отражая разные стороны глобального развития, они дополняют друг друга, способствуя формированию более полной картины происходящих изменений. Консенсус вокруг критериев миропорядка, необходимость трудностей в его исследовании стимулируют рост внимания реалистов и либералов к аргументам друг друга и даже определенное сближение их позиций – проблема, которая выходит за рамки настоящей статьи и заслуживает отдельного рассмотрения.

Литература

1. Battistella D. L'ordre international. Portée théorique et conséquences pratiques d'une notion réaliste [Electronic resource] // Revue internationale et stratégique. 2004. № 54. P. 89–98. The electronic version of the printing publication. URL: <http://www.twirpx.com/file/1537294/> (access date: 26.09.2017).

2. *Войтоловский Ф.* Нестабильность в мировой системе [Электронный ресурс] // Международные процессы. 2009. Т. 7, № 1(19). Электрон. версия печат. публ. URL: <http://www.intertrends.ru/nineteenth/002.htm> (дата обращения: 23.09.2017).

3. *Барановский В.* Трансформация мировой системы в 2000-х годах [Электронный ресурс] // Международные процессы. 2010. Т. 8, № 1(22). Электрон. версия печат. публ. URL: <http://www.intertrends.ru/twenty-second.htm> (дата обращения: 23.09.2017).

4. *Rosenau, James N.* Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990. 504 p.

5. *Барановский В.Г.* Международный форум «Примаковские чтения»: сб. материалов. 2016. М.: АИРО-XXI, 2017.

6. *Баталов Э.Я.* Современные глобальные тренды и новое сознание [Электронный ресурс] // Международные процессы. 2012. Т. 19, № 1 (28). Электрон. версия печат. публ. URL: <http://www.intertrends.ru/twenty-eight/02.htm> (дата обращения: 23.09.2017).

7. *Богатуров А.Д.* Международно-политический анализ. М.: Аспект Пресс, 2017. 208 с.

8. *Мир 2035.* Глобальный прогноз / под ред. А.А. Дынкина; ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. М.: Магистр, 2017. 352 с.

9. *Tsygankov A.P.* Whose World Order? Russia's Perception of American Ideas after the Cold War. University of Notre Dame Press. Notre Dame, Indiana. 2004. 224 p.

10. *Badie B., Vidal D.* (dir.). Qui gouverne le monde? L'État du monde 2017. Paris: La Découverte, 2016. 256 p.

11. *Гаджиев К.С.* Миропорядок сквозь призму синергетики [Электронный ресурс] // Международные процессы. 2005. Т. 3, № 3(9). Электрон. версия печат. публ. URL: <http://www.intertrends.ru/nineth/012.htm> (дата обращения: 23.09.2017).

12. *Battistella D.* Introduction. L'ordre international, norme politiquement construite, par réaliste [Electronic resource] // Revue internationale et stratégique. 2004. № 54. P. 85–88. The electronic version of the printing publication. URL: <https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2004-2-page-85.htm> (access date: 16.07.2012).

13. *Carr E.* Twenty years' crisis 1919–1939: an introduction to the study of international relations. L.: Macmillan, 1940.

14. *Айкенберри Дж.* Несокрушимая сила либерального порядка [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике: сайт. Электрон. дан. М., 2014. URL: <http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Illyuziya-geopolitiki-17243> (дата обращения: 23.09.2017).

15. *Айкенберри Дж.* Будущее либерального мирового порядка // Современная наука о международных отношениях за рубежом: хрестоматия: в 3 т. / под общ. ред. И.С. Иванова. М.: ИП РСМД, 2015. Т. 1.

16. *Кортунов А.В.* Неизбежность странного мира [Электронный ресурс] // Российский совет по международным делам: сайт. Электрон. дан. М., 2016. URL: http://old.russian-council.ru/inner/?id_4=7930#top-content (дата обращения: 23.09.2017).

17. *Мишаймер Дж., Уолт С.* Доводы в пользу офшорного балансирования. Лучшая внешнеполитическая стратегия США [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике: сайт. Электрон. дан. М., 2016. URL: <http://www.globalaffairs.ru/number/Dovody-v-polzhu-ofshornogo-balansirovaniya-18344> (дата обращения: 23.09.2017).

Tsygankov Pavel A. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation)

E-mail: probor@bk.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/21

STUDIES OF WORLD ORDER: THEORETICAL PROBLEMS AND DIFFERENCES OF INTERPRETATION

Key words: world order, polycentrism, realism, liberalism, stability, governance.

The paper maintains that there formed a consensus regarding key criteria of world order among a variety of theoretical approaches. Nevertheless, there remain serious disagreements which subject the issue of world order to political debates, theoretical, and academic discussions. Difficulties concern relations among concepts that aim to analyze changing structure of world order, attempts to combine descriptive and prescriptive parts, as well as principal differences between approaches of realists and liberals. The author stresses that these disagreements include those regarding main criteria, main actors, purpose of world order, means of legitimization, and main methods. This explains why mutual criticism of realists and liberals and their presentation of each other's viewpoints as incorrect is natural. Still, the noted consensus on key criteria of world order, the need to overcome problems in study-

ing world order draws their attention to each other's arguments and allows for some theoretical dialogue. Rigorous usage of the concept "world order" refers to a desirable state of international relations, rather than reflects the current state of these relations. Nevertheless, the concept serves useful purpose among theoretical tools developed for analysis of development trends in international relations.

Referenses

1. Battistella, D. (2004a) L'ordre international. Portée théorique et conséquences pratiques d'une notion réaliste [The international order. Theoretical scope and practical consequences of a realistic notion]. *Revue internationale et stratégique*. 54. pp. 89–98.
2. Voytolovsky, F. (2009) Nestabil'nost' v mirovoy sisteme [Instability in the world system]. *Mezhdunarodnye protsessy – International Trends*. 1(19). [Online] Available from: <http://www.intertrends.ru/nineteenth/002.htm> (Accessed: 23rd September 2017).
3. Baranovsky, V. (2010) Transformatsiya mirovoy sistemy v 2000-kh godakh [Transformation of the world system in the 2000s]. *Mezhdunarodnye protsessy – International Trends*. 1(22). [Online] Available from: <http://www.intertrends.ru/twenty-second.htm>. (Accessed: 23rd September 2017).
4. Rosenau, J.N. (1990) *Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity*. Princeton: Princeton University Press.
5. Baranovsky, V.G. (2017) *Mezhdunarodnyy forum "Primakovskie chteniya"* [Primakov Readings International Forum]. Moscow: AIRO-XXI, 2017.
6. Batalov, E.Ya. (2012) Sovremennyye global'nye trendy i novoe soznanie [Modern global trends and a new consciousness]. *Mezhdunarodnye protsessy – International Trends*. 1(28). [Online] Available from: <http://www.intertrends.ru/twenty-eight/02.htm>. (Accessed: 23rd September 2017).
7. Bogaturov, A.D. (2017) *Mezhdunarodno-politicheskiy analiz* [International political analysis]. Moscow: Aspekt Press.
8. Dynkin, A.A. (ed.) (2017) *Mir 2035. Global'nyy prognoz* [World 2035. Global Forecast]. Moscow: Magistr.
9. Tsygankov, A.P. (2004) *Whose World Order? Russia's Perception of American Ideas after the Cold War*. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.
10. Badie, B. & Vidal, D. (eds) (2016) *Qui gouverne le monde? L'État du monde 2017* [Who governs the world? The State of the World 2017]. Paris: La Découverte.
11. Gadzhiev, K.S. (2005) Miroporyadok skvoz' prizmu sinergetiki [The world order through the prism of synergetics]. *Mezhdunarodnye protsessy – International Trends*. 3(9). [Online] Available from: <http://www.intertrends.ru/nineth/012.htm>. (Accessed: 23rd September 2017).
12. Battistella, D. (2004b) Introduction. L'ordre international, norme politiquement construite, rar réaliste [Introduction. International order, a politically constructed realistic norm]. *Revue internationale et stratégique*. 54. pp. 85–88. [Online] Available from: <https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2004-2-page-85.htm>. (Accessed: 16th July 2012).
13. Carr, E. (1940) *Twenty years' crisis 1919–1939: an introduction to the study of international relations*. London: Macmillan.
14. Aikenberry, J. (2014) *Nesokrushimaya sila liberal'nogo poryadka* [Enduring force of the liberal order]. [Online] Available from: <http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Illyuziya-geopolitiki-17243>. (Accessed: 23rd September 2017).
15. Aikenberry, J. (2015) Budushchee liberal'nogo mirovogo poryadka [Future of the liberal world order]. In: Ivanov, I.S. (ed.) *Sovremennaya nauka o mezhdunarodnykh otnosheniyakh za rubezhom* [Modern Science of International Relations Abroad]. Vol. 1. Moscow: NP RSMD.
16. Kortunov, A.V. (2016) *Neizbezhnost' strannogo mira* [The Inevitability of a Strange World]. [Online] Available from: http://old.russiancouncil.ru/inner/?id_4=7930#top-content. (Accessed: 23rd September 2017).
17. Mirshaimer, J. & Walt, S. (2016) *Dovody v pol'zu ofshornogo balansirovaniya. Luchshaya vneshnepoliticheskaya strategiya SShA* [The arguments in favour of offshore balancing. The best foreign policy strategy of the USA]. [Online] Available from: <http://www.globalaffairs.ru/number/Dovody-v-polzu-ofshornogo-balansirovaniya-18344>. (Accessed: 23rd September 2017).

УДК 323.2; 32.019.52
DOI: 10.17223/1998863X/41/22

Е.Б. Шестопа́л

СДВИГИ В МАССОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ РОССИИ ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ 2018 Г.

Анализируется изменение психологического состояния российского общества накануне президентских выборов 2018 г. по сравнению с предыдущим периодом. Основным предметом эмпирического качественно-количественного исследования, проведенного в нескольких регионах России в октябре 2017 г., стали существующие в массовом сознании граждан политические представления, установки, ценности и образы современной российской власти и лидеров. Дается характеристика политического восприятия тех отечественных политиков, которые могут принять участие в предстоящих президентских выборах. В отличие от стандартных социологических опросов политико-психологические исследования не только фиксируют рациональный, когнитивный уровень восприятия, но и выявляют его неосознаваемый эмоциональный слой. Сравнение рациональных и бессознательных аспектов образов власти и лидеров в российском массовом сознании позволяет точнее прогнозировать не только декларативное, но и реальное электоральное поведение.

Ключевые слова: психологическое состояние российского общества, образы власти, образы ведущих политических лидеров, президентские выборы 2018 г.

1. Постановка проблемы

В условиях, когда политическая система страны на протяжении всего постсоветского периода находится в процессе постоянного трансформирования, широко распространенный в политологии институциональный подход не позволяет адекватно уловить и описать ее развитие. Особое значение для анализа текущего политического процесса приобретают не столько институты, сколько *психологическое измерение* политического процесса [1. С. 64–81].

Нам представляется важным понять, какие изменения происходят в обществе, так как именно эти сдвиги служат психологическим фундаментом будущего электорального поведения граждан. Анализ психологических аспектов предвыборного периода было посвящено политико-психологическое исследование, проведенное кафедрой социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова в октябре 2017 г.

2. Теоретико-методологические основания анализа политического восприятия массовым сознанием

В данной статье предпринимается попытка выявления новых трендов в психологическом состоянии массового политического сознания. Состояние массового политического сознания мы трактуем как широкий набор психологических феноменов, включающий установки, потребности, ценности, мотивацию и образы [2. С. 10–11].

В своей теоретической модели мы опирались на работы по теории политического восприятия [3]. Дж. Брунер и Л. Постмэн еще в середине XX в. пришли к выводу, что восприятие опосредовано потребностями, ожидания-

ми, мотивами и ценностями воспринимающего субъекта [4]. В современных работах в структуре политической установки принято выделять три уровня: когнитивный, эмоциональный и поведенческий [5. Р. 4–6]. Сквозь призму этих трех уровней и с использованием шкал привлекательности, силы и активности выявляются и описываются представления граждан о власти, демократии, лидерах и др. [2; 6–13].

Результатом восприятия является политический образ. Под образом мы понимаем отражение политической власти, личности лидера, политических институтов, которые они представляют, и иные феномены политики в массовом и индивидуальном сознании граждан [14. С. 12–13]. При этом на индивидуальном уровне восприятие, как правило, фокусируется на эмоциональных впечатлениях о важных политических акторах и политических событиях [15. Р. 218]. На уровне групповых политические представления и образы имеют более рациональный характер. Этот феномен получил название «микро-макро парадокса» [16. Р. 5]. Таким образом, в современной политико-психологической литературе восприятие рассматривается как на рациональном уровне, так и на бессознательном. При этом если в зарубежной политической психологии акцент делается преимущественно на проблематике процесса и факторов политического восприятия, то в фокусе внимания многих российских исследователей политические образы трактуются как итог восприятия [2. С. 5–6; 17. С. 47–48; 18. С. 83–85; 19. С. 74; 20. С. 40–41].

Соединение этих двух подходов осуществляется в рамках факторной модели политического восприятия [21. С. 14–80; 22. С. 11–78; 23. Р. 3–64]. В этой модели анализируются основные факторы влияния на восприятие политических объектов личностью (объектные, субъектные, пространственные, темпоральные, коммуникативные).

3. Характеристика исследования

Настоящее исследование образов политической власти и лидеров было проведено в конце октября 2017 г. Оно является частью многолетнего исследовательского проекта кафедры социологии и психологии политики, который был начат еще в 1993 г. и повторяется каждый год, иногда дважды в год. Поскольку мы ставили своей задачей отследить сдвиги, происходящие в массовом политическом сознании, то там, где это необходимо, мы сопоставим данные этого года с данными 2016, 2015 гг. и более ранними замерами. Полученные данные позволяют провести анализ социальных рисков и вызовов, идущих от массового сознания, этому было посвящено и исследование, проведенное в 2017 г. Его **целью** было выявление изменений в массовом политическом сознании (установках, представлениях, ценностях, образах, потребностях и мотивах) в канун выборов по сравнению с предшествующим периодом.

Предметом исследования было восприятие гражданами власти и политиков, заявивших о своем намерении участвовать в этих выборах.

Исследование носит качественно-количественный характер. Авторские **методология и методики** разработаны коллективом кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ. Так, *образы власти* изучались методом **стандартизированного интервью** для описания рационального слоя образов власти с привлечением **проективных методик** для

выявления неосознаваемых пластов восприятия [24. С. 401–402]. Для исследования образов политических лидеров мы использовали **фокусированные интервью** с применением **ассоциативного теста** [22. С. 49–70].

Выборка. По исследованию образов власти опрошено 422 человека в Москве, часть вопросов о власти дополнительно изучалась в 6 других регионах (Центральный, Сибирский, Поволжский, Уральский, Южный федеральный округа и Крым по 50 интервью в каждом (300). Получено такое же число проективных тестов. Нас в первую очередь интересовало состояние массового политического сознания в Москве и других мегаполисах, так как именно там не просто проживает изрядная часть электората, но и во многом формируются мнения общества в целом и дестабилизация ситуации в центре может оказать существенное влияние на ситуацию в стране.

В исследовании образов лидеров опрошено 434 человека в Москве и Челябинске.

Исследование нерепрезентативно для страны в целом, но сбалансировано по полу, возрасту и образованию, как это принято в качественных исследованиях. Пол и возраст: мужчины и женщины, в возрасте от 18 до 80 лет, с разбивкой на 3 возрастные группы: 18–35, 36–55, старше 55 лет. Лица с высшим образованием и без него представлены в равных долях.

Полученные результаты были проанализированы с использованием метода шкалирования и обработаны с помощью пакета SPSS.

1. Состояние массового политического сознания перед президентскими выборами 2018 г.

1.1. Важнейшие политические установки и ценности

Описание состояния массового политического сознания мы начнем с зафиксированных нами на данный момент установок, представлений и ценностей. Одной из ключевых ценностей российской политической культуры является **справедливость**, которая на протяжении всего постсоветского периода определяет политический дискурс нашего общества. В силу того, что ценностная система общества отличается определенной ригидностью, вполне понятно, что **представления граждан о справедливости** в последние годы изменялись незначительно (образ власти в динамике (Москва) см. на рис. 1).

1. Считаете ли Вы справедливым, когда... (возможно несколько вариантов ответа), %					
Варианты ответов	2010	2013	2014	2016	2017
1.1. Немногие владеют большим богатством, а подавляющее большинство пребывает в бедности?	72	75,2	87,3	71,9	68,2
1.2. Закон строго не наказывает тех, кто угрожает Вашей жизни?	83	84,7	83,6	84,8	84,4
1.3. Государство перестало заботиться о престарелых, больных и детях	83	86,3	92,7	90,4	84,4
1.4. Что меньшинство управляет большинством	40	36,8	47,3	39,4	37,4

Рис. 1

Прежде всего, бросается в глаза, что меньше всего на настоящий момент население раздражает то, что меньшинство управляет большинством (всего 37,4% считают это несправедливым). Этот вид социального неравенства видится как естественный. Куда более негативно воспринимаются несправедливость судебной системы (закон не наказывает строго тех, кто угрожает

жизни граждан) и несправедливость в отношении престарелых, больных и детей, хотя последний пункт за последний год стал вызывать чуть меньше нареканий.

Следует отметить, что упреки в адрес судебной системы тем более значимы, что **закону готовы подчиняться** все больше граждан: в 2017 г. почти на 10% больше, чем в 2010 г. В то же время опасным трендом можно считать снижение авторитета **государства** в глазах людей в сравнении с 2014 г., когда этот авторитет стал для общества весьма значимым.

Если парламентские выборы 2016 г., которые по всем оценкам были довольно вялыми, все-таки смогли подогреть **политический интерес**, то куда более важные для страны президентские выборы пока не мобилизовали общество, политический интерес, как показывает рис. 2, даже снизился по ряду позиций. В то же время число людей, которые мало следят за политикой, стало больше.

Интересуетесь ли Вы политикой в настоящее время?, %					
Варианты ответов	2010	2013	2014	2016	2017
Очень интересуюсь	14	–	–	17,5	15,2
Слежу за всеми политическими событиями	25	–	–	26,8	27
Имею общее представление, но детали пропускаю	38	–	–	36,4	35,5
Мало слежу	16	–	–	11,9	17,8
Не интересуюсь совсем	7	–	–	7,4	4,5
Другое	0	–	–	0	0
Нет ответа	0	–	–	0	0

Рис. 2

Еще более важным параметром для прогноза электорального поведения на следующих выборах служат ответы на прямой вопрос о **готовности принять участие** в разных формах политического поведения (рис. 3).

Готовы ли Вы лично принять участие ... ? (возможно несколько вариантов ответа), %					
Варианты ответов	2010	2013	2014	2016	2017
в выборах как избиратель	59	80,8	83,6	68,9	63,7
в митинге поддержку той или иной политической партии или движения	13	22	27,3	19,9	20,4
в забастовке	10	15,7	23,6	10,9	9,2
в выборах как кандидат в депутаты того или иного уровня власти	6	13,2	21,8	15,6	8,1
ни в чем	11	9,9	0	15,9	21,8
затрудняюсь ответить	3	1,5	5,5	6,6	6,9

Рис. 3

Обращает на себя внимание то, что с 2016 г. снизилось число готовых участвовать в выборах и в роли избирателей (более чем на 5%), и в роли кандидатов в депутаты разного уровня (около 8%). Эти данные можно рассматривать не только как проявление безразличия к политической жизни страны (почти 22% опрошенных не хотят участвовать в политике ни в какой форме), но и как снижение привлекательности всех форм власти. Можно подтвердить вывод, который мы сделали год назад, что парламентские выборы 2016 г. были настолько неинтересными для граждан, что это привело к электоральной демобилизации населения.

Представления граждан о **влиятельности отдельных политических институтов** также изменялись в последнее время (рис. 4).

Кто, по Вашему мнению, обладает наибольшей властью в сегодняшней России? (Выберите несколько вариантов ответа), %					
Варианты ответов	2010	2013	2014	2016	2017
Президент	24	92	96,4	91,7	94,3
Премьер-министр	26	30	23,6	16,9	17,1
Администрация Президента	6	25	52,7	22,8	23,5
Государственная Дума	5	20	9,1	18,5	33,6
Совет Федерации	2	9	9,1	9,3	13,5
Правительство РФ	6	18	32,7	21,5	24,9
Силловые структуры (ФСБ, МВД и др.)	14	51	54,5	59,6	52,8
Губернатор	3	13	16,4	8,9	8,1
Местная, муниципальная власть	3	7	1,8	6,6	10
Суд	3	15	12,7	14,2	12,3
Прокуратора	3	18	5,5	16,2	11,8
Армия	1	7	5,5	22,2	17,3
Политические партии	5	14	5,5	11,6	13,7

Рис. 4

Сравнение с прошлыми годами показало, что самым влиятельным институтом остается для граждан институт президентства, который назвали 94,3% опрошенных. Примечательно, что в отличие от обобщенного образа власти, который вызывает у граждан серьезные нарекания, многие конкретные институты и ветви власти **повысили свой вес**. Впервые за многие годы поднялись в глазах общества Государственная Дума и Совет Федерации, политические партии. Такая же тенденция отмечена и в образах Администрации Президента и местной власти. Это особенно любопытно в отношении позиции премьера, который, несмотря на нападки оппозиции, не снизил свой вес, а, напротив, усилил его. В целом и законодательная и исполнительная ветви власти показали свою значимость в глазах общества. Есть лишь одно исключение – *губернаторы*. Исследование проходило в период, когда произошла массовая отставка старых и назначение и.о. новых губернаторов. Эта тенденция, которая наблюдается уже несколько лет, требует дополнительного изучения. Но можно предположить, что смена власти в регионах воспринимается с определенной тревогой и трактуется как ослабление региональной власти и усиление центра.

Другим трендом на **уменьшение влияния** является снижение роли всех силовых структур, включая армию, что удивительно на фоне успехов в Сирии. Дополняют этот список суд и прокуратура, которые и раньше не были в начале списка влиятельных институтов, но сейчас ослабление всей судебной власти показывает еще больший, чем раньше, перекос ветвей власти.

Хотя доверие к политическим партиям и не очень велико (всего 13,7%), партийно-политические пристрастия после парламентских выборов поменялись: одни партии от этих сдвигов оказались в выигрыше, а другие проиграли. Эти изменения были неравномерными. С одной стороны, наблюдается некоторое снижение радикальных (с 2,6 до 1,4%) взглядов, что можно понять как уход от политических крайностей. Но одновременно наблюдается рост числа сторонников анархизма. Привлекательность практически всех политических ориентаций, как левых (социалисты и коммунисты), так и правых (консерваторы и либералы), снизилась. Это говорит о росте политической апатии и стремлении отстраниться от любой идеологии. Сторонники демократии прочно занимают первое место и практически не изменились в численном выражении. Другим интересным трендом, характерным для Москвы

и других мегаполисов, является тот факт, что, несмотря на продолжающееся с 2014 г. снижение числа сторонников либеральных взглядов, они остаются второй по численности политической идеологией (рис. 5).

Как бы Вы определили свои политические предпочтения? (Возможно больше одного ответа), %					
Варианты ответов	2010	2013	2014	2016	2017
Либерал	17	20,4	23,6	18,9	16,8
Социалист	10	9,7	18,2	12,9	7,1
Анархист	3	1,4	7,3	3,6	5
Демократ	33	30,4	20	24,8	24,4
Радикал	3	1,3	0	2,6	1,4
Консерватор	10	10,2	18,2	18,5	16,4
Коммунист	7	7,2	5,5	8,9	6,6
Аполитичный	16	14,8	9,1	16,2	14,5
Другое	2	5,7	23,6	7,3	7,8

Рис. 5

По **ценностным параметрам** восприятие политики за прошедший год существенно не поменялось. Лидируют такие ценности, как *свобода* и *права человека*. За ними следует *сильное государство*. Очевидно, что третий ранг сильного государства связан с внешнеполитической ситуацией и угрозами национальной безопасности страны. Удивительно другое, что эта ценность в намного более напряженной ситуации 2014 г. была ниже, чем сейчас. Стоит обратить внимание и на запрос на *ответственность* как демократическую ценность, что говорит о росте гражданской зрелости общества. Сохранила свой ранг ценность *активизма*, хотя в числовом выражении и стала ниже (рис. 6).

Ценностный параметр	2016, %	Ранг	2017, %	Ранг
Свобода	20,2	2	21,1	1
Равенство	7,5	6	10,2	4
Права человека	20,9	1	20,7	2
Личная независимость	5	8	5,5	6
Ответственность	8,9	5	10,2	4
Соблюдение законов	15,2	3	9,5	5
Активное участие в управлении государством	13,6	4	10,2	4
Сильное государство	6,6	7	12,6	3
Другое	2,1		0	

Рис. 6

Как видим, сдвиги незначительные, но они есть. Особенно важен высокий ранг ценности активизма, который пока не актуализирован на поведенческом уровне. Но мы наблюдали такое же явление в 2010 г., когда через год после роста этого параметра в нашем исследовании люди вышли на Болотную площадь. В данный момент мы не фиксируем подобного резкого всплеска, но в латентной форме он существует и на него необходимо обратить внимание.

1.2. Образы власти

Первая тенденция, которую выявило проведенное исследование, касается привлекательности власти: за последний год снизились и положительные и отрицательные оценки власти гражданами (последние больше). А безразличие к политике, напротив, существенно усилилось, хотя и год назад оно нами было зафиксировано [13] (рис. 7). Такая политическая апатия, демобилизованность общества в ситуации серьезных угроз нашей стране извне и

попытках несистемной оппозиции раскачать стабильность изнутри вызывает тревогу, так как может обернуться низкой явкой на президентских выборах и в целом неготовностью к резким поворотам.

Отношение к политике, %	2010	2016	2017
Положительное	24	30,8	28,9
Отрицательное	32	30,8	24,2
Безразличное	24	16,9	25,4
Затрудняюсь ответить	20	21,5	21,5

Рис. 7

Вторым новым трендом стала тенденция к росту персонификации образов власти в лице лидеров, личностей. Если с 2010 по 2016 г. эта тенденция угасала, то с 2016 по 2017 г. число персонифицированных образов власти возросло с 14,6 до 21,6% при одновременном снижении образов, связанных с партиями и группами и режимом (абстрактными представлениями). Можно предположить, что начавшееся было привыкание к сложившейся партийной системе и рационализация политического процесса в обществе уступили место более глубокому, «архетипическим» представлениям о власти как о власти конкретных лидеров (рис. 8).

Образ власти, %	2010	2012	2013	2016	2017
Партии, группы	2,7	5,4	5,9	19	15,6
Лидеры, личности	12,9	25,6	7,3	14,6	21,6
Режим / абстрактные представления	84,4	63,6	75,6	60,4	59,5
Нет ответа	0	5,4	11,2	6	3,3

Рис. 8

Третья особенность также носит психологический характер. За теми или иными образами власти всегда стоят определенные нереализованные потребности людей, о которых писал еще А. Маслоу. Так, при всех экономических трудностях и реальном обеднении населения в настоящее время не материальные потребности определяют отношение к власти (рис. 9). Они стоят лишь на третьем месте после потребности в самореализации и потребности в безопасности.

Потребности, %	2010	2012	2013	2016	2017
Материальные потребности	6	16,3	3	16,3	13,3
Безопасность	30	19,2	32,7	7,3	17,1
Любовь	3	3,9	0,7	2,6	4,3
Самореализация	27	12,8	38,5	2,3	18,5
Самоактуализация	5	5,9	11,7	7	11,4
Другое	29	36,5	2,2	58,5	32,1
Нет ответа	0	5,4	11,2	6	3,3

Рис. 9

Потребность в безопасности давно занимает важное место в нашем обществе. Последний год это было связано с неблагоприятным внешнеполитическим климатом, со страхами внешней угрозы.

Необычно выглядит вышедшая на первый план потребность в самореализации, которая свидетельствует о недостаточности социальных лифтов и невозможности для многих профессионального роста. Высокие значения

высших потребностей – самореализации и самоактуализации – означают, что грядущая президентская кампания должна дать людям серьезную перспективу развития страны, а не сводиться к конкретным обещаниям повысить зарплату или пенсию.

Более благоприятна для власти тенденция к заметному снижению в образах власти потребности в любви. Наше общество научилось решать свои проблемы без помощи власти и уже намного меньше ждет от нее помощи и поддержки.

В-четвертых, содержательное наполнение образов власти показывает те ожидания к ней, которые на данный момент артикулированы в обществе.

Прежде всего получил дополнительное подтверждение отмеченный выше тренд к персонификации власти. Почти для четверти наших респондентов власть – это в первую очередь президент Путин. Очевидно, все остальные субъекты власти (министры, депутаты, губернаторы) с ней не очень ассоциируются, что опрошенные связывают с их неэффективностью.

С 2016 г. произошел значительный скачок в оценке власти как **неэффективной**. Это уже бывало и ранее, как видно из рис. 10. Но следует подчеркнуть важность не столько абсолютных цифр, сколько самого тренда к росту параметра эффективности: и со знаком плюс, и со знаком минус. Для граждан эта тема вышла на первый план. Она обошла и тему коррупции, и тему влияния олигархии, и отсутствия порядка, и управленческого хаоса, от которого страна давно устала. В то же время запрос на стабильность, который был столь высок в 1990-е и 2000-е, практически сошел на нет. Правда, при этом и тема изменений, развития не заняла его место. Прошедшее празднование 100-летия революции показало, что если тема революции очень значима для власти, то население от этой идеи пока далеко и такого запроса в обществе в целом нет.

Содержательная характеристика, %	2010	2013	2016	2017
Коррупция		9,8	10	5
Авторитарное, тоталитарное, диктаторское	13,6	2,2	9,6	6,6
Демократия	2,9	2,1	4,6	1,7
Олигархия, власть группы		11,7	15,3	11,8
Эффективная, положительная	7,9	11,2	3,3	5,7
Неэффективная	16,3	19,8	1,3	14
Стабильность		6,6	4	0,7
Застой, стагнации		4,5	1	2,6
Беспредел, хаос	8,2	6,9	1	9,7
Путин			3,6	10,9
Президент			10,2	12,6
Управление людьми			1,3	3,1
Другое		20	0	12,3

Рис. 10

В-пятых, смысловое наполнение представлений о власти связано с параметрами силы и активности. В образах реальной власти эти параметры в 2017 г. оказались существенно выше, чем год назад, что объясняется в первую очередь демонстрацией реальных успехов страны и в военном деле, и в гражданской сфере. Но упреки в слабости также весьма часто встречаются в ответах респондентов. Опрошенные отмечают активность власти, хотя часть из них упрекает власть в пассивности (рис. 11).

Сила и активность власти, %					
Оценка силы	2010	2012	2013	2016	2017
Сильный	13	9,9	30,8	18,3	34,2
Слабый	7	20,7	48,8	4,3	27,7
Нейтральный	80	64	9,2	71,4	34,8
Нет ответа	0	5,4	11,2	6	3,3
Оценка активности	2010	2012	2013	2016	2017
Активный	17	14,3	16,3	14,3	43,6
Пассивный	6	7,4	3,1	2,6	10,9
Нейтральный	77	72,9	69,4	77,1	42,2
Нет ответа	0	5,4	11,2	6	3,3

Рис. 11

В-шестых, в отличие от *реальной* власти власть *идеальная* выглядит намного привлекательнее: 49,3% со знаком плюс против 9,2% со знаком минус. Здесь мы тоже наблюдаем снижение обоих типов оценок, что можно понять как снижение интереса к власти и политике.

Идеальный образ намного менее персонифицирован. Запрос на силу в образе идеальной власти снизился на 7%, а на активность, напротив, возрос. Активность власти находится в центре внимания граждан, о чем свидетельствуют и позитивные и негативные оценки. Опрошенные считают, что власть должна «ловить мышей».

2. Образы лидеров

Парламентские выборы привели к тому, что образы всех политиков, включая В.В. Путина, стали меньше интересовать публику. Посмотрим, как изменил прошедший год восприятие конкретных политических лидеров. Для сравнения мы выбрали две группы политиков: во-первых, постоянных участников президентских выборов: Путина, Зюганова, Жириновского, Явлинского. Во-вторых, новых действующих лиц, которые либо сами заявили о желании участвовать в гонке (Собчак, Навальный, Гудков), либо о такой возможности говорят в СМИ (Володин, Дюмин, Поклонская). Как видим, в этот список попали и лояльные власти люди, и представители несистемной оппозиции. И вне зависимости от того, кто из перечисленных деятелей примет участие в выборах, их обсуждают в обществе, их образы являются важным индикатором состояния массового сознания накануне выборов. Нам важно понять, по каким критериям их оценивают граждане, что для них представляет ценность и вызывает интерес в преддверии выборов.

Оценка восприятия политиков проводилась нами на основании данных, полученных в качественном политико-психологическом исследовании, которое позволяет не только описать рациональный пласт образов, но и выявить неосознаваемые реакции граждан. Начнем с *рациональных* оценок всех 10 политиков. Ряд политиков из списка 2017 г. не были объектом исследования в 2016 г.

Узнаваемость является важным психологическим параметром восприятия (рис. 12).

Так, обращает на себя внимание снижение узнаваемости двух таких давних участников политической сцены, как Зюганов и Явлинский. Смена поколений избирателей является первым объяснением этого тренда. И это поколение, которое черпает информацию не столько из традиционных СМИ, сколько из Интернета, где оно намного реже, чем в традиционных СМИ, ви-

дит образы Зюганова и Явлинского. Вторым объяснением является безусловное снижение публичной активности этих двух политиков. Столь же давно представленный в политике Жириновский сохраняет абсолютную узнаваемость за счет активного присутствия в медийном пространстве.

Узнаете ли Вы этого человека?	2016	2017
Путин	100	100
Зюганов	95,2	91,7
Жириновский	100	100
Володин	–	36,9
Явлинский	88,7	73
Гудков	–	48,7
Навальный	57,4	81,9
Дюмин	–	22,8
Поклонская	–	82
Собчак	–	97,5

Рис. 12

Именно коммуникативный фактор серьезно влияет на восприятие столь разных в политическом отношении политиков, как Навальный, Поклонская, Собчак. Их узнаваемость приближается к узнаваемости первого лица государства за счет активного присутствия в Интернете. По сравнению с ними спикер ГД Володин и губернатор Дюмин имеют куда меньшую узнаваемость, несмотря на то, что их аппаратные возможности несравнимо больше, чем у оппозиционеров, которые традиционно жалуются на дискриминацию и недопредставленность в СМИ. Здесь напрашивается вывод, что в современной российской политике прочно заняли свое место новые каналы политической коммуникации, с одной стороны, с другой – пришло новое поколение избирателей, которые ориентируются прежде всего на эти каналы, игнорируя или мало используя традиционные СМИ. Эта ситуация накануне президентских выборов приобрела четкие очертания даже по сравнению с парламентскими выборами. Приведенные данные отчетливо показывают, что представители оппозиции чаще опережают представителей власти в умении пользоваться новыми формами коммуникации, если судить по их узнаваемости.

Политические взгляды политиков. В течение всего постсоветского периода убеждения и политические взгляды российских политиков были загадкой для избирателей. Да и сегодня число тех, кто не понимает взгляды даже старожилов вроде Явлинского или Жириновского, не говоря уже о новичках типа Дюмина, Гудкова или Собчак, достаточно велико (рис. 13).

Одобрите ли Вы политические взгляды этого человека? Октябрь 2017, %					
Политики	Да	Нет	Частично	Не знаю его взглядов	Нет ответа
Путин	56,5	12,2	28,6	2,7	0
Зюганов	16,7	48,5	17,4	15,3	2,1
Жириновский	20,5	46,6	25,3	7,5	0
Володин	25,6	34,4	0,6	20	19,4
Явлинский	24,4	31,5	17,1	27	0
Гудков	13,9	36,5	9,6	39,1	0,9
Навальный	12,8	57,8	12,1	14,7	2,6
Дюмин	31,6	27,2	3,2	38	0
Поклонская	28,1	48,5	7,2	16,2	0
Собчак	0	62,5	5	30	2,5

Рис. 13

Число респондентов, которые одобряют политические взгляды В.В. Путина, достаточно велико. Своего максимума этот параметр достиг в памятном 2014 г. сразу после присоединения Крыма (71,1%). Но еще более важно, что накануне нынешних президентских выборов одобрение политических взглядов президента существенно выше (56,5%), чем накануне выборов 2012 г. (38%). Обращает на себя внимание то, что узнаваемость политика не гарантирует его одобрения публикой. Примером этого служит, прежде всего, восприятие К. Собчак, узнаваемость которой почти 100%, а одобрение – 0. С другой стороны, такие плохо узнаваемые политики, как В. Володин и А. Дюмин, тем не менее имеют весьма неплохие показатели по одобрению их политических взглядов.

Привлекательность/непривлекательность того или иного политика на рациональном уровне измерялась по нескольким шкалам: *внешность, психологические, моральные, профессиональные, деловые, политические характеристики*. Кроме того, мы выделили группы таких респондентов, которым в политиках нравится все или ничего, что позволяет определить безусловных сторонников и противников каждого лидера. Здесь самым интересным из политиков является Путин, у которого эти группы практически равны (8,8% тех, кто в нем ничего не приемлет, и 8,2% чистых сторонников). *Внешность*, как наиболее выпуклая черта, отличает образы Дюмина (и со знаком плюс, и со знаком минус), Поклонской (+), Жириновского и Володина. Для президента Путина этот параметр относится к наименее выраженным в его образе и для сторонников, и для противников.

Психологические характеристики (такие как ум, твердость, прямолинейность, воля и т.п.) более всего выделяются в образах Путина, Жириновского и Поклонской со знаком плюс и в образах Собчак, Володина и Навального со знаком минус.

Профессиональные, политические и деловые характеристики отмечают у Путина и его сторонники (74,1%), и противники (56,5%). Чемпионами по непрофессионализму в политике стали новичок Ксения Собчак (70%) и, как ни странно, опытный Зюганов (63,2%).

Как видим, у каждого политика есть свои инструменты воздействия на публику. Путин «берет» профессиональными и психологическими характеристиками, Поклонская – моральными качествами и внешностью, Дюмин и Володин – внешностью и деловитостью, Жириновский – ораторскими данными. То есть тот или иной тип характеристик является доминантой образа (и со знаком плюс, и со знаком минус): политические и деловые качества у Путина, внешность у Дюмина и Володина. Загадкой остается, как избиратели будут выбирать между волевым и красивым, умным и порядочным. Возможно, они пойдут от противного, отсеяв тех, кто им неприятен. Но скорее всего наряду с привлекательностью они примут во внимание и иные параметры образов, такие как сила и активность.

Сила/слабость и активность/пассивность. Наряду с привлекательностью сила и активность являются неперенными атрибутами образов политиков. При этом мы измеряли образы по шкалам-континуумам, где наряду с позитивным полюсом присутствовали и негативные оценки этих качеств. Так же, как и с привлекательностью, у ряда политиков параметры силы и слабости являются выпуклыми и в позитивном, и в негативном спектрах их

образов. Так, в образе Путина активность является доминантой. Она нравится 53,1% и не нравится 19,7% опрошенных. Среди наиболее частых упреков президенту выделяется противоположное качество – пассивность (37,4%). То же относится и к силе. Он воспринимается как самый сильный политик (37,4%), но и упреки в слабости звучат от 36,1% респондентов. При этом самым слабым, по оценке наших респондентов, является Явлинский, а пассивность больше всего не устраивает в образе Путина. Мы давно заметили, что активность может быть как преимуществом политика, так и вызывать у граждан недовольство. Для Жириновского она является просто его фирменным знаком и вызывает противоположные чувства в равной степени, как и у Поклонской. А вот Собчак респонденты воспринимают однозначно негативно во многом благодаря ее гиперактивности. Одним из возможных объяснений является широко распространенный гендерный стереотип о «неправильности» активного поведения для женщины.

Мотивы власти. У граждан есть свои «теории» относительно того, зачем политики идут во власть. И независимо от того, насколько приписываемые им мотивы соответствуют действительности, этот параметр играет важную роль в восприятии политиков обществом. Анализ всего множества ответов на этот открытый вопрос позволил нам сгруппировать их в несколько категорий: власть ради власти, власть ради денег, амбиции, власть для дела и власть этому человеку и не нужна (марионетка) (рис. 14).

Зачем, как вы думаете, этому человеку нужна власть? (возможно несколько вариантов ответа), %						
Политики	Власть нужна ради власти	Власть нужна ради денег	Власть нужна ради амбиций	Власть нужна, чтобы делать дело	Власть не нужна	Другое
Путин	38,1	6,8	12,9	53,7	4,1	6,8
Зюганов	24,3	11,1	17,4	37,5	12,5	3,5
Жириновский	19,9	13	23,3	31,5	15,1	13
Володин	23,1	35,6	35	7,5	0	8,1
Явлинский	27	23,4	22,5	33,3	7,2	3,6
Гудков	37,4	33,9	40,9	27	2,6	2,6
Навальный	31,9	34,5	31,9	33,6	12,1	9,5
Дюмин	16,5	31,6	38,6	28,5	5,7	3,8
Поклонская	13,8	12	46,1	31,1	10,2	9
Собчак	10	15	30	20	27,5	20

Рис. 14

Власть ради власти опрошенные приписывают не только находящемуся у власти президенту, но и двум оппозиционным политикам – Гудкову и Навальному. Они полагают, что меркантильными мотивами руководствуются и Володин, и Гудков, и Навальный, и Дюмин, и Явлинский. Следует отметить, что на протяжении всего периода наблюдений с 1993 г. большинству российских политиков опрошенные приписывают этот тип мотивов просто потому, что считается, что политика – это грязное дело. Так что это вполне вписывается в расхожие стереотипы. А вот мотив «власть ради дела» отмечалась опрошенными в предыдущие годы значительно реже. Кроме Путина возникла когда-то фигура Лужкова, вот и весь список. Начиная с 2016 г. мы видим удивительный рост этого мотива применительно к самым разным политикам: и системной, и несистемной оппозиции, и людям во власти. Видимо, гражданам очень хочется верить, что в политику пришли люди, готовые взять власть не ради денег, амбиций или банального властолюбия, а для того,

чтобы помочь народу. Этот запрос четко сформировался и требует определенного поведения от политиков. В этом отношении образ Путина максимально приближается к ожиданиям граждан. В настоящий момент данный показатель достиг своего максимума за все годы наших наблюдений (53,7%).

Поведенческие установки респондентов. Наиболее важный поведенческий компонент установки замерялся вопросом, который обычно задают социологи: «Если этот человек будет баллотироваться на пост Президента, будете ли вы за него голосовать?» (рис. 15).

Если этот человек будет баллотироваться на пост Президента России, будете ли Вы за него голосовать?, %					
Политики	Да	Нет	Не знаю / нет ответа	Не пойду на выборы	Нет ответа
Путин	63,9	18,4	15	2,7	0
Зюганов	5,6	86,7	6,3	1,4	0
Жириновский	7,5	87,7	4,1	0,7	0
Володин	12,5	75	11,9	0,6	0
Явлинский	12,6	73,9	9	4,5	0
Гудков	9,6	73	12,2	3,5	1,7
Навальный	14,7	70,7	9,4	5,2	0
Дюмин	17,1	67,7	14,6	0,6	0
Поклонская	11,4	81,4	7,2	0	0
Собчак	5	77,5	12,5	2,5	2,5

Рис. 15

В приведенных выше данных обращает на себя внимание несколько моментов. Во-первых, очень высокий уровень поддержки президента, если он пойдет на новый срок. Этот уровень значительно выше того, который был в 2012 г. (31,9%).

Во-вторых, низкие цифры нежелания идти на выборы (на уровне декларации). У разных политиков эти цифры отличаются, отражая настроения именно их электоратов. Так, больше всего сторонников Навального, Явлинского, Гудкова не собираются голосовать.

В-третьих, любопытная деталь касается неопределившихся. Как ни странно, к ним относятся прежде всего сторонники Путина. Казалось бы, он давно на политической сцене и с отношением к нему можно бы и определиться. Но выясняется, что 15% опрошенных пока не решили, будут ли они его поддерживать. Это можно объяснить только тем, что Путин очень долго уходил от объявления своих намерений и его электорат до конца не отобилизован. Хотя, если посмотреть на динамику по этому вопросу, то мы увидим, что его поддержка сейчас выше, чем год назад, хотя и несколько ниже, чем в 2014 г. (рис. 16).

Если этот человек будет баллотироваться на пост президента России, будете ли Вы за него голосовать? (Да), %						
	2011	2012	2013	2014	2016	2017
Путин	54,0	31,9	23,9	68,0	58,1	63,9

Рис. 16

Неосознаваемые компоненты восприятия политиков. Наши исследования показывают, что далеко не все, что чувствуют граждане, они могут и хотят озвучить интервьюерам. Поэтому их неосознаваемые реакции представляют для нас особый интерес. Мы их замеряли посредством ряда ассоци-

аций, которые затем кодировали и шкалировали по параметрам привлекательности, силы и активности.

Наиболее высокий уровень неосознаваемой **привлекательности** был выявлен в образах Поклонской (68,9%), Путина (68%) и Володина (65,3%). У последнего, правда, и уровень непривлекательности весьма высок (42,5%). Высокие значения привлекательности показали и образы Володина, Явлинского и Гудкова. В то же время непривлекательными показались нашим респондентам Жириновский, Зюганов и Навальный. Эти противоречия в процессе восприятия во многом связаны и с глубиной восприятия, и с тем, что наши методики фиксируют не политические, а чисто личностные характеристики образов.

Второй параметр неосознаваемых образов – **сила**. Здесь мы тоже получили весьма нетривиальные результаты. Ожидаемо, что самым сильным из всех политиков видится респондентам президент (70,1%) Производит впечатление силы и губернатор Дюмин (55,1%). Но вот третье место Собчак (55%) объяснить гораздо сложнее. Скорее всего, оценивались ее физические данные. В то же время масштаб личности у этих трех политиков оценивается весьма по-разному. Если Путин и Дюмин воспринимаются как крупные персоны, то Собчак скорее, как средняя по масштабу личности. Самым мелким из всех воспринимается Гудков.

На неосознаваемом уровне **активность** выглядит отлично от рациональных оценок. Активность и даже агрессивность рассматривается нашими респондентами для политиков исключительно как аргумент в их пользу. Наиболее активными опрошенным видятся Путин, Дюмин, Жириновский. Наименее активны, с их точки зрения, Собчак, Зюганов, Гудков, Володин. Как видим, в образах Поклонской и Собчак на неосознаваемом уровне не работают те гендерные стереотипы, которые нами выявлены на рациональном уровне: обе дамы не воспринимаются как активные (агрессивные). Более того, образ Поклонской воспринимается неосознанно как самый женственный.

Неосознаваемые оценки *лидерского потенциала* политиков показали, что Путин по-прежнему находится на недостижимой для соперников позиции: 36,7% воспринимают его как «природного» лидера. Самый близкий к нему Дюмин имеет лишь 17,7%. Как показали ассоциативные тесты, в образах Путина, Поклонской и Навального сильны характеристики *самостоятельности*. А вот Зюганов, Жириновский, Гудков и Навальный кажутся опрошенным не просто несамостоятельными, а играют роль чьих-то «слуг». На неосознаваемом уровне респонденты угадывают скрытый *меркантилизм* в образах Поклонской, Володина, Навального и Собчак. Причем в образе Собчак на бессознательном уровне – это наиболее выпуклая характеристика, по которой она опережает всех возможных кандидатов в президенты. Среди ассоциаций есть одна, наиболее опасная для политика, – это образ «жертвы», и она встречается прежде всего в образе Поклонской. Столь же неблагоприятно неосознаваемое восприятие и для Зюганова, у которого ранее эта ассоциация отсутствовала.

3. Выводы

Если посмотреть на описанные выше результаты, то можно выделить две составляющие. Во-первых, это определенные содержательные моменты, которые можно выявить в представлениях, ценностях, образах, потребностях и

мотивах воспринимающих, а во-вторых, это сама политическая «оптика», показывающая изменения, происходящие в характере восприятия политики, власти, лидеров. Оба эти ракурса важны для оценки того, как состояние общества может повлиять на электоральное поведение.

Начнем с содержательных аспектов восприятия.

Первый тренд, который следует отметить, касается восприятия власти в ее различных проявлениях (ветви, институты, формы и уровни власти). Наша политическая культура справедливо описывается как государствоцентрическая. На протяжении всего постсоветского периода, при всей критичности населения в адрес чиновников, образы государства имели исключительно позитивный характер и высокий авторитет. В последний год наметились некоторые позитивные сдвиги в восприятии политических партий, законодательной власти, президента, правительства. Однако сложились и негативные тенденции. Опрошенные стали чаще замечать, что государство «перестало заботиться о престарелых, больных и детях», что «закон строго не наказывает тех, кто угрожает жизни людей». Снизилось, хотя и незначительно, число тех, кто готов подчиняться государству. Одновременно опрошенные приписывают судам и прокуратуре снижение влияния в обществе. Все эти тенденции говорят об определенном снижении авторитета государства.

Второй вывод касается общего психологического состояния массового политического сознания. Налицо признаки демобилизации, политической апатии, что выражается в падении интереса к политике, снижении готовности участвовать в разных формах электорального поведения (в частности, и избирать, и быть избранными). В то же время несколько возросло желание участвовать в митингах. Накануне президентских выборов такое состояние общества можно назвать фактором риска. Сравнение данных октября 2017 с данными, полученными после парламентских выборов 2016 г., позволяет предположить, что тенденция, сложившаяся тогда под влиянием вялой избирательной кампании, продолжает влиять на общество и до сих пор.

Третий вывод. Ценностные параметры не меняются столь быстро, как настроения. Как и раньше, важными для граждан остаются ценности свободы и прав человека, следом за которыми идет ценность сильного государства. Если первые две ценности входят в либеральный набор, то третья – явно ему противоречит. Формирование систем политических ценностей в форме идеологий довольно сложно идет в течение всех постсоветских лет. Говорить о целостных и непротиворечивых идеологических системах сегодня явно преждевременно. Но наши данные показывают, что события последних трех лет привели к формированию в обществе определенного расклада политических сил, который характеризуется, с одной стороны, стабильным идеологическим «центром» в лице «демократов» и «консерваторов», а с другой – сохранением в крупных мегаполисах довольно серьезных либеральных настроений, которые хотя и снизились за последние годы, но не так сильно, как снизилась доля социалистов и коммунистов. Здесь важно, что радикальные взгляды в целом практически сошли на нет.

Четвертый вывод. Запросы, которые на сегодняшний день сформировались в обществе по отношению к власти, изменились по сравнению с предыдущим электоральным циклом. Если в 2012 г. основными требованиями к власти были наведение порядка, сохранение стабильности, борьба с коррупцией

и олигархами, то сейчас первое место среди социальных запросов занимает требование эффективности власти, ее профессионализма. Это подтверждается и нашими данными относительно запросов на определенный тип политика, от которого ждут, прежде всего, не только внешней привлекательности, силы, красноречия или личной незапятнанности в коррупционных скандалах, но и профессионализма, заботы о людях и внятной политической стратегии.

Литература

1. Лапкин В.В., Семенов И.С. «Человек политический» перед вызовами «infomodernity» // Полис. Политические исследования. 2013. № 6. С. 64–81.

2. Шестопал Е.Б. Психологические особенности российских политических элит и рядовых граждан // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. 2015. Т. 11, № 3. С. 5–15.

3. Bruner J., Postman L. Perception Cognition and Behavior – Journal of Personality. 1949. Vol. 18, № 1. P. 14–31.

4. Bruner J., Jerome S., Goodman C. Value and Need as Organizing Factors in Perception // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1947. Vol. 42, № 1. P. 33–44.

5. Zebrowitz L. Social Perception (Mapping Social Psychology). Buckingham: Open University Press, 1990. 240 p.

6. Fiske S., Neuberg S. A Continuum of Impression Formation, from Category-based to Individuating Processes: Influences of Information and Motivation on Attention and Interpretation // Advances in experimental social psychology / ed. M.P. Zanna. New York: Academic Press, 1990. Vol. 23. P. 1–74.

7. Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 1990-х: Теоретические и прикладные проблемы политической психологии. М.: РОССПЭН, 2000. 431 с.

8. Шестопал Е.Б., Нестерова С.В., Букреева О.В., Смутькина Н.В., Затонских А.В., Титов В.В. Образ кандидатов в президенты 2012 в массовом сознании // Власть. 2012. № 3. С. 186–190.

9. Шестопал Е.Б. Изменения в восприятии гражданами политиков после выборов 2012 г. в России // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2013. № 3 (23). С. 7–13.

10. Палтай И.С., Шестопал Е.Б. Психологические особенности восприятия политических партий в современной России // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2014. № 4. С. 28–51.

11. Шестопал Е.Б. Политическая психология: элиты, массы и образ России // Мы и мир. Психологическая газета. 2015. № 10 (230). С. 1–3.

12. Шестопал Е.Б. Восприятие В.В. Путина российскими гражданами: 15 лет пребывания во власти // Полис. Политические исследования. 2015. № 6. С. 68–80.

13. Шестопал Е.Б., Зверев А.Л., Нестерова С.В., Смутькина Н.В. Психологическое состояние массового политического сознания российских граждан после выборов в Государственную Думу РФ 2016 г. // Политическая наука. 2016. Специальный выпуск. С. 127–148.

14. Шестопал Е.Б. Образ и имидж в политическом восприятии: актуальные проблемы исследования // Образы государств, наций и лидеров / под ред. Е.Б. Шестопал. М.: Аспект Пресс, 2008. С. 8–24.

15. De Landtsheer C., De Vries Ph., Vertessen D. Political Impression Management: How Metaphors, Sound Bites, Appearance Effectiveness, and Personality Traits Can Win Elections // Journal of Political Marketing. 2008. Vol. 7, № 3–4. P. 217–238.

16. Parker-Stephen E. Political Perception and the Micro-Macro Paradox [Electronic resource] Paper presented at the annual meeting of the Midwest Political Science Association. 35 p. Electronic data. Chicago, Illinois., 2004. URL: http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/8/2/5/7/pages82571/p82571-5.php (access date: 08.01.2016).

17. Пицеева Т.Н. Политические образы: проблемы исследования и интерпретации // Полис. Политические исследования. 2011. № 2. С. 47–52.

18. Палтай И.С., Затонских А.В. Особенности восприятия современных российских политических партий // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2012. № 2. С. 83–95.

19. Букреева О.В. Сравнительный анализ рационального и бессознательного компонентов образов власти в современной России: дис. ... канд. полит. наук. М., 2013. 154 с

20. Зверев А.Л., Палитай И.С., Rogozar' A.И., Смутькина Н.В. Особенности политического восприятия в современных российских условиях // Полис. Политические исследования. 2016. № 3. С. 40–54.

21. *Психология политического восприятия в современной России* / под ред. Е.Б. Шестопал. М.: РОССПЭН, 2012. 423 с.

22. *Путин 3.0: общество и власть в новейшей истории России* / под ред. Е.Б. Шестопал. М.: РОССПЭН, 2015. 420 с.

23. *New Trends in Russian Political Mentality: Putin 3.0.* / Ed. E.B. Shestopal. Lanham; Boulder; New York; London: Lexington Books. 2016. 414 p.

24. *Нестерова С.В.* Визуальные и вербальные характеристики образов власти // Политическая психология: хрестоматия / сост. Е.Б. Шестопал. 3-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2011. С. 401–412.

Shestopal Elena B. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation)

E-mail: shestop0505@rambler.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/22

PSYCHOLOGICAL SWINGS IN MASS POLITICAL MENTALITY OF RUSSIAN CITIZENS BEFORE PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 2018

Key words: Psychological status of Russian society, images of authority and leaders, Presidential elections of 2018.

This article analyzes the psychological transformations in Russian society before 2018 Presidential elections in comparison with the previous period. The study was carried out in several Russian regions in October 2017 and had a qualitative-quantitative character. This political-psychological study differs from the standard sociological polls in its' focus on emotional side of the images that enables us to reveal not only rational layer of the image but also to describe the unconscious one. Comparison of rational and unconscious aspects of authorities' and leaders' perception gives grounds for a more precise forecast of electoral behavior. The study undertaken in several Russian regions in October 2017 had two parts. The first part is focused on respondents' images of authorities, their political attitudes, concepts, values and images, as the second part deals with images of those Russian politicians who can take part in presidential elections of 2018. The article comes to a conclusion that while parliamentary elections of 2016 that were evaluated by experts as rather dull, still evoked some public interest, more important Presidential elections up to now were unable to mobilize the society. Political interest even declined and images of all politicians including Putin interest public less than before. Such political apathy and demobilization of society in a situation of serious external threats and attempts of insystemic opposition to destabilize the country from inside can cause a low level of turnout as well as general unpreparedness to sharp turns. The article shows that during a last year there was a growth of perception of authorities as ineffective. This evaluation have rowed down the topic of corruption, influence of oligarchs and managerial chaos. Institute of presidency seems still to be the most influential in citizens' eyes (94.3%). Our data have proved that citizens expect from politicians in general and presidential candidates in particular quite particular power motivation. Today voters will support politicians who go into politics not for money, ambitions or power as such but those who do something for people. This demand is clearly articulated these days and demand particular political behavior. In this respect Putin's image is most close to people's expectations (53.7% of those who see this type of motive in him). In general, we have found that that today's demands of the society towards authorities have changed since the previous electoral cycle. Whilst in 2012 the order, stability and struggle against corruption and oligarchs were the main demands to authorities, in 2017 it is the demand of efficacy and professionalism that dominate

References

1. Lapkin, V.V. & Semenenko, I.S. (2013) "Homo politicus" vs challenges of "nfomodernity". *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 6. pp. 64–81.

2. Shestopal, E.B. (2015) Psikhologicheskie osobennosti rossiyskikh politicheskikh elit i ryadovykh grazhdan [Psychological features of Russian political elites and regular citizens]. *Politicheskaya ekspertiza: POLITEKS*. 11(3). pp. 5–15.

3. Bruner, J. & Postman, L. (1949) Perception Cognition and Behavior. *Journal of Personality*. 18(1). pp. 14–31. DOI: 10.1111/j.1467-6494.1949.tb01229.x

4. Bruner, J., Jerome, S. & Goodman, C. (1947) Value and Need as Organizing Factors in Perception. *Journal of Abnormal and Social Psychology*. 42(1). pp. 33–44. DOI: 10.1037/h0058484

5. Zebrowitz, L. (1990) *Social Perception (Mapping Social Psychology)*. Buckingham: Open University Press.
6. Fiske, S. & Neuberg, S. (1990) A Continuum of Impression Formation, from Category-based to Individuating Processes: Influences of Information and Motivation on Attention and Interpretation. In: Zanna, M.P. (ed.) *Advances in experimental social psychology*. Vol. 23. New York: Academic Press. pp. 1–74.
7. Shestopal, E.B. (2000) *Psikhologicheskii profil' rossiyskoy politiki 1990-kh. Teoreticheskie i prikladnye problemy politicheskoy psikhologii* [Psychological profile of Russian politics in the 1990s. Theoretical and applied problems of political psychology]. Moscow: ROSSPEN.
8. Shestopal, E.B., Nesterova, S.V., Bukreeva, O.V., Smulkina, N.V., Zatonskikh, A.V. & Titov, V.V. (2012) Obraz kandidatov v prezidenty 2012 v massovom soznanii [The image of presidential candidates in 2012 in the mass consciousness]. *Vlast' – Power*. 3. pp. 186–190.
9. Shestopal, E.B. (2013) Izmeneniya v vospriyatii grazhdanami politikov posle vyborov 2012 g. v Rossii [Changes in people's perception of politicians after the 2012 elections in Russia]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 3(23). pp. 7–13.
10. Palitay, I.S. & Shestopal, E.B. (2014) Psikhologicheskie osobennosti vospriyatiya politicheskikh partiy v sovremennoy Rossii [Psychological features of the perception of political parties in modern Russia]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12. Politicheskie nauki*. 4. pp. 28–51.
11. Shestopal, E.B. (2015) Politicheskaya psikhologiya: elity, massy i obraz Rossii [Political psychology: The elite, masses and the image of Russia]. *My i mir. Psikhologicheskaya gazeta*. 10 (230). pp. 1–3.
12. Shestopal, E.B. (2015) Dynamics of Putin's Perception in Russian Society (2000–2015). *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 6. pp. 68–80. (In Russian).
13. Shestopal, E.B., Zverev, A.L., Nesterova, S.V. & Smulkina, N.V. (2016) Psikhologicheskoe sostoyanie massovogo politicheskogo soznaniya rossiyskikh grazhdan posle vyborov v Gosudarstvennyu Dumu RF 2016 g. [Psychological state of the mass political consciousness of Russian citizens after the elections to the Russian Federation State Duma in 2016]. *Politicheskaya nauka*. Special Issues. pp. 127–148.
14. Shestopal, E.B. (2008) Obraz i imidzh v politicheskom vospriyatii: aktual'nye problemy is-sledovaniya [Image in political perception: Current problems of research]. In: Shestopal, E.B. (ed.) *Obrazy gosudarstv, natsiy i liderov* [Images of states, nations and leaders]. Moscow: Aspekt Press. pp. 8–24.
15. De Landtsheer, C., De Vries, Ph. & Vertessen, D. (2008) Political Impression Management: How Metaphors, Sound Bites, Appearance Effectiveness, and Personality Traits Can Win Elections. *Journal of Political Marketing*. 7(3–4). pp. 217–238. DOI: 10.1080/15377850802005083
16. Parker-Stephen, E. (2004) Political Perception and the Micro-Macro Paradox. [Online] Available from: http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/8/2/5/7/pages82571/p82571-5.php. (Accessed: 8th January 2016).
17. Pishcheva, T.N. (2011) Political images: problems of investigation and of interpretation. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 2. pp. 47–52. (In Russian).
18. Palitay, I.S. & Zatonskikh, A.V. (2012) Osobennosti vospriyatiya sovremennykh rossiyskikh politicheskikh partiy [Peculiarities of perception of modern Russian political parties]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12. Politicheskie nauki*. 2. pp. 83–95.
19. Bukreeva, O.V. (2013) *Sravnitel'nyy analiz ratsional'nogo i bessoznatel'nogo komponentov obrazov vlasti v sovremennoy Rossii* [Comparative analysis of the rational and unconscious components of power images in modern Russia]. Political Studies Cand. Diss. Moscow.
20. Zverev, A.L., Palitay, I.S., Rogozar, A.I. & Smulkina, N.V. (2016) Specifics of Political Perception in Contemporary Russia. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 3. pp. 40–54. (In Russian).
21. Shestopal, E.B. (ed.) (2012) *Psikhologiya politicheskogo vospriyatiya v sovremennoy Rossii* [Psychology of political perception in modern Russia]. Moscow: ROSSPEN.
22. Shestopal, E.B. (ed.) (2015) *Putin 3.0: obshchestvo i vlast' v noveyshey istorii Rossii* [Society and Power in the Recent History of Russia]. Moscow: ROSSPEN.
23. Shestopal, E.B. (2016) *New Trends in Russian Political Mentality: Putin 3.0*. Lanham – Boulder – New York – London: Lexington Books.
24. Nesterova, S.V. (2011) Vizual'nye i verbal'nye kharakteristiki obrazov vlasti [Visual and verbal characteristics of images of power]. In: Shestopal, E.B. (ed.) *Politicheskaya psikhologiya* [Political psychology]. 3rd ed. Moscow: Aspekt Press. pp. 401–412.

АРХИВ

УДК 340.113.1 + 340.115.3
DOI: 10.17223/1998863X/41/23

В.В. Оглезнев, В.А. Суровцев

АЛЬФ РОСС ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ В ЮРИДИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ¹

Рассматривается крайне интересный и оригинальный подход к новому пониманию роли определений в юридической науке, разработанный представителем скандинавского правового реализма Альфом Россом. Показано, что в основании теории Росса лежат ориентация на социальные факты и «эмпирический постулат», которые методологически сближают его подход с эмпиристской традицией в рамках аналитической философии, в частности с логическим эмпиризмом Р. Карнапа. В приложении в переводе на русский язык приводится работа А. Росса «Определение в юридическом языке».

Ключевые слова: определение, юридические термины, социальные факты, эмпирический постулат, А. Росс, Р. Карнап.

30 мая 1953 г. в связи с избранием на должность профессора юриспруденции Оксфордского университета Г.Л.А. Харт выступил с инаугурационной речью под названием «Определение и теория в юриспруденции» [1], в которой обосновывался тезис, что для надлежащего понимания и анализа правовых явлений следует обратиться к методологическим разработкам философии языка. Взаимодействие аналитической философии языка и философии права могло бы способствовать, по мнению Харта, устранению «в юриспруденции векового источника неприятностей, который заставлял многих теоретиков выбирать ложный путь» [2. С. 146]. Основные сложности, с которыми приходилось сталкиваться теоретикам права, обычно выражались в «таких вопросах аналитической юриспруденции, которые обычно характеризуются как требования определений: Что такое право? Что такое государство? Что такое субъективное право? Что такое владение?» [1. С. 37]. Так происходило потому, что задавались неправильного рода вопросы. Аналитические исследования природы юридических понятий заключались в поиске определения, предполагаемого стандартным вопросом вроде: «Что есть X?». Форма вопроса «Что есть X?» относится к одному выражению и спрашивает, что же оно подразумевает (или обозначает), а это приводит к недоразумениям, ибо данная форма скрытно предполагает, что то, что будет представлено в качестве ответа («X – это...»), должно заключаться в определении некоторой вещи или качества, к которому непосредственно прикреплено данное выражение. Но если мы, по заверению Харта, «перефразируем эти требования определений в такие вопросы, как, например, „Каково значение слова

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ (проект № МД-1530.2018.6).

‘государство’?“, „Каково значение выражения ‘субъективное право’?“, то те, кто спрашивает, скорее всего, будут чувствовать себя неловко, как если бы это превратило их вопрос в банальность» [1. С. 37]. Это положение дел привело Харта к выводу, что эффективность применения традиционного метода определения *per genus et differentiam* таких юридических понятий, как «субъективное право», «ответственность», «государство», весьма сомнительна: «...обычные методы определения приводят к тому, что в результате они искажаются и мистифицируются» [2. С. 147]. Иными словами, техника определения через род и видовое отличие не может использоваться для прояснения юридических понятий потому, что не получается заменить *definiendum* ответом на подобного рода вопросы. Харт предлагает «технику, которая должна предшествовать бесперспективному проекту выяснения того, что означают или подразумевают слова, взятые изолированно, и должна заменить его характеристикой функции, которую осуществляют эти слова, когда они используются в работе правовой системы» [2. С. 147], или новый метод определения правовых понятий – «объясняющее прояснение» (*explanatory elucidation*). Важнейшим принципом этого метода является утверждение, что юридические понятия могут быть прояснены только рассмотрением условий, при которых высказывания, где они используются характерным для них образом, истинны.

Конечно, этот оригинальный подход к определению, основанный на допущении контекстуального и конвенционального характера юридических понятий, не мог не вызвать критической реакции со стороны представителей других направлений правовой мысли, прежде всего – представителей правового реализма [2. С. 271–280; 3] и теоретиков естественного права [2. С. 281–333]. Но были и те, кто воспринял метод определения Харта как «значительный вклад в теорию права» [4. С. 139], заслуживающий внимания и исследования. Поэтому не случайным представляется тот факт, что отдельная секция Международного симпозиума по логике, который состоялся в Лёвене 5–9 сентября 1958 г., была посвящена проблемам определения в юриспруденции, где были представлены доклады Уберто Скарпелли, одного из основателей итальянской школы аналитической философии права, «Определение в законодательстве» [5] и Альфа Росса, ярчайшего представителя школы скандинавского правового реализма, «Определение в юридическом языке» [4]. Несмотря на некоторые различия в аргументации и критические замечания Росса к подходу Скарпелли, тем не менее оба эти автора используют схожую методологию, а именно методологию формальной логики, в частности теорию определений Карнапа и «эмпирический постулат», согласно которому теория определений должна в конечном счете включать «неопределимые» термины, свойства которых могут быть установлены прямым наблюдением. С другой стороны, оба автора обращаются к логике нормативных систем. Так, Скарпелли, используя логическую теорию определений Карнапа, выделяет в лексике юридического языка три категории терминов: 1) термины, обозначающие простые факты, т.е. не соответствующие нормам; 2) термины, обозначающие факты, соответствующие определенным (правовым или иным) нормам, и условия соответствия фактов нормам, независимо от того, являются ли они правовыми; 3) термины, обозначающие нормы или системы норм, принятые в качестве фактических квалификационных схем. Это приводит Скарпелли к выводу, что в теории определений следует разли-

чать статическую и динамическую части. Статическая теория направлена на исследование природы и формальных свойств определений, в то время как динамическая – на применение и использование определений. К первой части он относит такие виды определений, как простые определения, определения нормативных терминов и определения фактов, соответствующих нормам. Ко второй части относятся так называемые «лексические определения» (описывающие использование определенного термина) и «определения условий» (предписывающие использование определенного термина).

Росс, критикуя подход Скарпелли и разделяя метод Харта, предлагает следующий тезис: абстрактные юридические термины имеют значение только в контексте. То есть решающим фактором, объясняющим специфику определения юридических терминов, является не то, что эти термины обозначают некие факты, соответствующие нормам, но то, что они являются системными терминами. Это термины, которые не относятся к некоторым наблюдаемым фактам, но имеют исключительно логическую функцию – установление методического соответствия между дизъюнктивным множеством обуславливающих фактов и конъюнктивным множеством юридических последствий. Их нельзя определить эксплицитно, но в качестве теоретических терминов их можно определить просто путем указания правил их использования; эти правила фиксируют условия, при которых утверждения, в которых появляются такие термины, являются истинными. Рассмотрим, например, выражение «*A* владеет *p*». Согласно Россу истинность этого выражения обусловлена определенным набором обстоятельств F_1, \dots, F_m (например, «*A* купил *p*»), каждое из которых влечет за собой набор юридических последствий G_1, \dots, G_n (например, *A* может требовать взыскания *p*, если *p* незаконно удерживается *B*). Таким образом, «*A* владеет *p*» предполагает наличие одного из обстоятельств F_1, \dots, F_m , которое, в свою очередь, влечет различные юридические последствия G_1, \dots, G_n . Юридическое правило должно здесь пониматься как директивное указание судьям и поэтому может быть выражено формулой D (если F , то C), символизирующей, что если есть F , то решение судьи должно быть C [4. С. 143].

Подобная аргументация в полной мере соответствует реалистскому правопониманию, согласно которому для того, чтобы понять сущность права, нужно обратиться не к абстрактным теориям, а к реальной судебной практике и реальным судебным процессам. Отсюда право понимается как результат деятельности судей. Правовые реалисты считают, что для надлежащей практики правоприменения юристу в большей степени следует знать социологию и психологию, нежели исследования в области философии права, ориентированные на анализ специфики правовых институтов и правовых понятий [3. С. 136–137]. Вот поэтому Росс, разделяя эти постулаты правового реализма, враждебно относится и к традиции естественного права, и к позитивистскому формализму. Оба направления, по его мнению, противоречат принципу, что право должно пониматься в терминах «социальных фактов» и что должны использоваться методы «современной эмпирической науки», а правовое мышление должно объясняться с точки зрения той же самой логики, на которой основаны другие эмпирические науки. В частности, идея юридической действительности (*validity*), по мнению Росса, не находит себе места в эмпирической науке. Как метко выразился Харт, «для Росса юридическая дей-

ствительность – это понятие, зараженное опасным вирусом; и если мы не обращаемся с ней аккуратно, надевая специальные резиновые перчатки “эмпирической методологии”, определяющей допустимость в нашу группу категорий только тех фактов, которые трудно эмпирически установить, то мы подхватим инфекцию “метафизики”» [2. С. 234].

Подход Росса к определению юридических терминов, безусловно, методологически интересен. Действительно, простое исследование их сходств и различий с определениями из других областей знания мало что дает для адекватного понимания их роли в юридической науке. Гораздо больший потенциал имеет исследование специфики юридических терминов при постановке вопроса о возможности их определить. В этом отношении его утверждение о недостаточности общей теории определений вполне обоснованно. С точки зрения логики определения представляют собой аналитические утверждения и не могут нести приращения знания, в частности, относительно теоретических терминов [6. С. 283–287]. Действительно, такие определения могут иметь значение лишь для теории права, но не для юридической практики. С этой точки зрения юридические факты не могут подтвердить или опровергнуть теоретические утверждения, поскольку теоретические юридические термины невыводимы из терминов наблюдаемых юридических фактов. Стало быть, нужно совершенно иное понимание как самих теоретических юридических терминов, так и способов их определения. И приведенная выше схема, предложения Россом, претендует на выполнение этой функции. С его точки зрения, теоретические термины должны пониматься как своего рода квази-термины, которые не имеют собственного значения, но выполняют роль системных терминов, отражающих логическую связь между нормами и юридическими фактами, содержание которых неявно задается правилами, которыми руководствуются судьи при вынесении решений.

Следует отметить, что такой подход к теоретическим терминам не является собственно изобретением Росса. По сути дела, он экстраполировал подход к теоретическим терминам, развиваемый в рамках методологии естественных наук логическим эмпиризмом и операционализмом. Эта связь достаточно очевидна, поскольку сам Росс утверждает, что при анализе терминов юридической науки он придерживается той точки зрения, что так называемый «эмпирический постулат», т.е. утверждение, что теоретические термины должны быть сводимы к терминам наблюдения, применим и к терминам юридической науки.

Понимание Россом того, как можно контекстуально, через указание на правила их использования при установлении связи нормы с юридическим фактом, задать юридические термины, вполне аналогично концепции «правил соответствия», которые выполняют аналогичную роль, связывая теорию и наблюдаемые факты в физике Р. Карнапа [7]. Для Карнапа вопрос стоял следующим образом: «Как связать теоретические законы физики с утверждениями об эмпирически наблюдаемых фактах?» Проблема здесь заключалась в том, что теоретические утверждения формулируются с помощью теоретических терминов, а эмпирические утверждения – с помощью терминов наблюдения. Но теоретические термины не сводимы к терминам наблюдения, а эмпирические термины, в свою очередь, не выводимы из теоретических. Поэтому для установления взаимосвязи теоретической и эмпирической ча-

стей теории необходимы дополнительные правила – так называемые «правила соответствия». Карнап писал: «Теоретические законы содержат только теоретические термины. То, что мы стремимся найти, – это эмпирические законы, содержащие наблюдаемые термины. Очевидно, что такие законы не могут быть выведены без некоторого дополнения теоретических законов. К этим законам необходимо добавить множество правил, связывающих теоретические термины с наблюдаемыми терминами» [7. С. 311]. Правила соответствия, по сути дела, связывают теоретические положения с утверждениями о фактах, контекстуально задавая содержание теоретических терминов. Поэтому правила соответствия вполне можно считать контекстуальными определениями, связывающими теоретическую и эмпирическую части теории: «Если бы утверждений такого рода не существовало, тогда не было бы никакого способа для вывода эмпирических законов о наблюдаемых из теоретических законов о ненаблюдаемых» [Там же].

Нетрудно заметить, что Росс следует именно этой методологической установке, развивая свою теорию правового реализма, ориентирующегося на социальные факты, в русле эмпирической традиции в рамках аналитической философии. Он, конечно, развивает *mutatis mutandis* свой подход согласно особенностям юридического дискурса, в котором важное значение имеют деонтические модальности, а суждения приспособлены для регламентации социальной реальности и выражают то, что должно быть. Поэтому правовые нормы понимаются, в частности, как суждения о долженствовании. Но методология в целом остается той же самой. Возникает, разумеется, частный вопрос, насколько методология, разработанная для описания того, что есть, подходит для описания того, что должно быть. Но этот вопрос собственно выходит за рамки работы самого Росса. Ясно лишь то, что правовой реализм в своей методологии в достаточной мере сближается с одним из направлений аналитической философии, принимающей «эмпирический постулат» в качестве своей основы. В любом случае подход Росса несет в себе столь же антиметафизический заряд, как и изыскания логического эмпиризма. Нельзя также сказать, в какой мере подход Росса соответствует тому, что имел в виду Харт [8]. Но то, что этот подход представляет собой интересную попытку нового понимания роли определений в юридической науке на основе методов, предлагаемых аналитической философией, несомненно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ¹

Альф Росс

1. Разграничение задачи

Название «Определение в юридическом языке» неточно указывает на то, что может быть сказано об определениях, раз уж они встречаются в юридическом языке, без формулировки какой-либо конкретной темы исследования. Однако я полагаю, что повторять общую теорию определений, устанавливая, что именно юридические определения имеют много общего с другими видами определений, не будет представлять интереса. По моему мнению, задача

¹ Перевод с английского выполнен В.В. Оглезневым и В.А. Суровцевым по изданию: Ross A. Definition in Legal Language // *Logique Et Analyse*. 1958. Vol. 1, No. 3/4. P. 139–149.

здесь должна пониматься как требование исследовать, в чем состоит *особенность* юридических определений. Таким же способом к этой проблеме подходит мой содокладчик профессор Уберто Скарпелли. Принимая за исходный пункт общую теорию определений, как она разработана Карнапом, он поставил несколько вопросов относительно той степени, в которой эта теория применима к юридическим определениям.

Меня, несколько неожиданно, попросили выступить, заменив моего именитого коллегу профессора Г.Л.А. Харта. Сделать это, на самом деле, очень сложно. В своей хорошо известной инаугурационной лекции [1] профессор Харт представил оригинальный и хитроумный взгляд на нашу тему, и он, гораздо больше чем я, заслуживает право побудить нас к дискуссии. При данных обстоятельствах, я полагаю, лучшим способом решить мою задачу будет *сравнение и противопоставление взглядов* предыдущего докладчика с взглядами профессора Харта, дух которого, несмотря на отсутствие тела, несомненно, витает среди нас.

В данном ракурсе я вижу соотношение между Хартом и Скарпелли следующим образом. Харт уделял внимание особенностям определения некоторых юридических терминов вроде «субъективное право» и «юридическое лицо». Его тезис состоял в том, что эти термины не могут быть определены посредством подстановки (эксплицитно), т.е. отвечая на вопросы «Что такое субъективное право?», «Что такое юридическое лицо?» и подставляя ответ для этих терминов. Единственный способ прояснить значение этих терминов заключается не в том, чтобы рассматривать их обособленно, но в том, чтобы рассматривать их в предложениях, в которых они встречаются, – например, в предложении «*A* обладает субъективным правом» – и указать необходимые условия для истинности таких предложений. Если это верно, то это значительный вклад в теорию права. Одним махом отбрасывается огромная часть изощренных рассуждений о «природе» субъективного права или юридического лица как бесполезные и пустые. Но Харт застрял на примерах и не пытался указать в общем случае, к каким *видам* терминов принадлежит эта особенность, т.е. указать, какова характерная черта таких терминов, которая объясняет эту особенность относительно их определения. Однако здесь появляется Скарпелли. Он предпринял явную попытку обобщить и систематизировать тему, поднятую Хартом, и включить ее в более обширную теорию, имеющую дело с другими особенностями и проблемами, касающимися юридических определений. То, насколько он в этом преуспел, является одной из сегодняшних тем. Однако уже потому, что доклад Скарпелли имел крайне абстрактный и широкий характер, упускающий специальные примеры проблем определений, часто сложно увидеть, в какой степени он согласен или не согласен с Хартом.

Представленные далее замечания ни в коей мере не претендуют на систематический и исчерпывающий обзор проблем. Я сосредоточусь на нескольких вопросах, которые, как мне кажется, имеют особый интерес.

2. Вопрос о том, применим ли эмпирический постулат также и к определению терминов, используемых в юридическом языке

Под эмпирическим постулатом я подразумеваю постулат о том, что неопределяемые термины, посредством которых в конечном счете определяется любой (нелогический) термин, должен быть свойством, на которое ука-

зывают остенсивно (прямое наблюдение). Профессор Скарпелли ставит вопрос, применим ли этот постулат также и к определению терминов, используемых в юридическом языке. Однако он, по-видимому, признает важность этого вопроса только в отношении юридического языка с нормативной функцией – языка директивных указаний законодательного органа или обязательных к применению правил, установленных иными компетентными органами. Мне же кажется, что наиболее остро эта проблема стоит в отношении юридического языка с теоретической функцией – языка юридической науки, устанавливающей в суждениях существование норм в качестве действительных в рамках определенной системы. Я рассмотрю оба аспекта.

а) Рассмотрим приказ «Закрой дверь!». Кажется очевидным, что если значением этого приказа будет приглашение совершить действие определенным способом, то термины «закрой» и «дверь» должны – с некоторой степенью точности – определяться с точки зрения наблюдаемых фактов. В противном случае невозможно было бы знать, как действовать и выполнен приказ или же нет. Пока что я соглашаюсь с утверждением Скарпелли (ссылающегося на Хэйра), что эмпирический постулат о редукции к наблюдаемым качествам имеет силу также и для прескриптивного языка. Другое дело, что в прескриптивном языке, как и в дескриптивном, требование высшей степени точности не предполагается как само собой разумеющееся. Может быть, что отдающий приказ хочет оставить определенную меру свободы действия тому, кому отдан приказ. Это в высокой степени относится к директивным указаниям, установленным законодательным органом, и именно поэтому термины, используемые в законах, часто не определяются как можно точнее, но остаются в сфере неопределенности, характерной для разговорных выражений. Я вернусь к этой позиции позднее (раздел 5).

б) Фундаментальной проблемой теории права является то, имеет ли силу эмпирический постулат для теоретических суждений юридической науки, утверждающих существование определенных юридических правил, т.е. являющихся частью действующего права определенного государства. Широко распространено мнение, что утверждать, что юридическое правило существует, есть то же самое, что утверждать, что оно обладает свойством *«действительности»*, которое неопределимо с точки зрения наблюдаемых фактов. Следовательно, эта позиция влечет отрицание эмпирического постулата. Познание права не основывается (исключительно) на наблюдаемых фактах, но предполагает идею «действительности», которая поднимает право над миром фактов. В философии естественного права действительность права выводится из очевидных принципов *a priori*, вечных принципов справедливости. В «чистой теории права» (Кельзен) действительность выводится из постулата, предполагаемого так называемой основной нормой (*Grundnorm*), и принимается юридической наукой в качестве присущей «правовому мышлению».

Согласно другой школе мысли так называемая «действительность» права означает не что иное, как его *социальную эффективность, определяемую с точки зрения социальных фактов*, даже если мнения различаются в отношении способа, как суждения о действительном праве могут быть редуцированы к суждениям о наблюдаемых, социальных фактах. Этот взгляд, таким образом, предполагает, что эмпирический постулат применим также в области познания права. Что касается меня, я принадлежу к этой школе. На этой основе я попы-

тался разработать последовательную теорию, изложенную в ряде публикаций, особенно в книге «On Law and Justice» [9]. Конечно, рассмотрение этой связи в контексте теории верификации суждений юридической науки могло бы завести нас слишком далеко. Но я считаю, что, учитывая авторитет Кельзена в теории права и вызов всей эмпирической философии, предполагаемый в его концепции правового познания, будет вполне уместным представить некоторые критические замечания относительно его понятия действительности.

Основным является вопрос о значении утверждения, что правовая норма «существует», т.е. то, что она является частью права, действующего в определенном государстве. Кельзен справедливо заявляет, что это значение определяется методом, посредством которого демонстрируется его «существование», подтверждается это утверждение [10. С. 212]. Итак, согласно Кельзену «существование» нормы есть ее «действительность»; и то, что норма подразумевает действительность, означает, что «индивиды должны вести себя так, как это предусмотрено нормой» [10. С. 214]. Это, однако, нельзя подтвердить с помощью опыта. Кельзен признает, что только эффективность правопорядка является эмпирическим фактом, который можно проверить посредством наблюдения и который является решающим для «действительности» нормы, и ничего более [10. С. 224]. Он пытается сохранить идею действительности, говоря, что существование нормы *не тождественно* социальным фактам эффективности, но *только обусловлено* теми фактами, посредством которых «существование» можно подтвердить [10. С. 225, 227, 268, 361]. Однако когда эти факты являются необходимым и достаточным условием «существования» нормы и когда метод верификации определяет значение утверждения, что норма существует, то существование нормы является просто эффективностью системы, которой она принадлежит, и ничем иным. Идея «действительности» является избыточной.

Кроме того, идея «действительности» не имеет никакого логического значения. «Действительность, – говорит Кельзен, – означает, что индивиды должны вести себя так, как это предписывает норма». Но сама норма, согласно ее непосредственному содержанию, выражает то, что индивиды должны делать. В чем смысл говорить, что индивиды должны делать то, что они должны делать? Кельзен поясняет, что смысл в том, что субъективное значение нормы также объективно [10. С. 257], и это то же самое, что говорить, что норма выражает подлинное требование: индивиды «действительно», «во истину», «объективно» должны делать то, что требуется нормой. Но идея подлинной нормы или требования логически абсурдна, это ошибка, допущенная во всяком этическом абсолютизме. Идея «действительности» или «обязательной силы» права не находит места в эмпирической науке. Это есть не что иное, как псевдорационализация определенного психологического опыта, определенных чувств и установок по отношению к законным «властям» и правопорядку.

3. Некоторые правовые термины не могут быть определены посредством подстановки (эксплицитно). Почему это так и как это сделать иначе?

Как я отметил во введении, Харт показал, что некоторые юридические термины, например «субъективное право» и «юридическое лицо», не могут быть определены посредством подстановки, но только через указание на

условия, при которых предложения, в которых эти термины встречаются, являются истинными. Позиция профессора Скарпелли в отношении Харта может быть представлена следующими пунктами:

(1) Он согласен с негативным утверждением Харта, что такие термины не могут быть определены посредством подстановки (эксплицитно).

(2) Я не могу решить, согласен ли он с Хартом в его позитивном описании способа, которым определяются эти термины, но мне кажется, что его идеи несколько отличаются. Я рассчитываю, что этот пункт будет прояснен при обсуждении.

(3) Скарпелли обобщил взгляды Харта, утверждая, что эта особенность принадлежит всем юридическим терминам, не обозначающим простых фактов, т.е. фактов, не квалифицированных посредством норм. Он проводит различие между двумя категориями таких терминов: (1) термины, обозначающие факты, квалифицированные посредством норм, и термины, обозначающие квалификации фактов посредством норм; и (2) термины, обозначающие нормы или системы норм, их элементы и аспекты.

Я же склонен считать, что это обобщение слишком радикально и устраняет некоторые важные различия относительно определения терминов, включенных в эти категории. Возьмем, например, термин «наказуемое». Сказать, что какое-либо действие является (юридически) наказуемым, означает, что действие подпадает под действующее юридическое правило, устанавливающее наказание за его совершение. Это опять же, по моему мнению, сводимо к утверждению о фактах, что если подобное действие совершено, то, при определенных условиях, есть вероятность того, что оно будет наказано. Таким образом, термин «наказуемое» может быть определен посредством подстановки «при определенных условиях, вероятно будет наказано». Определение термина «наказуемое», на мой взгляд, не предлагает других или больших затруднений, нежели определение чисто фактического термина, как, например, «опасный». Сказать, что действие опасно, также сводимо к суждению о вероятности. В любом случае независимо от того, согласны вы или нет с предлагаемым определением, кажется очевидным, что термин «наказуемое» не представляет таких же проблем с определением, как, например, термин «субъективное право». Чтобы сделать это ясным, необходимо указать на особую функцию этого термина.

Юридическое правило в последнем случае должно пониматься как директивное указание судьям и поэтому может быть выражено следующей формулой: D (если F, то C), символизирующей директивное указание судье, что когда есть F, его решение должно быть C. Если бы все юридические правила были сформулированы в соответствии с этой простой схемой, мы должны были бы иметь дело со следующим набором правил:

D₁: если какое-либо лицо на законных основаниях приобрело вещь путем покупки, решение о взыскании должно быть вынесено в пользу покупателя в противовес другим лицам, сохраняющим вещь в своем владении;

D₂: если человек унаследовал вещь, решение о возмещении ущерба выносится в пользу наследника в противовес другим лицам, которые намеренно нанесли ущерб вещи;

D₃: если лицо по праву давности приобрело вещь и привлекло займ, который не погашается в надлежащее время, в пользу кредитора должно быть вынесено решение об удовлетворении из этой вещи;

D₄: если какое-либо лицо заняло *res nullius* (бесхозное имущество. – *Примеч. пер.*) и по наследству завещало эту вещь другому лицу, то решение должно быть вынесено в пользу наследника в отношении имущества завещателя с передачей этой вещи;

D₅: если какое-либо лицо приобрело вещь посредством исполнения в качестве кредитора и объект впоследствии присваивается другим лицом, то последнее подлежит наказанию за кражу, и т.д., имея в виду, конечно, то, что в каждом случае эта формула может все более усложняться.

Однако подобная формулировка и представление действующего права настолько неудобны, что становятся практически бесполезными. Задача правового мышления заключается в том, чтобы концептуализировать юридические правила таким образом, чтобы они сводились к системному порядку и посредством этого предоставляли подход к действующему праву настолько понятно и удобно, насколько возможно. Этого можно достичь с помощью следующей техники представления.

В огромном количестве юридических правил типа указанных выше может быть выявлена определенная группа, которую можно упорядочить следующим образом:

$$\begin{aligned} &F_1 - C_1, F_2 - C_1, F_3 - C_1 \dots F_p - C_1 \\ &F_1 - C_2, F_2 - C_2, F_3 - C_2 \dots F_p - C_2 \\ &F_1 - C_3, F_2 - C_3, F_3 - C_3 \dots F_p - C_3 \\ &\dots \\ &F_1 - C_n, F_2 - C_n, F_n - C_n \dots F_p - C_n \end{aligned}$$

(Прочитывается: обуславливающий факт F_1 связан с юридическим последствием C_1 .) И это подразумевает, что всякий отдельный факт из определенной совокупности обуславливающих фактов ($F_1 - F_p$) связан со всяким отдельным юридическим последствием из определенной группы юридических последствий ($C_1 - C_n$), или что это верно для всякого отдельного F_i , связанного с некоторой группой юридических последствий ($C_1 + C_2 \dots + C_n$), или что совокупная общность юридических последствий связана с дизъюнктивной общностью обуславливающих фактов.

Это произведение $n \times p$ отдельных юридических правил можно представить более просто и удобно в виде следующей схемы:

$$\left. \begin{array}{l} F_1 \longrightarrow \\ F_2 \longrightarrow \\ F_3 \longrightarrow \\ \dots \longrightarrow \\ F_p \longrightarrow \end{array} \right\} O \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ \dots \\ C_n \end{array} \right. ,$$

где O (собственность) просто обозначает систематическую связь того, что F_1 , а также $F_2, F_3 \dots F_p$ влекут совокупность юридических последствий $C_1, C_2, C_3 \dots C_n$. Как техника представления это выражается тогда установлением в

одной последовательности правил тех фактов, которые «создают собственность», а в другой последовательности – правовых последствий, которые «влекут собственность».

Отсюда становится ясным, что «собственность», помещенная между обусловливающими фактами и обусловленными последствиями, на самом деле является *словом без какой-либо семантической референции, служащим исключительно как инструмент представления*. Мы выражаемся так, как будто «собственность» является каузальной связью между F и C, эффектом, вызванным или «созданным» каждым F, который, в свою очередь, является причиной совокупности юридических последствий. Например, мы говорим, что:

(1) Если А на законном основании приобрел объект (F₂), у него тем самым возникает собственность на этот объект.

(2) Если А является собственником объекта, то у него (помимо всего прочего) есть право на его взыскание (C₁).

Однако ясно, что (1) + (2) являются лишь перефразировкой одной из предполагаемых норм (F₂ – C₁), а именно, что покупка как обусловливающий факт влечет возможность взыскания как юридического последствия. Представление о том, что между покупкой и передачей было «создано» то, что можно обозначить как «собственность», бессмысленно. Ничего не «создается» в результате того, что А и В обмениваются несколькими предложениями, юридически интерпретируемыми как «договор купли-продажи». Произошло только то, что судья принимает этот факт во внимание и выносит решение в пользу покупателя [11. С. 812].

Этот анализ, я полагаю, объясняет особую функцию термина вроде «собственность» (и другие термины, обозначающие субъективные права): это *системный* или *логический* термин, служащий не для обозначения какого-то факта, качества, отношения, события или процесса, но исключительно для обозначения системной корреляции между дизъюнктивным многообразием обусловливающих фактов и совокупным множеством указанных юридических последствий. Если эта точка зрения верна, то это объясняет, почему такой термин не может быть определен посредством подстановки и почему нельзя ответить на вопрос: «Что такое собственность?». Системный термин ничего не обозначает, он ни на что не указывает в наблюдаемом мире. Его функция является чисто логической. По этой причине он может, *как и другие логические термины, определяться только посредством указания на правила его использования*, т.е. указания на условия, при которых предложение, где встречается этот термин, является истинным.

Если мы не понимаем, что системные термины не обозначают ничего, но, введенные в заблуждение грамматической структурой языка, спрашиваем, чем на самом деле являются «субъективное право» или «юридическое лицо», и пытаемся на этот вопрос ответить при помощи определения посредством подстановки, мы погружаемся в бесполезные спекуляции и заблуждения. Предложения «Питер построил дом» и «Государство построило железную дорогу» грамматически похожи, но логически совершенно различаются по структуре. Тогда как «Питер» обозначает совершающего действие субъекта, на которого можно указать, с «государством» этого сделать не получится. Все, что мы можем сделать, так это установить условия, при которых действие (предпринятое Питером или Полом) приписывается «государству», и

то, почему мы используем этот способ выражения. Любой вопрос о том, чем «на самом деле» является государство, не имеет смысла.

Суммируем мои наблюдения по этому поводу: Я полагаю, что обобщение, предпринятое профессором Скарпелли, несостоятельно и разрушает то, что действительно важно. Решающим фактором, объясняющим особенности некоторых юридических терминов, является не то, что они обозначают факты, квалифицируемые посредством норм, но то, что они являются системными терминами.

4. Дурное влияние эссенциализма на определение юридических терминов

Конечно, я полностью согласен с первым докладчиком в его критике эссенциализма. Под «эссенциализмом» я понимаю убеждение, что с помощью наблюдения и интеллектуальной интуиции можно ухватить «скрытую сущность» вещи и что задача науки заключается в том, чтобы определять сущность вещей – например, то, что делает кошку кошкой, – и установить свойства сущности в определении.

Согласно этой точке зрения определение не является договоренностью или соглашением (или предложением для соглашения) относительно употребления термина, но является истинным (или ложным) суждением, раскрывающим «глубочайшую природу» вещи.

На мой взгляд, не нужно использовать много слов, чтобы опровергнуть эту аристотелевскую концепцию сущности вещи как совершенно пустую и лишённую смысла. Насколько мне известно, эссенциализм не играет какой-либо роли в современном естественно-научном мышлении.

Причиной упоминания здесь эссенциализма является тревожный факт, что эссенциализм по-прежнему доминирует в правовом мышлении, сводя то, что должно быть разумным обсуждением наиболее подходящего употребления термина, к бессмысленным, идеологически окрашенным разговорам относительно «истинной природы» вещей, выявляющим в то же время их внутренний стандарт ценности. Эта тенденция в отношении эссенциализма особенно обнаруживает себя в двух областях.

Во-первых, в отношении определения самого термина «право». Нет ничего необычного в обсуждении таких вопросов, как является ли международное право действительно правом или конституируют на самом деле постановления Гитлера правовой порядок, т.е. не вопросов терминологии, но вопросов подлинной природы права. Допущение здесь заключается в том, что «сущностью» права является его «действительность» или «обязательная сила» и что фактический порядок, который нарушает основополагающие принципы справедливости, не является по этой причине правопорядком. На этом пути определение термина «право» – а это чисто терминологический вопрос – превращается в идеологическую борьбу за или против определенных принципов.

Во-вторых, в так называемой концептуальной юриспруденции (*Begriffsjurisprudenz*). Подобный стиль правового рассуждения характеризуется убеждением в существовании ограниченного числа «субъективных прав», чья «сущность» устанавливается в определениях; и допущение здесь заключается в том, что из этих понятий можно вывести юридические правила и решения. Однако поскольку системные понятия представляют собой не что

иное, как обозначения системного единства ряда юридических правил, такое рассуждение, очевидно, является инверсией, или *petitio principii*. Из понятий нельзя вывести нечто такое, что в них не содержится.

5. Роль определений в статутах и кодексах

Профессор Скарпелли в своем докладе обращается к вопросу о роли определений в законодательстве. Его наблюдения основаны на сомнительном различии в доктрине и использовании определений в странах общего права, с одной стороны, и в странах кодифицированного права – с другой. Он придерживается мнения, что, если в англосаксонских странах законодатель прибегает к определениям, то распространенной идеей в странах гражданского права является то, что определения не являются делом законодателя и не имеют обязательной силы в качестве правовых правил. Я сомневаюсь, что это различие соответствует фактам. Если мы возьмем Французский гражданский кодекс (Кодекс Наполеона. – *Примеч. пер.*), то обнаружим в нем множество определений (например, в ст. 544 определение «собственности», в ст. 578 определение «узуфрукта», в ст. 637 определение «сервитута», в ст. 1101 определение «договора» и т.д.). То же самое относится и к Германскому гражданскому уложению. С другой стороны, мы вряд ли найдем определения подобного рода терминов в англосаксонских статутах. Вероятно, мы будем ближе к фактам, если установим различие следующим образом. Масштабные кодификации в большей степени обращаются к определениям системных понятий, тогда как для стран общего права такие определения не характерны. Другое дело определения несистемных понятий, используемые в обычных статутах. Хорошо известно, что британский законодатель по причине враждебного отношения судов к вопросам толкования закона часто формулирует закон в четко определенных терминах, тогда как это не совсем характерно для стран гражданского права, где сотрудничество между законодательными и судебными органами более дружественно.

Вопрос о том, является ли задачей законодателя формулирование определений, двусмыслен. Его можно понять, по крайней мере, двумя разными способами.

а) Во-первых, он может пониматься как вопрос, касающийся эффективной законодательной политики. Целесообразно ли в свете различных практических соображений, чтобы законодатель устанавливал определения терминов, используемых в законах или кодексах? Очевидно, на этот вопрос нельзя ответить просто «Да» или «Нет». Во многих отношениях ответ будет зависеть от обстоятельств и предпочтений. Не вдаваясь в детали, я хочу представить некоторые общие наблюдения, возможно, подходящие для того, чтобы пролить свет на эту проблему.

Если предположить, что ради достижения наивысшей степени точности всегда следует желать, чтобы законы и кодексы формулировались в точно определенных терминах, то это предположение будет ошибочным по двум причинам. Во-первых, потому, что в прескриптивном языке наивысшая степень точности не всегда *желательна*. Законодатель часто сознательно формулирует свои директивные указания в нечетких и неопределенных терминах, оставляя значительную свободу действий на усмотрение судьи. Это особенно касается тех сфер жизни, где считается, что ценность справедливо-

го решения преобладает над ценностью предсказуемости. Во-вторых, из-за того, что даже если и преследуется цель наивысшей степени точности, определение терминов не всегда служит наиболее подходящим средством для ее достижения. Предрассудком является убеждение, что любой термин можно прояснить с помощью определения [12. С. 15]. Не углубляясь в этот вопрос, позвольте мне привести пример. В немецком праве когда-то был термин «Wohnhaus», который применительно к понятию квалифицированного поджога определялся следующим образом: «Ein Wohnhaus ist ein durch Wände, welche fest wenn auch nur durch eigne Schwere mit dem Erdboden verbunden sind, und ein Dach abgegrenzter Luftraum, der Menschen zur Wohnung zu dienen bestimmt ist»¹ [13. С. 192]. Кажется весьма сомнительным, что при помощи этого определения достигается какая-либо ясность, оно вряд ли добавляет что-то новое к тому, что и так известно, и никак не устраняет неопределенность термина (например, что имеется в виду, когда говорят, что дом – это то, что «определено человеком для использования в качестве жилья»?). Воспринятое буквально, это определение даже вводит в заблуждение. Жилой дом определяется как особое воздушное пространство, но у вас вряд ли получится поджечь воздушное пространство.

Возможно, из этого примера мы можем вывести общее правило, что *грамматические определения*, т.е. определения, направленные на установление обычного значения разговорного выражения, бесполезны или даже опасны. Определения, обнаруженные в законах, обычно не относятся к этому типу, но являются *техническими определениями*, т.е. определениями, при которых особое, не текущее значение придается разговорному термину, выраженное посредством критерия, желательно количественного, подходящего для того, чтобы сделать его применение более точным. Так, например, термин «роща» определяется как «любая территория размером не менее 1 акра, покрытая деревьями высотой не менее 2 ярдов».

Мы можем сделать вывод, что поскольку точность является желательной (что часто бывает не так), постольку технические определения могут быть подходящим инструментом для достижения этой цели. Этот инструмент из-за отсутствия дружественного сотрудничества между законодателем и судьей чаще используется британским законодателем, чем континентальным.

Определение *системных терминов*, как правило в кодификационных актах, заслуживает отдельного внимания. В качестве примера мы можем взять положение из Французского гражданского кодекса ст. 544: «La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements»². Но положения подобного рода на самом деле не являются определениями, они не преследуют цели указать значение термина, условия, при которых этот термин применим. Согласно анализу, представленному в части 3, системные понятия работают как приспособление для формулирования юридических правил. Статья 544 – это только фрагмент. В сочетании с правилами, касающимися приобре-

¹ Жилой дом – это воздушное пространство, ограниченное стенами, прочно или только за счет собственной тяжести связанными с землей, и крышей, которое определено человеком для использования в качестве жилья. – *Примеч. пер.*

² Собственность есть право пользования и распоряжения вещами наиболее абсолютным образом, с тем чтобы пользование не являлось таким, которое запрещено законами или регламентами. – *Примеч. пер.*

тения собственности, и правилами, касающимися защиты прав, появляется множество юридических правил, связывающих факты и юридические последствия. Таким образом, эти так называемые определения представляют собой действительно *специальную технику законодательства* – технику, характеризующуюся высоким уровнем абстракции и систематизации, концептуально объединяющую большое количество атомарных юридических правил в сложные молекулярные образования.

Вряд ли можно обсуждать объективно, заслуживает ли подобная техника одобрения, это в значительной степени зависит от предпочтений, укорененных в культурной традиции и национальном духе государства. Это старая проблема кодификации прецедентного права.

б) Во-вторых, вопрос о том, является ли «задачей» законодателя создавать определения, может пониматься как вопрос об «обязательной силе» этих определений: подпадают ли определения под власть законодателя, чтобы давать властные обязательные указания? Этот вопрос вряд ли представляет интерес в отношении технических определений разговорных терминов, часто встречающихся в законах. Если, например, термин «роща» в законе о налогообложении был определен конкретным техническим образом, то, разумеется, это определение должно и будет учитываться при применении и толковании этого закона.

В принципе то же самое справедливо относительно «определения» системных понятий в кодификационных актах. Они, как уже отмечалось, представляют собой специальную технику законодательства, и то, что выражается этой техникой, должно быть «обязательным», как и другие законодательные предписания. Однако из-за весьма высокого уровня абстрактности таких определений легко может случиться, что систематизация содержит дефекты в той степени, в которой определение не согласуется с другими, более элементарными юридическими правилами, принятыми законодателем где-то еще или предполагаемыми им. В таком случае предметом толкования является согласование конфликтующих норм, а результатом, естественно, будет то, что «определение» системного термина будет отброшено как неполное или неудовлетворительное.

Законодательные «определения» системных понятий не могут, конечно, претендовать на какой-либо авторитет в отношении способа, которым одни и те же термины используются теми, кто пишет законы.

Литература

1. Hart H.L.A. Definition and Theory in Jurisprudence // Law Quarterly Review. 1954. Vol. 70. P. 37–60.
2. Харп Г.Л.А. Философия и язык права / пер. с англ. под ред. В.В. Оглезнева, В.А. Суrowцева. М.: Канон+, 2017.
3. Оглезнев В.В., Суrowцев В.А. Аналитическая философия права Г. Харта и правовой реализм // Правоведение. 2013. № 4 (309). С. 134–147.
4. Ross A. Definition in Legal Language // Logique Et Analyse. 1958. Vol. 1, № 3/4. P. 139–149.
5. Scarpelli U. La Definition en Droit // Logique Et Analyse. 1958. Vol. 1, № 3/4. P. 127–138.
6. Оглезнев В.В., Суrowцев В.А. В каком смысле определения могут быть истинными или ложными: о работе А. Папа «Теория определений» // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2017. № 38. С. 283–295.
7. Карнап Р. Философские основания физики. М.: КомКнига, 2006.

8. Оглезнев В.В., Суrowцев В.А. Определение в аналитической философии права: П. Хакер versus Г. Харт // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 421. С. 36–40.
9. Ross A. *On Law and Justice*. Berkley: University of Chicago Press, 1959.
10. Kelsen H. *What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science: Collected Essays*. Berkeley: University of California Press, 1957.
11. Ross A. Tû-Tû // *Harvard Law Review*. 1957. Vol. 70, № 5. P. 812–825.
12. Popper K. *The Open Society and its Enemies II*. London: Routledge, 1945.
13. Geiger T. *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*. Copenhagen, 1947.

Ogлезnev Vitaly V. National Research Tomsk State University, Russian State University of Justice West-Siberian Branch (Tomsk, Russia).

E-mail: ogleznev82@mail.ru

Surovtsev Valeriy A. National Research Tomsk State University, Russian State University of Justice West-Siberian Branch (Tomsk, Russia).

E-mail: surovtssev1964@mail.ru

DOI: 10.17223/1998863X/41/23

ALF ROSS ON DEFINITION IN LEGAL LANGUAGE

Key words: definition, legal terms, social facts, empiristic postulate, A. Ross, R. Carnap.

The article deals with a very interesting and original approach to a new understanding of the role of definition in legal science, developed by the representative of Scandinavian legal realism, Alf Ross. It is shown that the basis of Ross's theory is the orientation on social facts and the "empiristic postulate", which methodologically bring his approach to the empiricist tradition within the framework of analytical philosophy, especially with a logical empiricism of R. Carnap. Ross represents his main thesis that abstract legal terms have a meaning only in context. In addition to its main tenet, Ross's paper also contains a criticism of essentialism in a definition of legal terms and some comments on the relative importance of legal definitions in common law countries as compared with countries of codified law. The translation into Russian A. Ross "Definition in Legal Language" is presented in appendix.

References

1. Hart, H.L.A. (1954) Definition and Theory in Jurisprudence. *Law Quarterly Review*. 70. pp. 37–60. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198253884.003.0002
2. Hart, H.L.A. (2017) *Filosofiya i yazyk prava* [Philosophy and Language of Law]. Translated from English by V.V. Ogлезnev, V.A. Surovtsev. Moscow: Kanon+.
3. Ogлезnev, V.V. & Surovtsev, V.A. (2013) H. Hart's analytical legal philosophy and legal realism. *Pravovedenie*. 4(309). pp. 134–147. (In Russian).
4. Ross, A. (1958) Definition in Legal Language. *Logique Et Analyse*. 1(3/4). pp. 139–149.
5. Scarpelli, U. (1958) La Definition en Droit [Definition in Law]. *Logique Et Analyse*. 1(3/4). pp. 127–138.
6. Ogлезnev, V.V. & Surovtsev, V.A. (2017) When definitions may be true or false: Some remarks on A. Pap's "Theory of definition". *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo uni-versiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 38. pp. 283–295. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/38/30
7. Carnap, R. (2006) *Filosofskie osnovaniya fiziki* [Philosophical Foundations of Physics]. Translated from English. Moscow: KomKniga.
8. Ogлезnev, V.V. & Surovtsev, V.A. (2017) Definition in analytical legal philosophy: P. Hacker versus H. Hart. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 421. pp. 36–40. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/421/5
9. Ross, A. (1959) *On Law and Justice*. Berkley: University of Chicago Press.
10. Kelsen, H. (1957) *What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science: Collected Essays*. Berkeley: University of California Press.
11. Ross, A. (1957) Tû-Tû. *Harvard Law Review*. 70(5), pp. 812–825.
12. Popper, K. (1945) *The Open Society and its Enemies II*. London: Routledge.
13. Geiger, T. (1947) *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts* [Preliminary studies on the sociology of law]. Copenhagen: Aarhus : Universitetsforlaget.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АБРАМОВА Мария Олеговна – старший преподаватель, кафедра социологии, Томский государственный университет (г. Томск).

E-mail: abra@yandex.ru

АВАНЕСОВА Елена Григорьевна – кандидат философских наук, доцент кафедры политологии, философский факультет, Томский государственный университет (г. Томск).

E-mail: avanesovafsf@yandex.ru

АТАМАНОВА Инна Викторовна – кандидат психологических наук, доцент кафедры генетической и клинической психологии, Томский государственный университет (г. Томск).

E-mail: iatamanova@yandex.ru

БОГОМАЗ Сергей Александрович – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой организационной психологии, Томский государственный университет (г. Томск).

E-mail: bogomazsa@mail.ru

ДЕМИЧЕВ Илья Валерьевич – кандидат философских наук, научный сотрудник Центра социокультурного анализа, ГАНУ Институт стратегических исследований РБ (г. Уфа).

E-mail: senmerv@mail.ru

ДУМНОВА Эльнара Михайловна – доктор философских наук, доцент; профессор кафедры философии и гуманитарных наук Новосибирского государственного университета экономики и управления (НИНХ); доцент кафедры теории и истории государства и права Новосибирского военного института им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации (г. Новосибирск).

E-mail: dumnova79@yandex.ru

ЖЕЛНИН Антон Игоревич – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии, Пермский государственный национальный исследовательский университет (г. Пермь).
E-mail: zhelnin90@yandex.ru

ЗАЛЕВСКИЙ Владислав Генрихович – кандидат психологических наук, доцент кафедры социализации и развития личности, Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования (г. Барнаул).
E-mail: salevsky@mail.ru

ЗАРУБИНА Наталья Николаевна – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры социологии, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (г. Москва).
E-mail: n.zarubina@inno.mgimo.ru

ЗАЯКИНА Раиса Александровна – кандидат философских наук, доцент кафедры конституционного и международного права, Новосибирский государственный технический университет (г. Новосибирск).
E-mail: raisa_varygina@mail.ru

КОЗЛОВА Наталья Викторовна – доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой генетической и клинической психологии, Томский государственный университет (г. Томск).
E-mail: akme_2003@mail.ru

КОРСУНСКИЙ Андрей Георгиевич – аспирант кафедры философии и социальных наук, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (г. Ялта).
E-mail: 8equinox4@gmail.com

ЛОБОВИКОВ Владимир Олегович – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург).
E-mail: vlobovikov@mail.ru

МАЛЕНКОВ Вячеслав Викторович – кандидат социологических наук, доцент; доцент кафедры менеджмента, маркетинга и логистики, Тюменский государственный университет (г. Тюмень).

E-mail: vvmalenkov@gmail.com

МЕЛЬНИКОВА Елена Александровна – аспирантка факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).

E-mail: leni.melnikova@gmail.com, emelnikova@hse.ru

МИКАЕЛЯН Нина Артуровна – магистрант кафедры политологии философского факультета Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: nina952@mail.ru

НЕБОЛЬСИН Даниил Игоревич – аспирант второго года обучения по профилю «История философии» Аспирантской школы по философским наукам, преподаватель Школы культурологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва).

E-mail: daniil.nebolsin@gmail.com

НЕЯСКИНА Юлия Юрьевна – кандидат психологических наук, доцент, декан психолого-педагогического факультета, Камчатский государственный университет им. В. Беринга (г. Петропавловск-Камчатский).

E-mail: neyasknaju@yandex.ru

НИКИТИН Антон Павлович – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии, Институт экономики и управления ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (г. Абакан).

E-mail: nikitinanton5891@gmail.com

НОСКОВА Антонина Вячеславовна – доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (г. Москва).

E-mail: a.noskova@inno.mgimo.ru

ОГЛЕЗНЕВ Виталий Васильевич – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры истории философии и логики Томского государственного университета, профессор Западно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия.

E-mail: ogleznev82@mail.ru

ПАЛИТАЙ Иван Сергеевич – кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры социологии и психологии политики, факультет политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: 8321532@gmail.com

ПЕТУХОВ Александр Сергеевич – аспирант кафедры социологии, философского факультета Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: petuhov.alex-r@yandex.ru

ПИРОГОВ Сергей Владимирович – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии философского факультета Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: pirogoff@ngs.ru

ПОЛЯНКИНА Софья Юрьевна – соискатель учёной степени кандидата философских наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков факультета гуманитарного образования, Новосибирский государственный технический университет (г. Новосибирск).

E-mail: zmeykasofi@mail.ru

ПРОКУДИН Борис Александрович – кандидат политических наук, доцент кафедры истории социально-политических учений, факультет политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: probor@bk.ru

РЫКУН Артем Юрьевич – доктор социологических наук, профессор, проректор, Томский государственный университет (г. Томск).

E-mail: a_rykun@mail.ru

СИНЕОКАЯ Юлия Вадимовна – доктор философских наук, профессор РАН, заместитель директора по научной работе Института философии Российской академии наук, заведующая сектором истории западной философии Института философии РАН (г. Москва).

E-mail: jvsineokaya@gmail.com

СУРОВЦЕВ Валерий Александрович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории философии и логики Томского государственного университета, профессор Западно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия.

E-mail: surovstv1964@mail.ru

СУХУШИНА Елена Валерьевна – кандидат философских наук, доцент, кафедра социальной работы, Томский государственный университет (г. Томск).

E-mail: elsukhush@inbox.ru

ТЕМНИЦКИЙ Александр Лазаревич – кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социологии, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (г. Москва).

E-mail: a.temnitskiy@inno.mgimo.ru

ХИТРУК Екатерина Борисовна – кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии, онтологии и теории познания Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: lubomudr@vtomske.ru

ЦЫГАНКОВ Павел Афанасьевич – доктор философских наук, профессор факультета политологии, заведующий кафедрой социологии международных отношений социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: tsygnkp@mail.ru

ШЕСТОПАЛ Елена Борисовна – доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой социологии и психологии политики факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: shestop0505@rambler.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2018. № 41

Редактор *Т.В. Зелёва*

Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Яковсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 26.03.2018 г. Дата выхода в свет 26.04.2018 г.
Формат 70x100¹/₁₆. Печ. л. 15,125; усл. печ. л. 19,66; уч.-изд. л. 20,75.
Тираж 50 экз. Заказ № 3077. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru